



«Я»
ЗНАЧИТ
«ЯСТРЕБ»

Хелен МАКДОНАЛЬД

«Самые лучшие истории — настоящие».

Сэмюэл Джонсон

Annotation

Смерть любимого отца расколола жизнь Хелен на «до» и «после», однако она нашла необычный способ справиться с горем, взяв на воспитание ястреба-тетеревятника. Страдающая от горечи утраты женщина и крылатый хищник – казалось бы, что общего может быть между ними? Однако с каждым днем они все крепче привязываются друг к другу и все глубже постигают красоту окружающего мира и непреходящее очарование бытия.

- [Хелен Макдональд](#)

-

-

- [Часть](#)

- [Глава 1](#)

- [Глава 2](#)

- [Глава 3](#)

- [Глава 4](#)

- [Глава 5](#)

- [Глава 6](#)

- [Глава 7](#)

- [Глава 8](#)

- [Глава 9](#)

- [Глава 10](#)

- [Глава 11](#)

- [Глава 12](#)

- [Глава 13](#)

- [Глава 14](#)

- [Глава 15](#)

- [Глава 16](#)

- [Глава 17](#)

- [Часть](#)

- [Глава 18](#)

- [Глава 19](#)

- [Глава 20](#)

- [Глава 21](#)

- [Глава 22](#)
- [Глава 23](#)
- [Глава 24](#)
- [Глава 25](#)
- [Глава 26](#)
- [Глава 27](#)
- [Глава 28](#)
- [Глава 29](#)
- [Глава 30](#)
- [Эпилог](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)

- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)



Хелен Макдональд «Я» значит «Ястреб»

Helen Macdonald
H IS FOR HAWK

Печатается с разрешения автора и литературного агентства The Marsh Agency Ltd.

Серия «Novella»

© Helen Macdonald, 2014

© Перевод. Н. М. Жутовская, 2016

© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

* * *

Моей семье



**Часть
первая**



Глава 1

Терпение



В сорока пяти минутах езды на северо-восток от Кембриджа лежит местность, которую я полюбила всем сердцем. Это край, где отступают болота и начинаются сухие пески. Это земля корявых сосен, сожженных автомобилей, изрешеченных пулями дорожных знаков и баз американских ВВС. Там обитают призраки: из-за них разрушаются дома в пронумерованных лесничеством участках соснового леса. Внутри поросших травой курганов за четырехметровыми заборами устроены склады для транспортируемого по воздуху ядерного оружия. Есть там и тату-салоны, и поля для гольфа, принадлежащие ВВС США. Весной здесь шум и гам: постоянно взлетают и садятся самолеты, над полями, засаженными горохом, разносятся трели лесных жаворонков. Называется этот район Брекландс – разоренная земля, – и именно здесь семь лет назад я очутилась однажды утром ранней весной, совершенно того не планируя. В пять часов утра, глядя на квадрат уличного света на потолке, я слушала доносившуюся с улицы болтовню запоздалых прохожих, возвращавшихся домой с вечеринки. Со мной творилось что-то странное: я слишком устала, слишком переутомилась, казалось, что у меня из головы вынули мозг, а череп забили чем-то похожим на алюминиевую фольгу, пропеченную в микроволновке, – измятую, обугленную и стреляющую искрами. «Бррр! Надо выбираться отсюда, – подумала я, откинув одеяло. – И чем дальше, тем лучше!» Натянула джинсы, сапоги и джемпер, ошпарила рот прогорклым кофе и, только проехав полдороги по трассе А14 на своем замерзшем древнем «Фольксвагене», поняла, куда направляюсь и зачем. Там, за запотевшим ветровым стеклом и белыми полосами дороги, был лес. Развороченный лес. Туда-то я и ехала. Смотреть ястребов-тетеревятников.

Я знала, что сделать это будет непросто. С ястребами-тетеревятниками всегда все непросто. Вы когда-нибудь видели, как ястреб ловит птичку в

саду за вашим домом? Я не видела, но точно знаю, что у меня за домом такое случалось. Обнаруживались следы. На плитке заднего двора иногда появлялись маленькие фрагменты: похожая на насекомое, крошечная, скрюченная лапка певчей птицы с натянутыми сухожилиями, или – что еще отвратительнее – разодранный клюв воробья, надклювье или подклювье, небольшой кусочек конической формы, по цвету похожий на оружейный металл, прозрачный и отливающий красным, с прилипшими к нему перышками. Но, возможно, вы все-таки видели; возможно, однажды выглянули из окна и заметили, как там, на лужайке большой кровожадный ястреб терзает голубя, черного дрозда или сороку, и эта картина показалась вам ужасающим проявлением дикости, как будто кто-то подкинул вам на кухню снежного барса и вы обнаружили, что он уже пожирает кота. Случалось, ко мне в супермаркете или в библиотеке подбегали знакомые с вытаращенными глазами и кричали: «Я видела, как сегодня утром у меня на заднем дворе ястреб схватил птичку!» И только я хочу открыть рот и сказать: «Ястреб-перепелятник!» – как мне говорят: «Я посмотрела в справочнике. Это был ястреб-тетеревятник». Нет, не он. Справочники тут не помогут. Когда ястреб убивает голубя у тебя на лужайке, он кажется огромным, и иллюстрации в справочнике уже не соответствуют тому образу, который тебе запомнился. Вот на картинке ястреб-перепелятник – серый, с черно-белой полосатой грудкой, желтыми глазами и длинным хвостом. А рядом ястреб-тетеревятник. Тоже серый, с черно-белой грудкой, желтыми глазами и длинным хвостом. «Гм», – подумаете вы. Прочтете описание: ястреб-перепелятник, от тридцати до сорока сантиметров; ястреб-тетеревятник, от сорока семи с половиной до шестидесяти сантиметров. Вот в чем дело! Ваш ястреб был огромный. Значит, тетеревятник. Выглядят они одинаково, но тетеревятники крупнее. В этом вся разница. Просто крупнее.

На самом деле ничего подобного. В реальной жизни тетеревятники похожи на перепелятников точно так же, как барсы похожи на домашних кошек. Да, они крупнее. Но еще и массивнее, кровожаднее, беспощаднее, страшнее, и их намного труднее увидеть. Обитатели лесной чащи, а никак не садов, они таинственный Святой Грааль для любого любителя наблюдать за птицами. Вы можете провести неделю в лесу, где полным-полно тетеревятников, и ни одного не увидеть. Заметите лишь следы их присутствия. Внезапная тишина, за которой следуют крики переполошившихся лесных птиц, и ощущение, что где-то промелькнуло что-то невидимое.

Быть может, вы найдете недоеденного голубя, распластанного на

лесной земле среди разметавшихся белых перьев. Или вам повезет, и, бредя в рассветном тумане, вы вдруг обернетесь и на какую-то долю секунды увидите птицу, пронесшуюся мимо, – ее крупные когти расслаблены и чуть сведены, глаза не выпускают из виду далекую цель. Доля секунды – и этот образ навечно врезается в ваше сознание, а потом так хочется увидеть его еще и еще. Искать ястреба-тетеревятника – все равно что просить о милости Божьей: вам будет дано, но нечасто, и когда и как – неизвестно. Но все же удача может улыбнуться безветренным ясным утром ранней весной, потому что в это время ястребы-тетеревятники покидают свой мир под кронами, чтобы ухаживать друг за дружкой в открытом небе. Как раз это я и надеялась увидеть.

Захлопнув ржавую дверцу и вооружившись биноклем, я зашагала через чистый, словно умытый лес – сероватый, с изморосью. С тех пор, как я была здесь последний раз, некоторые участки исчезли. Я натыкалась на клочки развороченной земли, на четко очерченные земельные акры с выдранными корнями и сухой хвоей, покрывавшей песок. Просеки. Вот что мне было нужно. Вскоре в мозгу заработали центры, остававшиеся не востребуемыми долгие месяцы. До этого момента моя жизнь проходила в библиотеках и аудиториях; нахмутив лоб, я вглядывалась в компьютерный экран, проверяла эссе, отслеживала библиографические ссылки. Сейчас шла совсем другая охота. И здесь я была совсем другим животным. Вы когда-нибудь видели, как олени выходят из укрытия? Они делают шаг, останавливаются, стоят неподвижно, поводят носом, прислушиваются и принимают. Бывает, по бокам животного пробегает легкая дрожь. И наконец, убедившись, что опасности нет, они выходят из кустарника пощипать травку. В то утро я чувствовала себя, как олень. Нет, я не нюхала воздух и не замирала в страхе, но, как и олень, повиновалась древнему чувству, подсказывавшему, как пройти через лес; во мне бессознательно пробудились настороженность и умение двигаться. Что-то внутри подсказывало, как и куда надо ступить, хотя умом я этого не понимала. Быть может, дело в миллионах лет эволюции, быть может, в интуиции, но во время охоты на ястребов я чувствую, как напрягается тело, если мне приходится идти или стоять под ярким солнцем, и я бессознательно отступаю в сторону рассеянного света, скрываюсь в узкую прохладную тень, тянущуюся по широким просекам между рядами сосен. Я вздрагиваю, если слышу крик сойки или злое, раскатистое карканье вороны. И то, и другое может означать: «Осторожно, человек!» или «Осторожно, ястреб-тетеревятник!» В то утро я пыталась отыскать одного,

скрыв другого. Во мне пробудились призрачные инстинкты, которые тысячелетиями связывали воедино тело и душу, и они делали свое дело, заставляя меня чувствовать себя неудобно при ярком солнечном свете, неловко на склоне холма; почему-то требовали, чтобы я прошла по той его стороне, где росла блеклая трава, и добралась до чего-то с другой его стороны, и это «что-то» оказалось прудом. С края пруда тучами поднялись в небо маленькие птички – зяблики, юрки, стайка длиннохвостых синиц, до того сидевших в ветвях ивы, как живые хлопковые коробочки.

Пруд появился на месте воронки от бомбы, одной из целой серии, сброшенной немецким бомбардировщиком на деревню Лейкенхит во время войны. Возникла водная аномалия, пруд в дюнах, окруженный густыми кустиками песчаной осоки за много-много миль от моря. Я покачала головой. Странное зрелище. Но, в конце концов, здесь все странное, и, проходя через лес, встречаешься с разными непредсказуемыми вещами. Например, с большими пятнами ягеля – малюсенькими звездочками, цветочками, крапинками древней флоры, растущими на истощенной земле. Жесткий и шуршащий под ногами мох летом похож на кусочек Арктики, попавший сюда по ошибке. Повсюду виднеется кремль, его костлявые плечи и лопатки. Влажным утром вы можете собрать кусочки, отколотые еще мастерами неолита, небольшие осколки в сияющем облачении холодной воды. В эпоху неолита этот район был центром обработки кремневой гальки, а позже прославился кроликами, которых разводили на мясо и войлок. Когда-то в этом песчаном краю были устроены гигантские, огороженные со всех сторон терновыми живыми изгородями кроличьи садки, откуда и пошли местные названия Уэнгфорд-Уоррен^[1], Лейкенхит-Уоррен, и в конце концов именно кролики принесли этой земле несчастье. На пару с овцами кролики выщипывали траву до основания, так что над песком оставалась лишь тонкая прослойка корешков. В тех местах, где дела обстояли совсем худо, песок в ветреную погоду собирался в кучи и начинал движение. В 1688 году сильные юго-западные ветры подняли эту разоренную землю под самые небеса. И огромное желтое облако закрыло солнце. Тонны почвы колыхались, сдвигались и опускались. Песком был окружен Брандон, песок завладел Сантон-Даунхемом, и река в городе полностью заглохла. Когда ветры стихли, на многие мили между Брандоном и Бартон-Миллс протянулись дюны. У путешественников эти края снискали дурную славу: летом ноги странников утопали в обжигающих песках, служивших к тому же прибежищем для ночных разбойников с большой дороги. Наша собственная Arabia deserta^[2]. Джон

Ивлин писал, что эти «пески-пльвуны нанесли большой урон стране, перетекая с места на место, подобно пескам Ливийской пустыни, и поглощая целые поместья некоторых джентльменов».

Итак, я стояла среди «песков-пльвунов» Ивлина. Дюны по большей части теперь уже скрыты соснами – лес посадили здесь в 1920-х годах, чтобы у нас была древесина для будущих войн, – и разбойники с большой дороги меня больше не беспокоят. Но все равно есть ощущение опасности, словно что-то притаилось под землей, что-то разрушилось. Я люблю эти края, потому что из всех известных мне мест они кажутся самыми дикими во всей Англии. Но это не та нетронутая дикость, что присуща горным вершинам; это дикость разорения, когда странным образом вступают в сговор люди и земля. Здесь живет ощущение иной истории края; это не только роскошные праздные грезы поместий, но и история промышленности, лесоводства, бедствий, торговли и труда. Лучшего места для встречи с ястребами-тетеревятниками не придумаешь. Эти птицы идеально подходят странному пейзажу Брекландса, потому что их история похожа на историю людей.

И она захватывающая. Когда-то тетеревятники водились лишь за пределами Британских островов. «Существуют разнообразные породы и виды ястребов-тетеревятников, – писал Ричард Блум в 1618 году, – различаемые по своим охотничьим качествам, силе и выносливости в зависимости от тех стран, где они обитают. Но самые лучшие места для их обитания – Московия, Норвегия и север Ирландии, особенно графство Тирон». Впрочем, о способностях ястребов-тетеревятников забыли с началом огораживания, которое ограничило возможности простого люда использовать их для охоты, а также с появлением более меткого огнестрельного оружия, которое ввело в моду охоту с ружьями, а не с ловчими птицами. Ястребы теперь воспринимались как хищники, а не как товарищи по охоте. Их стали истреблять егеря, что было последним ударом для популяции, и без того еле выживающей из-за утраты значительной части естественной среды обитания. К концу XIX века британские ястребы-тетеревятники полностью вымерли. У меня есть фотография чучела одного из последних представителей этого племени, который был застрелен в шотландском поместье; черно-белый снимок птицы, набитой опилками, со вставленными стеклянными глазами. Больше тетеревятников не осталось.

Но в шестидесятых и семидесятых годах двадцатого века любители ястребиной охоты начали потихоньку, неофициально, разрабатывать планы по перевозке этих птиц в Англию. Британский клуб сокольников добился,

чтобы за цену покупки и ввоза из других стран Европы одного ястреба-тетеревятника в целях охоты ему разрешалось ввозить вторую птицу и отпускать ее на волю. Одну покупаешь – другую отпускаешь. Это вполне годилось для такого сильного хищника, как ястреб-тетеревятник. Людям нужно было лишь добраться до подходящего леса и открыть ящик. Поддержавшие это начинание сокольники стали так поступать по всей Великобритании. Ястребов ввозили из Швеции, Германии и Финляндии. По большей части это были большие светлые птицы, какие обитают в хвойных лесах. Некоторых отпускали специально, некоторые просто терялись. Но птицы выжили, нашли друг друга и стали создавать пары, тайно и успешно. Сегодня их потомков насчитывается около четырехсот пятидесяти пар. Неуловимые, красивые, обжившиеся на новом месте, эти британские ястребы-тетеревятники наполняют меня счастьем. Само их существование опровергает мысль, что дикая природа – это место, куда человек еще не дотянулся ни руками, ни сердцем. Кое-что в дикой природе вполне может стать результатом человеческой деятельности.

Было ровно восемь тридцать. Я разглядывала маленький росток магонии, высунувшийся из земли, его розоватые листочки напоминали свиную кожу. Потом я подняла глаза к небу. И увидела своих ястребов. Там, в вышине. Пара кружила над лесными кронами в быстро согреваемом воздухе. Сзади на шею мне легла жаркая ровная рука солнца, но когда я смотрела на парящих ястребов-тетеревятников, нос чуял холодок. Я ощущала запах льда, папоротника и сосновой смолы. Ястребиный коктейль. А они парили. В воздухе тетеревятники приобретают очень сложный оттенок серого. Это не грифельный и не голубиный серый. Скорее, это цвет дождевой тучи, и, несмотря на расстояние, я могла различить большую пуховку белых перьев, раскрывшихся веером под их плотными и короткими хвостами, и тот великолепный изгиб и поворот второстепенных маховых перьев крыла парящего ястреба-тетеревятника, которые делают его так непохожим на ястреба-перепелятника. К паре приставали вороны, но ястребы не обращали на них особого внимания, как будто говорили: «Вам что, делать нечего?» Ворона на полной скорости напала сверху на самца, но он лишь чуть приподнимал крыло, чтобы она пролетела мимо, его не задев. И ворона, птица неглупая, понимала, что под ястребом долго задерживаться не стоит. Брачный танец тетеревятников был не такой уж замысловатый: я не увидела никакого пикирования вниз, о котором читала в книгах. Но им нравилось наслаждаться пространством вокруг себя, прорезывая на разные лады великолепными хордами

очерченные в полете концентрические круги. Пара взмахов – и самец оказывается над самкой, потом отходит в сторону, севернее, но вдруг скользит вниз, быстро, словно режет ножом, и начинает мягко выписывать свою каллиграфию под самкой, и тогда она спускается чуть ниже, а потом оба вновь взмывают в вышину. Они кружились вон там, над посадками сосен. И вдруг исчезли. Одну минуту пара моих ястребов чертила в небе линии из учебника физики – и неожиданно все пропало. Не помню, чтобы я переводила взгляд вниз или в сторону. Может, я моргнула. Может, всего лишь это. И за такой ничтожный черный пробел, который даже не фиксирует мозг, они скрылись в лесу.

Я села, усталая и удовлетворенная. Ястребы улетели, в небе было пусто. Время шло. Длина световой волны вокруг меня сократилась. День вступил в свои права. Ястреб-перепелятник, легкий, как игрушка, сделанная из пробковой древесины и салфеток с ароматическими добавками, промелькнул на уровне моих коленей, поднялся в воздух над ежевичным пригорком и скрылся среди деревьев. Я следила за ним, погружившись в воспоминания. Картины прошлого засияли так ярко, что от них некуда было деться. В лесу пахло сосновой смолой и смолистым уксусом рыжих лесных муравьев. Я чувствовала, что мои пальцы, как в детстве, вцепились в забор из проволочной сетки, а на шее висит тяжелый цейсовский бинокль, произведенный в Восточной Германии. Я скучала. Мне было девять лет. Рядом стоял папа. Мы высматривали ястребов-перепелятников. Они гнездились неподалеку, и в тот июльский день мы надеялись, что они устроят представление, которое нам уже не раз приходилось наблюдать: по верхушкам сосен пробегала рябь, как на море при движении субмарины, и над лесом быстро проносилась птица, мелькал желтый глаз, на мгновение на фоне ожившей сосновой хвои появлялась полосатая грудка, или на сюррейском небе вдруг отпечатывался черный силуэт. Какое-то время было интересно вглядываться в темноту между деревьями, в красновато-оранжевые и черные пятна в тех местах, где солнце отбрасывало на сосны свои немислимые тени. Но когда тебе девять лет, ждать очень трудно. Я пинала основание забора ногами в резиновых сапогах. Ерзала и елозила. Потом вздохнула. Повисла на заборе. И тогда папа посмотрел на меня – сердито и в то же время удивленно – и кое-что мне объяснил. Он объяснил, что такое *терпение*. Он сказал, что это надо обязательно запомнить: если ты очень чего-нибудь хочешь, то иногда приходится стоять тихо на одном месте, все время помнить, как сильно ты этого хочешь, и быть терпеливой. «На работе, когда я делаю фотографии

для газеты, – сказал он, – мне приходится иногда сидеть в машине часами, чтобы снять то, что мне нужно. Я не могу встать, чтобы выпить чашечку чая или даже сходить в туалет. Приходится быть терпеливым. Если хочешь увидеть ястребов, ты тоже должна быть терпеливой». Отец говорил серьезно и убедительно, вовсе не раздраженно. Он пытался внушить мне истину из мира взрослых, но я, угрюмо кивнув, уставилась в землю. Его слова были похожи на нотацию, а не на совет, и до меня не доходил их смысл.

Однако человеку свойственно учиться. «Сегодня, – подумала я, – мне не скучно, и я уже не девятилетняя девочка. Я терпеливо ждала, и ястребы прилетели». Я поднялась медленно – ноги слегка затекли из-за того, что так долго не двигались, – и заметила, что держу в руке небольшой клочок ягеля, маленький кусочек ветвистого, бледного, зелено-серого лишайника, который может выдержать практически все, что ему уготовит судьба. Вот это настоящее терпение. Хочешь – положи ягель в темное место, хочешь – заморозь, хочешь – высуши так, что он начнет рассыпаться, мох все равно не погибнет. Он заснет и будет ждать, когда ситуация улучшится. Это впечатляет. У меня на ладони лежал маленький ветвистый шарик. Он почти ничего не весил. Повинуясь внезапному порыву, я положила это украденное крошечное напоминание о дне, когда я видела ястребов, во внутренний карман куртки и поехала домой. Через три недели, когда я смотрела на этот самый клочок, позвонила мама и сказала, что папа умер.

Глава 2

Утрата



Я как раз собиралась выходить из дома, когда зазвонил телефон. Я взяла трубку. Ключи в руке перевернулись и звякнули.

– Алло?

Ответили не сразу. Мама. Ей было достаточно произнести лишь одну фразу. Вот эту: «Мне позвонили из больницы Святого Томаса». И я поняла. Поняла, что папа умер. То, что папы больше нет, стало окончательно ясно, потому что именно это она сказала после паузы голосом, какого я раньше никогда не слышала. Умер. Я очутилась на полу. Ноги стали ватными, подкосились, и я опустилась на ковер с прижатой к уху трубкой. Я слушала маму и не отрывала глаз от маленького комочка ягеля на книжной полке, невероятно легкого, живучего клубочка из жестких серых стебельков с острыми, пыльными кончиками и пустыми промежутками, наполненными воздухом, а мама говорила, что врачи ничего не могли сделать, наверное, сердце, и ничем нельзя было помочь, тебе не надо приезжать сегодня, не приезжай, ехать далеко, и уже поздно, дорога ведь неблизкая, и ехать далеко, так что не надо приезжать – и, конечно, все это не имело смысла, и никто из нас не знал, что, черт возьми, нам делать, что вообще надо делать и как с этим справиться, и мы обе, и брат тоже, пытались удержать тот мир, который уже исчез.

Я повесила трубку. Рука все еще сжимала ключи. В прежнем, исчезнувшем мире я все еще собиралась идти ужинать с Кристиной, моей австралийской подругой, философом, которая в это время находилась в комнате, – когда зазвонил телефон, она сидела на тахте. На меня смотрело ее белое лицо. Я сказала, что случилось. И настояла на том, чтобы все-таки пойти ужинать, потому что столик уже зарезервирован, конечно, надо пойти, и мы пошли, и сделали заказ, и нам принесли еду, и я не могла есть. Официант расстроился, спросил, может, что-то не так. Что тут скажешь?

Думаю, Кристина ему объяснила. Не помню, говорила ли она какие-то слова, но он поступил прямо-таки удивительно. Исчез, а потом появился у нашего столика с выражением сочувственной озабоченности, держа шоколадно-ореховый десерт с мороженым и воткнутой в середину веточкой мяты, посыпанный какао и залитый сахарной глазурью. На черной тарелке. Я смотрела на этот десерт. «Как нелепо», – подумала я. Потом: «Что это?» Вытащила мяту из глазури, поднесла ближе, поглядела на два маленьких листочка и аккуратно отрезанный стебелек, испачканный шоколадом, и подумала: «Он уже больше не вырастет». Тронутая и ошеломленная тем, что официант решил, будто бесплатный десерт и мороженое меня утешат, я рассматривала стебелек мяты. Он что-то напоминал. Я пыталась вспомнить, что именно. Мысленно я оказалась в Гэмпшире. Это было три дня назад в саду ясным мартовским днем, в выходные. Я поморщилась, потому что увидела у папы на руке глубокий порез.

– Ты порезался? – спросила я.

– Ах, это, – ответил он, приделывая пружину к батуту, который мы мастерили для моей племянницы. – На днях на что-то напоролся. Не помню как. И не знаю даже, на что. Ничего, скоро пройдет. Затянется. Уже заживает.

И тогда прежний мир наклонился ко мне, прошептал слова прощания и исчез. Я убежала в ночь. Нужно было ехать в Гэмпшир. Ехать *сейчас*. Потому что порез не затягивался. Не заживал.

Я нашла нужное слово. *Утрата*. Это значит «потеря, лишение». Когда у тебя что-то забрали, украли, вырвали. С любым может случиться. Но переживаешь ее всегда в одиночку. Страшную потерю не разделить ни с кем, как ни старайся. «Представьте, – говорила я тогда своим друзьям, наивно пытаюсь объяснить свое состояние, – представьте себе, что вся ваша семья сидит в комнате. Да, все вместе. Те, кого вы любите. А потом в комнату входит человек и ударяет каждого в живот. Да, каждого. Бьет со всей силы. И вы валитесь на пол. Представляете? Дело в том, что все вы испытываете одинаковую боль, совершенно одинаковую, но каждый слишком занят собственной болью и не может чувствовать ничего, кроме одиночества. Вот что это такое!» – закончила я свою маленькую речь, довольная, что нашла *идеальный* пример, чтобы объяснить, что чувствовала сама. И меня озадачили их полные жалости и ужаса лица, так как мне и в голову не пришло, что пример с избивением родных и близких им людей оказался совершенно безумным.

Я до сих пор не могу привести в порядок свои воспоминания. Они похожи на тяжелые стеклянные блоки. Их можно расставить в разных

местах, но истории не получится. Вот день, когда мы шли от моста Ватерлоо к больнице, а над нами висели облака. Сам процесс дыхания был для нас лишь способом держать себя в руках. Повернувшись ко мне с непроницаемым лицом, мама сказала: «Придет время, когда все это покажется дурным сном». В протянутую мамину руку были переданы аккуратно сложенные папины очки. Его куртка. Конверт. Наручные часы. Ботинки. И когда мы вышли из больницы, держа полиэтиленовый пакет с вещами, облака оставались на том же месте – неподвижный фриз кучевых облаков над Темзой, плоский, как нарисованная на стекле виньетка. У моста Ватерлоо мы наклонились над парапетом из портлендского камня и посмотрели вниз на воду. Наверное, после того звонка я в первый раз улыбнулась. Отчасти потому, что река текла к морю, и это простое физическое явление все еще имело смысл, в отличие от остального мира. А отчасти потому, что лет десять назад отец придумал одно потрясающее и удивительное дело, которым мы занимались по выходным. Он решил сфотографировать все мосты, какие есть на Темзе. Я отправлялась с ним, иногда по утрам в субботу, доезжая до Котсуолдских холмов. Папа был папой, но еще и другом, еще и соучастником в противозаконных вылазках, таких, как эта. От поросшего травой истока Темзы неподалеку от Сайренсестера мы продвигались вперед, исследуя местность, вдоль по извилистому грязному ручью, нарушали границы частных владений, чтобы сфотографировать переброшенные через воду деревянные мостки. На нас кричали фермеры, мы удирали от крупного рогатого скота, внимательно исследовали карты. На это ушел год. Но в конце концов цель была достигнута. Он сфотографировал все мосты до единого. Где-то в папках со слайдами у мамы дома сохранился полный фотографический отчет, как можно пересечь Темзу на всем ее протяжении, от истока до моря.

Потом мы с мамой разволновались, что не найдем папину машину. Он припарковался где-то у моста Баттерси и, конечно, уже к ней не вернулся. Мы часами искали ее, все больше отчаиваясь, облазили все переулки, закоулки и тупики – безрезультатно, стали расширять площадь поисков на мили от того места, где, по нашим расчетам, могла стоять машина. Время шло, и мы поняли, что, даже если найдем папин синий «Пежо» с пропуском «Пресса», заткнутым за солнцезащитный козырек, и фотоаппаратами в багажнике, наши поиски все равно не имеют смысла. Конечно, машину увезли на эвакуаторе. Я нашла нужный номер телефона, позвонила и сказала, что владелец машины не может ее забрать, потому что он умер. Это мой отец. Что он не собирался оставлять там машину надолго, но он умер. Он, честное слово, не хотел оставлять там машину. Безумные фразы,

сказанные невозмутимо, с каменным лицом. «Извините, – сказал человек из эвакуаторной службы. – Надо же такому случиться! Соболезную». Но он мог бы сказать что угодно, и это бы ничего не значило. Пришлось предъявить им свидетельство о папиной смерти, чтобы с нас не взяли денег за эвакуатор. Это тоже ничего не значило.

После похорон я вернулась в Кембридж. Не могла спать. Много ездила на машине. Смотрела, как солнце всходит и заходит, как движется по небу в течение дня. Наблюдала за голубями – как они распускают хвосты и токуют, величаво и грациозно, на лужайке перед моим домом. Самолеты все так же садились, автомобили все так же ездили, люди все так же ходили по магазинам, разговаривали, работали. Но это не имело никакого смысла. На протяжении долгих недель я чувствовала, что превратилась в медленно плавящийся металл. Именно такое ощущение. Во всяком случае, я была уверена, несмотря на доказательства противоположного, что если меня посадить на стул или положить на кровать, я прожгу их насквозь.

Примерно в это же время на меня нашло какое-то безумие. Хотя, оглядываясь назад, думаю, что все-таки я никогда не была по-настоящему сумасшедшей. Безумна я была «только при норд-норд-весте» и, конечно, могла «отличить ястреба от ручной пилы»^[3], но иногда меня вдруг поражало их сходство. Было ясно, что я не совсем чокнутая, потому что раньше мне приходилось видеть людей, впавших в психоз, и их безумие оказывалось таким же очевидным, как вкус крови во рту. Мое же помешательство было другим. Тихим и очень, очень опасным. Безумие, призванное помочь сохранить разум. Рассудок пытался построить мостик через образовавшуюся пропасть и создать новый, пригодный для жизни мир. Но проблема состояла в том, что у него не находилось материала для работы. Ни близкого человека, ни детей, ни дома. Ни работы с девяти до пяти. Поэтому он хватался за то, что попадалось. И в отчаянии стал воспринимать мир не так, как следовало. Я начала замечать странные связи между различными вещами. Что-то несущественное вдруг представлялось чрезвычайно важным. Я читала гороскоп и верила ему. Предсказания. Яркие приступы дежавю. Совпадения. Воспоминания о том, что еще не произошло. Время больше не двигалось вперед. Оно затвердело, и к нему можно было прислониться и почувствовать, как оно тебя отталкивает, – такая густая жидкость, полувоздушная, полустеклянная, текущая в обе стороны, по которой иногда уходит куда-то вперед рябь воспоминаний, а новые события, наоборот, бегут назад, поэтому то новое, что тогда происходило со мной, казалось воспоминанием из далекого прошлого.

Иногда – такое случалось несколько раз – находясь в поезде или в кафе, я чувствовала, что отец сидит рядом. Это успокаивало. Все успокаивало. Потому что это были обычные безумные проявления горя. О них я читала в книгах. Я купила книги про горе, потери и утраты. Книги громоздились на моем столе шаткими стопками. Как добросовестный ученый я полагала, что книги дадут мне ответы. Но могло ли меня обнадежить сообщение, что призраки являются всем? Что все перестают есть? Или что едят и не могут остановиться? Или что горе приходит поэтапно, и эти стадии можно пересчитать и пришпилить булавкой, как жуков в коробочках? Я прочла, что после отрешенности приходит печаль. Или злость. Или вина. Помню, я беспокоилась по поводу того, какая у меня теперь стадия. Мне хотелось систематизировать процесс, разобрать по полочкам, найти в нем какой-то смысл. Но смысл не обнаруживался, и я не ощущала в себе ни одного из описанных чувств.

Шли недели. Зиму сменила весна. Появились листочки, утром стало светлее, в начале лета прилетели стрижи и защебетали, кружа в небе над моим кембриджским домом, и я начала думать, что со мной все в порядке. «Обычное горе» – так это называется в книгах. Так оно и было. Не богатое событиями постепенное возвращение к жизни после потери. *Скоро заживет*. До сих пор я криво улыбаюсь, вспоминая, как радостно поверила этим словам, потому что на самом деле страшно ошиблась. У меня стали возникать потребности, в которых я не отдавала себе отчета. Меня охватила жажда чего-то существенного, любви или другого чувства, что компенсировало бы потерю, и мое сознание без всяких угрызений совести пыталось захватить что угодно или кого угодно, чтобы в этом помочь. В июне я влюбилась, предсказуемо и опустошительно, в человека, который удрал от меня за тридцать земель, когда понял, насколько я не в себе. После его исчезновения я стала почти абсолютно бесчувственной. Хотя теперь не могу даже толком вспомнить его лицо и хотя прекрасно понимаю, не только почему он сбежал, но и что на его месте мог бы оказаться кто угодно, у меня осталось красное платье, которое я больше никогда не надену. Вот так.

Потом и мир вокруг принялся горевать. Небеса разверзлись, дождь шел и шел. В новостях то и дело сообщали о наводнениях и затопленных городах, о деревнях, оказавшихся на дне озер, о ливневых паводках, заливших автомагистраль М4 и подтопивших вереницы машин, двигавшихся из города на выходные; о байдарках на городских улицах Беркшира; о поднявшемся уровне моря; о недавнем открытии, что Ла-Манш возник миллионы лет назад в результате разлива гигантского

суперозера. А дождь все не переставал, погружая улицы на полдюйма в бурлящие потоки, ломая навесы над магазинами, превращая реку Кем в море цвета кофе с молоком, забитое сломанными ветками и отсыревшими кустами. Мой город приобрел апокалиптический вид. «Мне эта погода совсем не кажется странной», – помню, сказала я одной знакомой, с которой мы сидели под тентом в кафе, а дождь хлестал по тротуару с такой яростью, что мы прихлебывали кофе в холодном тумане.

Пока лил дождь и поднималась вода, а я старалась держаться на плаву, со мной начало твориться что-то новое. Я стала просыпаться с озабоченным видом, мне опять снились ястребы. Снились все время. Есть еще слово «хищник», или по-латыни «раптор». Раптор – это «грабитель», от латинского глагола «гареге», что значит «хватать». Грабить. Хватать. Эти ястребы были ястребами-тетеревятниками. Вернее, речь об одном из них. Несколькими годами ранее я работала в Центре реабилитации хищных птиц на самом краю Англии, там, где Англия подбирается к Уэльсу, на земле красных почв, угольных выработок, влажных лесов и диких ястребов-тетеревятников. Взрослая самка тетеревятника разбилась во время охоты, ударившись о забор. Кто-то подобрал ее, потерявшую сознание, положил в картонную коробку и принес к нам. Были ли у птицы переломы или другие повреждения? Мы собрались в затемненной комнате, поставили коробку на стол, и директор центра сунул левую руку в перчатке внутрь коробки. Послышалась недолгая возня, и потом с поднятым серым хохолком и полосатыми перьями на грудке, которые от страха и готовности защищаться распушились, в полумрак комнаты была вытащена огромная старая самка ястреба-тетеревятника. Старая, потому что ее лапы потускнели и покрылись наростами. Ее глаза горели ярким рыжим огнем, и она была прекрасна. Прекрасна, как гранитная скала или грозовая туча. Птица заполонила собой всю комнату. Ее крупная спина с выгоревшими на солнце серыми перьями была мощной, как у питбуля, и наводила страх даже на тех сотрудников центра, что имели дело с орлами. В этом диком существе, будто явившемся из потустороннего мира, было что-то от рептилии. Мы стали осторожно раскрывать ее большие широкие крылья, а она в это время двигала шеей, точно змея, и, не моргая, оглядывала всех нас. Мы прощупали узкие косточки крыльев и плеч, чтобы удостовериться, что они целы – кости легкие, как трубки, полые внутри, и каждое крыло с внутренней свободонесущей конструкцией, как у крыла самолета. Мы проверили ее ключицу, толстые, покрытые чешуйками лапы, пальцы и черные когти длиной в дюйм. Ее зрение тоже как будто не пострадало: мы по очереди подносили палец то к одному, то к другому горящему глазу. И

клюв делал *щелк, щелк*. Потом она повернула голову и уставилась прямо на меня. Ее глаза, не отрываясь, смотрели в мои: она чуть скосила взгляд вниз, вдоль изогнутого черного клюва, черные зрачки не двигались. И именно в тот момент мне пришла в голову мысль, что эта птица больше и важнее меня. И намного старше – это динозавр, извлеченный из леса Дина^[4]. От ее перьев явственно пахло чем-то доисторическим, и мой нос учуял этот запах – едкий, как ржавчина под грозовым ливнем.

С птицей все было в порядке. Мы вынесли ее из дома и выпустили. Она взмахнула крыльями и через секунду исчезла. Скрылась за живой изгородью, пролетев под углом в никуда. Как будто нашла щель во влажном воздухе Глостершира и проскользнула сквозь нее. Потом я вспоминала этот момент снова и снова. И постоянно видела во сне. С тех пор мне уже некуда было деться от ястреба-тетеревятника.

Глава 3

Узкий круг



Мне было двенадцать, когда я впервые увидела обученного ястреба-тетеревиатника. «Пожалуйста, ну, *пожалуйста!*» – просила я своих родителей. И они разрешили. Даже отвезли. «Мы за ней приглядим», – сказали охотники. Они несли ястребов на руке – птиц с оранжевыми глазами, отрешенных и внутренне собранных, точно изваяния, с полосатыми серыми хвостами и перьями на грудке цвета грязного снега. Я не могла говорить. Хотела, чтобы родителей рядом не было. Но когда родительская машина отъехала, чуть не побежала следом. Мне стало страшно. Но не из-за ястребов, а из-за охотников. Таких людей я раньше никогда не видела. На них были твидовые костюмы, и они предложили мне табачку. Они как будто принадлежали одному клубу, ездили на побитых «рейнджроверах» и произносили гласные, как выпускники Итона и Оксфорда. Впервые у меня возникло неприятное предчувствие, что, хотя больше всего на свете мне хотелось стать сокольников, я скорее всего никогда не стану *полностью* похожей на них, что они будут смотреть на меня как на любопытный экземпляр, а не на родственную душу. Но я отогнала свои страхи и решила молчать, потому что впервые в жизни видела, как охотятся с ястребами. «Этот день я запомню навсегда, – подумалось мне. – Когда-нибудь я тоже стану такой, как они».

Мы шли в тусклом свете зимнего дня, льющемся на поля с озимой пшеницей. Огромные стаи дроздов-рябинников сетью покрывали небо, превратив его в нечто, до странности напоминавшее украшенный жемчугом рукав от наряда шестнадцатого века. Из-за налипшей глины я с трудом передвигала ноги. Через двадцать минут после нашего выхода случилось то, чего я так ждала, но к чему оказалась совершенно не готова. Ястреб-тетеревиатник убил фазана. Он спикировал с дуба быстро и страшно в густую и влажную живую изгородь – краткий, приглушенный треск,

сломанные ветки, хлопанье крыльев, бегущие охотники и мертвая птица, аккуратно уложенная в специальную охотничью сумку. Я стояла немного в стороне. Прикусив губу. Испытывая чувства, которым не знала названия. Некоторое время мне не хотелось смотреть ни на охотников, ни на ястребов, и мой взгляд скользил по белым полосам прорезанного ветвями света позади них. Потом я подошла к живой изгороди, где ястреб убил фазана. Заглянула внутрь. В темной глубине спутанных веток терновника, словно в колыбели, лежали шесть ярких фазаньих перьев. Потянувшись сквозь колючки, я собрала их одно за другим и сунула руку с перьями в карман, стараясь не сжимать кулак, как будто у меня в ладони было спрятано спрессованное мгновение. Смерть, которую мне довелось увидеть. Но я так и не смогла разобраться в своих чувствах.

В тот день я не только впервые увидела смерть. Случилось еще кое-что. И заставило меня задуматься. День клонился к вечеру, и наша компания стала редеть. Ястребы по очереди решили, что им надоело охотиться и совершенно ни к чему возвращаться к хозяевам. Вместо этого, усевшись на деревья, нахохлившиеся и непреклонные, они стали глазеть на поблекшие пастбища и лес. К концу дня мы недосчитались троих человек и трех ястребов. Люди остались ждать – каждый под тем деревом, на ветвях которого сидел его ястреб. Я знала, что тетеревятники склонны впадать в дурное расположение духа, взлетев на дерево. «Независимо от того, насколько птица приручена и покладиста, – прочитала я в книге Фрэнка Иллингворта «Соколы и соколиная охота», – бывают дни, когда у нее особое настроение. Ястреб-тетеревятник внезапно становится беспокойным, капризным и раздражительным. Эти симптомы временного умопомрачения могут появиться после дневной охоты, и тогда хозяину птицы надо приготовиться к нескольким часам досадного ожидания».

Но наши охотники не проявили ни малейшей досады. Они просто пожали вощеными хлопчатобумажными плечами своих пиджаков, набили трубки, закурили и помахали нам на прощание. В сумраке мы побрели дальше. Наша компания чем-то напоминала полярную экспедицию. *Нет-нет, идите вперед, не останавливайтесь, я только буду для вас обузой.* Настроение ястребов было своеобразным. Но нельзя сказать, что капризным. Создавалось впечатление, что ястребы вообще нас не видят, что они полностью исчезли из нашего мира и переселились в другой, более просторный, но без людей. И люди понимали, что нужно набраться терпения и просто ждать. Так что мы оставили их: три одинокие фигуры, глядящие вверх, на деревья, в зимних сумерках, когда на окрестных полях уже сгущался туман, и каждый сокольник верил, что рано или поздно мир

станет прежним и его ястреб вернется. И, подобно фазаньим перьям в кармане, это ожидание сокольников тоже тронуло меня и слегка озадачило.

Я никогда не забывала тех бесшумных и своевольных ястребов-тетеревятников, но когда сама стала сокольником, мне не захотелось иметь с ними дело. Они лишали меня мужества. Существа, несущие смерть и создающие проблемы: не от мира сего, психопаты с тусклым взглядом, которые обитают и убивают в лесной чаще. Из хищных птиц мне больше нравились соколы – тяжелые, как пули, птицы с темными глазами, заостренными крыльями, поразительно свободные в полете. Меня радовала их воздушная живость, дружелюбие, умопомрачительные падения камнем с высоты нескольких километров, когда ветер свистит сквозь крылья со звуком рвущегося полотна. Они отличались от ястребов, как собаки от котов. Более того, они казались *лучше* ястребов: все справочники утверждали, что сокол-сапсан самая лучшая птица на земле. «Она благородна по своей природе, – писал капитан Гилберт Блейн в 1936 году. – Из всех живых существ она являет собою наиболее идеальное воплощение мощи, скорости и грации». Только спустя годы я поняла, что такое восхваление соколов отчасти объясняется статусом людей, которые с ними охотятся. С ястребом вы можете охотиться практически везде, потому что его манере присущ стремительный бросок с кулака хозяина на жертву, находящуюся где-то поблизости, а для охоты с соколом нужен простор: куропаточки пустоши в поместьях аристократов, огромные земельные угодья, то есть то, что не так-то легко найти, если ты человек небогатый и не имеешь светских знакомств. «Среди людей образованных, – писал Блейн, – содержание и использование благородных соколов было ограничено кругом аристократов в качестве исключительного права и привилегии».

По сравнению с охотниками-аристократами, *аустрингеры*, то есть те, кто в одиночку тренировал ястребов-тетеревятников и ястребов-перепелятников, получали ужасные характеристики в прессе. «Не селите лишенных благородства аустрингеров в одной комнате с сокольниками», – язвил нормандский автор четырнадцатого века Гас де ля Бинь. – Их прокликает Писание, ибо они ненавидят общество и занимаются охотой в полном одиночестве. Когда нам встречается дурно сложенный человек с громадными ступнями и длинными, бесформенными голеньями, похожий на столярные козлы, сутулый и перекошенный, и нам хочется его подразнить, мы говорим: «Гляди-ка, настоящий аустрингер!» А каков аустрингер, таков и ястреб, что отражено в книгах, написанных и шесть веков спустя. «К

ястребу-тетеревятнику невозможно испытывать то же уважение и восхищение, что к соколу-сапсану, – рассуждает Блейн. – Клички, которые обычно даются этим птицам, говорят сами за себя. К примеру, им прекрасно подходят клички Вампир, Иезавель, Свастика и даже Миссис Гласс, но для сапсана они совершенно не годятся». Тетеревятники всегда считались бандитами – жестокими, плохо поддающимися дрессировке, угрюмыми, капризными и не от мира сего». *Кровожадными* назвал их сокольник девятнадцатого века майор Чарлз Хокинс Фишер, выразив тем самым свою явную нелюбовь. Многие годы я была склонна с ним соглашаться, потому что, разговаривая с другими на эту тему, приходила к выводу, что ни за что не буду связываться с тетеревятниками.

– Вы охотитесь с соколом? – спросил меня как-то раз один знакомый. – А я предпочитаю ястребов-тетеревятников. Их легче понять.

– По-моему, с ними одно мучение, – сказала я, вспомнив силуэты нахохлившихся птиц, сидевших высоко на деревьях той зимой.

– Никакого мучения, если знаешь один секрет, – возразил он, наклонившись ко мне ближе. Что-то в его движении напомнило Джека Николсона. Я отпрянула, слегка озадаченная. – Все очень просто. Если хочешь получить послушного ястреба-тетеревятника, нужно сделать только одну вещь. Предоставить ему возможность убивать. Убивать как можно больше. *Убийство* их дисциплинирует.

И он усмехнулся.

– Понятно, – сказала я.

Повисла пауза, как будто от меня ожидался другой ответ. Я попыталась исправить:

– Спасибо.

На большее я оказалась неспособна. Но внутри у меня все кричало: «Черт побери! Я занимаюсь соколами, и никаких тетеревятников!» Мне тогда и в голову не могло прийти, что когда-нибудь я буду тренировать ястреба. Ни одной минуты. Я даже вообразить не могла, что однажды увижу свое отражение в их полных одиночества кровожадных глазах. «Это не для меня, – не раз думала я. – Только не я». Но мир изменился, и я изменилась вместе с ним.

В конце июля я убедила себя, что вполне пришла в норму. Но мир вокруг становился все более и более странным. Мой дом озарялся насыщенным синевато-багровым светом: смесь магнолии с дождевой водой. Вещи в нем стояли темные и неподвижные. Иногда мне казалось, что я живу на дне моря. Что-то незаметно давило. Тихое постукивание в

трубах. Иногда я слышала собственное дыхание и подпрыгивала от страха. Рядом постоянно находилось нечто, что нельзя было потрогать или увидеть, и это нечто, обитавшее в какой-то доле миллиметра от моей кожи, было совершенно лишним – оно делало бесконечно далеким расстояние между мной и всеми знакомыми предметами в доме. Я старалась его не замечать. «Полный порядок, – говорила я себе. – Порядок». И ходила на прогулку, работала, заваривала чай, убирала, готовила, ела, писала. Но по ночам, когда капли дождя на окнах светились оранжевым светом, мне снился ястреб, проскользнувший в неизвестность сквозь влажный воздух. И мне хотелось последовать за ним.

Я сидела за компьютером в освещенном дождем кабинете. Звонила друзьям. Писала письма по электронной почте. Нашла заводчика ястребов в Северной Ирландии, у которого осталась одна молодая самка ястреба-тетеревятника из выводка того года. Ей было десять недель. Наполовину чешка, на одну четверть финка, на другую немка. И для тетеревятника она была маленькая. Мы договорились, что я приеду в Шотландию и заберу ее. Я решила, что будет хорошо иметь маленького ястреба-тетеревятника. «Маленького» – это решение я приняла самостоятельно. Что касается приобретения самого ястреба, то я точно знала: выбор сделан не мной. Это ястреб поймал меня в свои сети.

Когда кончились дожди, началась жара. Собаки еле дышали, высунув языки и укрывшись в черной тени под липами, лужайки перед домом выгорели и превратились в сено. Влажный горячий ветер трепал листья, но не приносил прохлады, наоборот, от него становилось только хуже. Это как водить рукой в горячей воде в ванне. Если при таком ветре надо было куда-то идти, казалось, что ты бредешь, погруженный по шею в вязкую жидкость. Я с трудом забралась в раскаленную, как печь, машину и поехала к своему знакомому, жившему в деревне недалеко от города. Хотела поговорить о тетеревятниках, а лучшего собеседника, чем Стюарт, мне было не найти. Он мой ястребиный гуру. Несколько лет назад зимой, в конце дня, мы с ним ходили на охоту с ястребами, шли, с треском ступая по своим длинным теням и сахарной свекле, и выискивали болотных фазанов, а крупная старая самка ястреба-тетеревятника сидела на ребре его согнутой ладони, словно резная фигурка, наклонившись вперед, навстречу золотистому ветру. Стюарт – замечательный парень, плотник и бывший байкер, мощный и невозмутимый, точно волна в океане. А его подружка Мэнди поразительно доброжелательная и веселая. Встреча с ними обоими была для меня, как глоток свежего воздуха. Я уже почти забыла, каким

добрым и теплым может быть окружающий мир. Стюарт разжег барбекю, и двор вмиг наполнился детьми, подростками, сигаретным дымом, обнюхивающими всех пойнтерами и скребущимися в клетках хорьками. День клонился к вечеру, небо становилось белее, и солнце скрылось за дымкой раскинувшихся ковром волокнистых облаков. У нас над головами заложил вираж «Спитфайр». Мы вытирали пот со лба. Часто и тяжело дышали собаки, пили воду из своих бутылочек хорьки, а Стюарт, чуть живой от жары, хлопотал у барбекю. Один раз он появился из-за дома, вытирая лоб рукой.

– Становится прохладнее! – с удивлением сказал он.

– Ничего подобного! Это ты отошел от барбекю! – хором ответили мы.

Я плюхнулась с бургером на белый пластмассовый стул. И там, на лужайке, в тени живой изгороди, я увидела великолепного маленького сокола-сапсана, который, не обращая никакого внимания на суматоху вокруг, аккуратно чистил длинные полосатые перышки на лапах.

– Наполовину чешка? – спрашивал Стюарт. – Самого кровожадного ястреба-тетеревятника, какого мне доводилось тренировать, привезли из Чехии. Это был сущий *кошмар*. Ты уверена, что тебе надо этим заниматься? – Он наклонил голову, глядя на птицу на лужайке. – Можешь взять ее, если хочешь, – предложил он. – Хочешь сапсана?

У меня замерло сердце. Сокол. Вот он, невероятно красивое создание цвета кремневой гальки и мела, резко очерченные крылья сложены за спиной, темное, словно в капюшоне, лицо обращено в небо. Сапсан смотрел на кружащий над ним «Спитфайр» с профессиональным любопытством. Я тоже посмотрела на самолет. Звук его двигателя изменился. Сбавив скорость, он медленно садился сквозь белый воздух на площадку перед музеем авиации, где обитал. Сапсан, тоже наблюдая за ним, покачивал головой. Наши взгляды двигались в одном направлении. На какое-то мгновение моя решимость пошатнулась, и я подумала, не совершаю ли я ужасную ошибку.

– Мне очень бы хотелось, – сухо и вежливо сказала я, держа в руке недоеденный бургер и неожиданно потеряв аппетит. Потом, глубоко вздохнув, нашла нужные слова: – То есть в *обычной* ситуации я бы ухватилась за эту возможность. Это потрясающее предложение, Стюарт. Но мне действительно очень нужен тетеревятник.

Стюарт кивнул. Я мужественно дожевала бургер. По руке, как кровь из раны, стекал кетчуп.

Итак, у меня будет ястреб-тетеревятник. Потом случилось вот что: мои глаза старались всячески не замечать книгу, стоявшую на полке рядом с

письменным столом. Поначалу она вроде бы попала в «мертвую зону», как бывает в зеркале заднего вида. Встречаясь с ней глазами, я тут же предпочитала моргнуть. Затем меня и вовсе охватывал сон. Мой взгляд скользил вдоль того места, где она стояла, с некоторым раздражением, которое я никак не могла объяснить. Вскоре я уже не могла сидеть за столом, не думая о книге. На второй полке. В красном тканевом переплете. С серебряными буквами на корешке. «Ястреб-тетеревятник» Т. Х. Уайта. Я не хотела, чтобы она там была, не хотела задумываться, в чем причина моего нежелания, и вскоре, садясь за стол, уже ничего не могла видеть, кроме этой проклятой книги, даже когда она оказывалась единственной вещью в комнате, на которую я не смотрела. Однажды утром, сидя за освещенным солнцем столом с чашкой кофе под рукой и открытым компьютером, я никак не могла сосредоточиться и наконец не выдержала – ну, это же просто смешно! Протянула руку, достала книгу и положила на стол перед собой. Обычная книга. Ничего зловещего. Старая, кое-где залитая водой, с обтрепанным и потертым по краям корешком, словно на своем веку она побывала не в одном чемодане или коробке. «Гм», – мысленно произнесла я. Задумалась, какие же чувства она во мне пробудила. О книге я размышляла осторожно, прощупывая свои эмоции, как трогаешь языком больной зуб. Ощущалась неприязнь, но в сочетании со странным осознанием чего-то, что требовалось разложить на составляющие, так как я точно не знала, что это такое. Открыв книгу, я начала читать. *Глава первая* — стояло в начале. *Вторник*. И потом: *Когда я впервые его увидел, он был круглым комком, словно бельевая корзина, завернутая в мешковину*. Эта фраза пришла из далекого прошлого, неся с собой осознание чужого «я». Но не того, кто ее написал, а меня. Меня, восьмилетней.

Тощая дылда с испачканными чернилами пальцами, с биноклем на шее и заклеенными пластырем коленками, я была застенчивой, косолапой, колченогой, фантастически неуклюжей, безнадежной в спорте и страдала от аллергии на собак и лошадей. Но у меня была страсть. Птицы. В основном ловчие. Я не сомневалась, что на свете никогда не было и нет ничего прекраснее. Родители думали, что эта страсть вскоре уступит место другим увлечениям – динозаврам, пони, вулканам. Но нет. Становилось только хуже. Когда мне было шесть, я пыталась спать со сложенными за спиной руками, как птица. Правда длилось это недолго, потому что спать таким образом очень трудно. Позже, когда я увидела изображения древнеегипетского бога Гора с головой сокола, такого фаянсово-бирюзового, с идеально выведенной усоподобной полоской под большими,

глядящими прямо в душу глазами, меня охватил странный религиозный трепет. *Это* был мой бог, а не тот, которому мы молились в школе, – старику с седой бородой, в ниспадающем складками одеянии. Не одну неделю я, тайная еретичка, шептала «дорогой Гор» вместо «Отче наш», когда мы читали молитву на школьных собраниях. Судя по благодарственным открыткам, которые нас научили писать, я решила, что такое обращение вполне подходит моему богу. Привычки ястребов, виды ястребов, научные названия ястребов – я выучила их все, приклеивала картинки этих хищников на стены спальни, рисовала их снова и снова на полях газетных страниц, на обрывках бумаги для записей, в школьных тетрадях, словно таким образом могла чудом вызвать их к жизни. Помню, учительница показывала нам фотографии пещерных рисунков в Ласко и говорила, что никто не знает, почему доисторические люди изображали этих животных. Меня это возмутило. Я-то *точно* знала, почему, но в том возрасте не могла подобрать нужные слова, чтобы выразить то, что чувствовала интуитивно.

Когда я выяснила, что ловчих птиц до сих пор разводят и готовят для охоты, мое отношение к ним стало не столь аморфно-религиозным. Я сообщила своим долготерпеливым родителям, что, когда вырасту, буду заниматься именно этим удивительным делом, и принялась изучать все, что могла найти на интересующую меня тему. В выходные мы с папой отправлялись на поиски нужных книг и потихоньку накопили великолепные работы – эти трофеи секунд-хенда мы приносили домой в бумажных пакетах из книжных магазинов, которых теперь уже нет: «Охота с ловчими птицами» Гильберта Блейна, «Охота с ловчими птицами» Фримена и Салвина, «Ловчие птицы и охота с ними» Фрэнка Иллингворта, великолепная книга Хартинга «Советы, как охотиться с ястребами». Все издания для юношества. Я перечитывала их снова и снова, запоминая наизусть огромные пассажи прозы девятнадцатого века. Находиться в компании таких авторов было равносильно тому, что попасть в элитную частную школу, ибо почти все эти книги вышли давным-давно и были написаны аристократами, крепкими охотниками-мужчинами, которые носили твидовые костюмы, охотились на крупных зверей в Африке и имели «твердые убеждения». Но я не просто пыталась изучить основы дрессировки ястребов – подсознательно я впитывала в себя высокомерие имперской элиты. Я жила в мире, где английские соколы-сапсаны всегда брали верх над ястребами-иностранцами. Соколы охотились на куропаточьих пустошах в имениях крупных землевладельцев, где куропаток разводят специально для охоты и где женщин просто не

существует. Эти мужчины были близки мне по духу. Мне казалось, что я одна из них, одна из избранных.

Я стала ужасной занудой, без конца твердившей про ловчих птиц. В дождливые дни после школы мама писала статьи в местную газету – репортажи из зала суда, сообщения о прошедших праздниках, о деятельности плановой комиссии – ее пальцы резво стучали по клавиатуре пишущей машинки в столовой. На столе пачка сигарет «Бенсон энд Хэджис», чашка кофе, блокнот для стенографирования, а рядом стоит дочь, без остановки цитирующая не слишком твердо выученные предложения из книг девятнадцатого века. Мне казалось крайне важным объяснить маме, что «хотя собачья кожа лучше всего подходит для должика^[5], в наши дни ее почти невозможно достать», что с кречетами существует одна проблема: они «склонны уносить от хозяина свою добычу»; и еще нужно было спросить у мамы, знает ли она, что «балобаны, привезенные из пустыни, – ненадежные охотники в английском климате»? Складывая вместе листы желтоватой бумаги, чтобы сделать копии, возясь с копиркой, которая всегда норовила выскользнуть, мама, соглашаясь, кивала, затягивалась сигаретой и говорила, как ей интересно, таким тоном, что мне даже в голову не могло прийти, что на самом деле ей до всего этого нет никакого дела. Вскоре я стала специалистом по охоте с ловчими птицами – таким же, каким продавец ковров, посещавший книжный магазин, где я когда-то работала, был по греко-персидским войнам. Застенчивый, помятый, немолодой, вызывавший ощущение неизреченного поражения, он нервно тер ладонями лицо, оплачивая у кассы книги. На поле боя, думала я, этот бы долго не продержался. Но про войны он знал все, знал в подробностях каждую битву, знал, где именно на высоких горных тропах стояли отряды фокийских войск. Точно так же я знала все об охоте с ловчими птицами. Когда же много лет спустя у меня появился первый ястреб, я была поражена его реальностью. словно продавец ковров, вдруг очутившийся на поле битвы при Фермопилах.

Лето 1979 года. Мне восемь лет, и, освещенная дневным светом, я стою в книжном магазине, держа книгу в мягком переплете. Я не на шутку озадачена. Что такое «История о совращении, писанная в восемнадцатом веке»? Ни малейшего представления. Перечитываю слова на задней стороне обложки:

«Ястреб-тетеревятник» – это рассказ о дуэли между мистером Уайтом и большим, красивым ястребом во время дрессировки последнего – описание напряженной волевой схватки, в которой гордость и упорство

дикого хищника оказываются сломлены и побеждены почти безумной силой воли его дрессировщика. Повествование комично и трагично одновременно. Оно захватывающе. И странным образом напоминает истории о соращении, писанные в восемнадцатом веке».

Нет, я все равно не понимала. Но книга была мне нужна, потому что на обложке красовалось изображение ястреба-тетеревятника. Птица смотрела на меня исподлобья в безудержной ярости, распушив перья, сверкавшие буйством шафрана и бронзы. Ее когти так прочно вцепились в крашеную перчатку, что мне начало покалывать оцепенелые от сочувствия пальцы. Она была прекрасна, вся в напряжении от ненависти – именно так чувствует себя ребенок, когда злится, если его заставили замолчать. Как только мы вернулись домой, я бросилась наверх, в свою комнату, прыгнула в кровать, улеглась на живот и открыла книгу. Помню, как я лежала, подперев голову руками, болтая ногами, и читала:

«Когда я впервые его увидел, он был круглым комком, словно бельевая корзина, завернутая в мешковину. Но он был агрессивным, пугающим и отталкивающим, какими бывают змеи для тех, кто не умеет с ними обращаться».

Это было необычное описание. Совсем не похожее на другие книги про охоту с ловчими птицами. Восьмилетняя девочка, которой тогда была я, читала, нахмурившись, дальше. Это было *ни на что* не похоже. Книгу написал человек, который, как видно, ничего не знает о ястребах. Он говорил о птице, словно она была чудовищем, а у него не получалось как следует ее воспитывать. Такое отношение озадачивало. Взрослые всегда знали, что надо делать. Они писали книги, в которых рассказывали о вещах, тебе неизвестных, книги о том, как следует поступать. Почему вдруг взрослый написал книгу о том, чего он делать не умеет? Более того, книга была полна совершенно не относящихся к делу вещей. К моему разочарованию, в ней, например, шла речь об охоте на лис, войне и истории. Я не понимала отступлений про Священную Римскую империю, Стриндберга и Муссолини, не знала, что такое «пикельхаубе»^[6], и не понимала, зачем вообще нужны эти сведения в книге про ястреба.

Позже я наткнулась на рецензию, посвященную книге Уайта, в старом журнале Британского клуба сокольников. Рецензия была поразительно немногословной: «Для тех, кому интересно скучное и дотошное самокопательство во время приручения и дрессировки ястреба, «Ястреб-тетеревятник» будет превосходным пособием, содержащим перечень того, чего в большинстве случаев делать не следует». Люди в твидовых костюмах сказали свое слово. Значит, я не ошиблась, мне было позволено

не любить этого взрослого дядю и считать его глупцом. Больно вспоминать то облегчение, которое я почувствовала, читая строки рецензии, – облегчение, основанное на ужасном непонимании многообразия и широты мира. Мне было приятно ощущать счастливое превосходство, которое, в сущности, есть прибежище избранных. Но вместе с тем моя восьмилетняя душа благоговела перед ястребом, описанным в книге. Тетеревятник. Тетеревятник был как живой. У него были жесткие, как сталь, кончики крыльев и безумные желто-оранжевые глаза, он прыгал, летал и расправлял огромные крылья над рукой в перчатке цвета сырой печени. Он издавал звуки, как любая певчая птица, и боялся автомобилей. Мне он нравился. Он был понятен, несмотря на то, что автор, наоборот, был совершенной загадкой.

Несколько лет назад я познакомилась с вышедшим в отставку пилотом самолета «У-2». Это был высокий, суровый, красивый мужчина, который обладал именно таким убийственным спокойствием, которое мы вправе ожидать от человека, прошедшего годы, летая по краю космоса в грязно-черном американском самолете-разведчике. Геополитические аспекты его деятельности были, на мой взгляд, весьма сомнительны. Но если рассматривать ее как обычную работу, то даже странно, до чего увлекательной она казалась. На высоте двадцать пять тысяч метров мир под вами уходит дугой вниз, а небо над головой напоминает невысохшие черные чернила. На вас надет скафандр, вы заключены в кабину размером с ванну и управляете самолетом, который впервые поднялся в воздух в год смерти Джеймса Дина. Вы не можете прикоснуться к миру под вами, только зарегистрировать, что в нем происходит. У вас нет оружия, единственная ваша защита – высота. Но когда я беседовала с этим человеком, больше всего меня поразили не истории о его приключениях, рассказанные с невозмутимым видом, не «случаи» с русскими «МиГами» и тому подобным, а его попытки бороться со скукой. Полеты в одиночку по девять – двенадцать часов.

– Вам не было жутко? – спросила я.

– Там, наверху, порой бывало довольно одиноко, – ответил он.

Но в тоне, которым он это произнес, мне почудилось желание вновь испытать те же ощущения. Потом он сказал кое-что еще:

– Иногда я читал, – неожиданно признался он, и с этими словами его лицо изменилось, изменился и голос: по-йегерски^[7] невозмутимая медлительность речи исчезла, а вместо нее появилась чуть застенчивая детская восторженность. – Книгу Т. Х. Уайта «Король былого и

грядущего». Вы слышали об этом писателе? Он англичанин. Книга просто замечательная. Я брал ее с собой. И читал по дороге туда и обратно.

– Вот это да! – воскликнула я. – Я этого писателя знаю.

Эта история и тогда и сейчас кажется мне совершенно удивительной. Жил-был человек, который летал в скафандре на самолете-разведчике и почитывал «Короля былого и грядущего», грандиозную эпопею – комическое, трагическое, романтическое переложение легенды о короле Артуре, которое повествует о войне, агрессии, силе, праве и ставит вопрос о том, что такое нация и какой она должна быть.

Уайт не относится к числу модных писателей. Когда я изучала в университете английский язык и литературу, его имя не упоминалось вовсе. Но в свое время Уайт был по-настоящему популярен. В 1938 году он выпустил книгу для детей о юных годах короля Артура под названием «Меч в камне» и сразу же прославился и разбогател. Права на экранизацию быстренько приобрел Дисней, превративший роман в мультфильм. Уайт продолжил повествование об Артуре и издал «Короля былого и грядущего», книгу, которая, в свою очередь, вдохновила создателей мюзикла и фильма «Камелот». Изложение Уайтом артуровских легенд имело огромное влияние в мире: когда Белый дом времен Кеннеди называют Камелотом, это отсылка к работам Уайта – после убийства мужа Жаклин Кеннеди процитировала строки из мюзикла. Когда вы представляете себе волшебника Мерлина в расшитой звездами высокой островерхой шляпе, вы тоже следуете за Уайтом. А я, думая о пилоте «У2», читающем там, наверху, роман о короле Артуре, роман, который удивительным образом вплелся в сказку о политической жизни Америки, не могу не вспомнить строчку из стихов Марианны Мур: «Средство от одиночества – уединение». Уединение пилота в шпионском самолете, когда он видит все, но не касается ничего, и только читает «Короля былого и грядущего», поднявшись на пятнадцать тысяч метров над облаками, – от этой картины мне делается грустно, потому что от нее разит одиночеством, потому что это связано с некоторыми обстоятельствами моей жизни и еще потому что Т. Х. Уайт был одним из самых одиноких людей на свете.

«Ястреб-тетеревятник» – книга молодого человека. Она была написана до других, более известных книг Уайта, до того, как он стал знаменитым. Она «рассказывает о второсортном философе, – с грустью объяснял он, – который жил один в лесу, устав от общества себе подобных, и о его попытках дрессировать того, кто не относится к роду человеческому, – птицу». Когда я прочла это вновь, через много лет после того первого детского знакомства, то почувствовала в этих словах нечто большее, чем

просто неумение обращаться с тетеревятниками. Я поняла, почему некоторые сочли книгу шедевром. Дело в том, что Уайт превратил дрессировку ястреба в метафизическую схватку. Подобно роману «Моби Дик» или повести «Старик и море», «Ястреб-тетеревятник» представлял собой литературную встречу животного и человека, восходящую к пуританской традиции духовного состязания: спасение как ставка, которую нужно выиграть в состязании с Богом. Став старше и мудрее, я решила, что признание Уайта в собственном неумении было жестом скорее смелым, чем глупым. Но все равно я на него сердилась. Во-первых, потому что ястреб ужасно страдал от его дрессировки. И во-вторых, потому что изображение этого занятия как напряженного поединка между человеком и птицей в значительной степени повлияло на наше восприятие ястребов-тетеревятников и охоты с ловчими птицами вообще. Честно говоря, мне было отвратительно, что он сделал. Дрессировка птиц никогда не представлялась мне войной, а ястребы никогда не казались чудовищами. Та маленькая девочка, лежавшая на кровати, все еще злилась.

Вот о чем я думала, сидя за столом и глядя в раскрытую книгу через четыре месяца после папиной смерти. Я принялась читать и, читая, почувствовала, как меня что-то словно толкнуло, – я поняла, почему не одну неделю мои глаза так старательно избегали смотреть на эту книгу. Стало ясно: мое раздражение отчасти объяснялось впервые возникшей догадкой – желание дрессировать ястреба было не вполне моим собственным. В какой-то мере это было желание ястреба.

Глава 4

Мистер Уайт



16 марта 1936 года. В ветвях каштанов, что растут с восточной стороны огромного палладианского дворца, где размещается школа Стоу, суетятся галки. С крыши здания, в котором некогда располагалась конюшня, а теперь устроены жилые комнаты, стекают капли. В одной из комнат сидит мистер Уайт, заведующий кафедрой английского языка и литературы, подмяв под себя одеяло. С трудом удерживая на коленях съезжающий набок блокнот, он быстро пишет мелким аккуратным почерком. Быть может, думает он, это самая важная книга, которую ему довелось написать. Не потому что она принесет доход, а потому что спасет.

Наверное, надо увольняться. Школьная жизнь лживая. Все здесь лживое. С него довольно. Он терпеть не может своих коллег. И мальчишек тоже терпеть не может. Они ужасны, думает он, особенно когда их много. Похожи на пикшу. Нужно выбираться отсюда. Он будет жить литературным трудом. Его последняя книга имела успех. Он напишет еще. Снимет домик в Шотландии и целыми днями будет ловить лосося. Может, возьмет с собой в качестве жены девушку-барменшу, черноглазую красавицу, за которой ухаживает уже несколько месяцев, хотя пока что его любовь зиждется на одних лишь эмоциях – дальше он не продвинулся, а долгие часы, проведенные в баре, слишком часто заканчиваются безнадежным пьянством. Он много пьет. Уже давно много пьет и давно несчастлив. Но все обязательно переменится.

Блокнот, в котором он пишет, серого цвета. Он приклеил на обложку фотографию одного из своих ужей и над ней чернилами написал «и т. д.» Этот уж оказался вполне к месту, потому что перед Уайтом дневник, в который он записывает свои сны, хотя и не только сны: там есть еще отрывки из его сочинений, планы уроков, штриховые рисунки сфинксов, стоящих на задних лапах драконов с выпущенными когтями и кое-какие

попытки самоанализа:

«1. Чтобы тебя любили, нужно доминировать.

2. Не могу доминировать.

3. Почему я не смог доминировать? (Неправильно относился к тому, что делал?)»

Но больше всего в блокноте описаний снов. В них появляются женщины с пенисами, коробки с девственными плевами, похожими на обрезки ногтей, разъяренные египетские кобры, почему-то оказавшиеся неопасными. Сны про то, как он забыл ружье, но не может одолжить у приятеля другое, потому что тот отдал свое ружье жене; про то, как он, разведчик в стане гитлеровцев, прячется в какой-то дыре, из которой торчит лишь его сигарета; про то, что нужно спрятать дробовик в багажнике маминой машины, чтобы избежать удара молнии. И сон, в котором психоаналитик поздравляет его с такими хорошими снами.

«Фамилия его Беннет, инициалы И.Э., – писал Уайт Леонарду Поттсу, своему старому кембриджскому преподавателю, по-отечески к нему относившемуся. – Человек он, без сомнения, выдающийся, потому что излечить такого, как я, – случай редкий, чтобы не сказать уникальный». Далее, подразумевая свое будущее состояние, Уайт с уверенностью выдает желаемое за действительное: «У меня был друг садист-гомосексуалист. Теперь же он живет в счастливом браке и имеет детей». В последний год Уайт бредил психоанализом: он был уверен, что Беннет вылечит его от всего, – от гомосексуальности, от ощущения несчастья, от чувства, что все кругом лживо, от садизма. От всего. От смятения и страха. И дела шли прекрасно. Он был *почти* уверен, что влюблен в барменшу. «Я так счастлив, что прыгаю по улицам, как трясогузка», – сообщает он Поттсу с гордостью, в которой, словно птичка в ладони, спрятана жуткая боязнь неудачи.

Мальчики относились к нему с почти священным трепетом. Когда мистер Уайт шел по коридору в серых фланелевых брюках, свитере с высоким воротом и в мантии, он немного напоминал Байрона – высокий, с полными губами, бледно-голубыми глазами и непослушными темными волосами. Рыжие усы он аккуратно подстригал. Уайт делал все, что положено: управлял аэропланом, стрелял, ловил лосося, охотился. И даже еще лучше – он делал все, что *не* положено: держал у себя в комнате ужей, в дни соревнований въезжал на коне на школьную лестницу, а самое главное – публиковал пикантные романы под псевдонимом Джеймс Астон. Когда об этом узнал директор, он был в *ярости*: мистеру Уайту пришлось

написать объяснительную, в которой он обещал больше никогда не издавать такую гадость, рассказывали ребята, в радостном возбуждении передавая друг другу экземпляры романов. Поразительная, беззаботная, саркастическая личность! Но ужасно строгий учитель. Он никогда не бил мальчиков, однако они очень боялись его презрения. Он требовал эмоциональной открытости. Если с ним не были откровенны, он унижал учеников, язвительно отзываясь об их недавно обретенной броне притворства. И делал это с наслаждением, граничащим с жестокостью. Но все равно было в мистере Уайте что-то такое, что в определенной степени превращало его в их союзника, в критических ситуациях мальчики доверяли ему свои секреты и боготворили за непокорность и обаяние. Они понимали, что он не совсем такой, как другие учителя в Стоу. «Вы слышали, как он въехал на своем «бентли» в дом фермера и чуть не разбился насмерть?» – шепотом спрашивали они друг друга. И весело рассказывали о том знаменитом утре, когда мистер Уайт явился в класс с опозданием и, явно мучась похмельем, велел ученикам написать эссе о коварном демоне пьянства и, положив ноги на стол, тут же уснул.

Но, несмотря на всю свою браваду и талант, мистер Уайт – мистер Теренс Хэнбери Уайт, – прозванный Тимом по названию аптечной сети «Тимоти Уайтс», ужасно всего боялся. Ему было двадцать девять лет, пять из них он преподавал в школе Стоу, семь занимался писательством, но, сколько себя помнил, все время чего-то боялся. «Ибо я боюсь разных вещей, боюсь, что мне сделают больно, боюсь смерти. Мне нужно попытаться с этим справиться», – объяснял он в сборнике эссе «В Англии мои кости», опубликованном годом ранее. А надо было проявлять смелость. С колотящимся в груди сердцем он мчался из классной комнаты на аэродром, боясь увильнуть от полета, боясь презрения инструктора, боясь, что самолет уйдет в штопор, а он не справится с управлением и погребет себя под сломанными крыльями, шасси и комыями земли. Он скакал вместе с Графтоном по грязным полям Бакингемшира в постоянном ужасе от того, что не сможет выказать храбрость, не сможет ловко держаться в седле, не произведет впечатления джентльмена и вызовет гнев хозяина гончих. Он помнил Индию, где жил когда-то давно, в самом начале жизни, ящериц, фейерверки, горящие в темноте свечи, взрослых в вечерних туалетах, но еще помнил ужас побоев, ссоры, ненависть матери к отцу и отца к матери, отцовское пьянство и бесконечную, страшную, яростную войну между родителями, в которой он был пешкой. Мать обожала своих собак, и ее муж велел их застрелить. Она обожала сына, и сын был уверен, что следующим будет он. «Мне рассказывали, – писал Уайт, – что отца с

матерью раз застали над моей кроватью, когда они вырывали друг у друга пистолет, и каждый говорил, что убьет другого, но, в любом случае, сначала меня. – И добавлял: – Такое детство нельзя назвать безоблачным».

Уайт подносит кончик авторучки к губам и задумывается над написанным.

«Я хватаю птицу с острыми когтями и страшным клювом. Возможно, она делает мне немного больно, но было бы больнее, если бы я ее отпустил. Я держал ее крепко, так что она была бессильна причинить мне вред, и звал кого-нибудь на помощь, не выпуская ее лапы. Это была английская птица».

Когда в январе 1964 года Уайт умер от сердечной недостаточности в Греции, вдали от дома, в каюте парохода «Эксетер», друзьям пришлось задуматься, как не навредить его репутации. В дневниках писателя обнаружились вещи, которые не следовало предавать огласке, проблемы, связанные с его сексуальностью. Об этом, если вообще говорить, то только с исключительной осторожностью. Нужно было найти подходящего биографа. Они остановили свой выбор на Сильвии Таунсенд Уорнер, потому что она переписывалась с Уайтом и ее книги ему нравились. И еще по одной причине: Уорнер была лесбиянкой.

– Вы с сочувствием отнесетесь к его личности, – сказал ей Майкл Говард.

– Если это в достаточной мере отрицательная личность, я, конечно, отнесусь к ней с сочувствием, – парировала она и отправилась в Олдерни.

Бродя по дому Уайта, писательница разглядела своего героя. Он остался жить в своих вещах. Уорнер писала приятелю Уильяму Максвеллу:

«Его корзинка для шитья с недошитым клобучком, который надевают на голову ловчего ястреба, разбросанные мухи для рыбалки, книги, жуткие орнаменты, подаренные его друзьями из простонародья, вульгарные игрушки, купленные на шербурской ярмарке, стоящие ровненькими рядами книги о порке – все там было, беззащитное, точно труп. И он тоже – подозрительный, мрачный и решительный до отчаянности. Я никогда не чувствовала такого *неотвратимого* наваждения».

Неотвратимое наваждение. Эти слова заставляют меня задуматься. Потому что именно это я чувствовала, когда дрессировала своего ястреба. Уайт был со мной, даже когда мне снились исчезающие птицы. Преследовал, как наваждение. Нет, не так, как привидение в белой простыне, которое стучит в окно, а потом возникает в коридоре. Но все равно наваждение. Прочитав его книгу «Ястреб-тетеревятник», я все время

думала, что он был за человек и почему так привязался к птице, которую, судя по всему, ненавидел. И когда я дрессировала собственного ястреба, мне кое-что открылось, как просвет в листве, и я заглянула в чужую жизнь – в жизнь человека, которому было больно, и ястреба, которому делали больно, и увидела их обоих яснее. Как и Уайт, я хотела стряхнуть с себя этот мир и разделяла его стремление сбежать к дикой природе, стремление, которое может вырвать из вас всю человеческую нежность и оставить в атмосфере вежливого и жестокого отчаяния.

Книга, что у вас в руках, – это моя история, а не биография Теренса Хэнбери Уайта. Но все равно Уайт – ее часть. И мне приходится о нем писать, потому что он присутствовал в этой истории. Дрессируя ястреба, я как будто вела тихую беседу с ним, вспоминая дела и работы давно умершего человека, который был подозрительным, мрачным и решительным до отчаянности. Человека, чья жизнь меня раздражала. Но и человека, который любил природу, находил ее удивительной, чарующей и бесконечно новой. «Летящая сорока похожа на сковороду!» – писал он, с восхищением обнаруживая что-то новое в мире. Именно это восхищение, эту детскую радость при виде существ, не относящихся к роду человеческому, я больше всего люблю в Уайте. Он был сложным и к тому же несчастным человеком. Но он знал, что мир полон простых чудес. «В этом есть что-то от творца, – писал он в изумлении, после того, как помог фермеру принять роды у кобылы. – Когда я уходил с поля, там было уже больше лошадей, чем до моего прихода».

В книге «В Англии мои кости» Уайт написал одну из самых грустных фраз, которые мне приходилось читать: «Влюбленность – опыт опустошающий, если только это не влюбленность в окружающую природу». Он не мог представить себе ответную любовь другого человека. Ему пришлось переадресовывать свои желания ландшафту – огромному и пустому зеленому полю, которое не может ответить взаимностью, но и не в состоянии причинить боль. Когда во время последней встречи с писателем Дэвидом Гарнеттом Уайт признался ему в своих садистских наклонностях, тот решил, что виновато дурное обращение с мальчиком в детстве и порка на протяжении нескольких лет учебы в школе. «Он был удивительно нежным и чувствительным человеком», – писал Гарнетт. По его словам, Уайт «вечно оказывался перед дилеммой: быть ли ему искренним и жестоким или лживым и неестественным. Какой бы линии поведения он ни придерживался, он вызывал отвращение у предмета своей любви и у самого себя».

Когда в 1932 году Уайт начал преподавать в школе Стоу, он уже научился скрывать свои естественные наклонности. Не один год он жил согласно замечательному афоризму Генри Грина, сформулированному в его книге воспоминаний о частной школе «Сложи мои вещи»: «Если человек чувствует, что отличается от других, самый лучший способ избежать неприятностей – это принимать как можно большее участие в том, чем занимаются все». Чтобы добиться одобрения и «избежать неприятностей», Уайту следовало так или иначе реагировать на происходящее вокруг: в детстве он пытался таким образом завоевать любовь матери. Его жизнь проходила в постоянном притворстве. Закончив учебу в Кембридже с высшим баллом по английскому языку, Уайт решил стать настоящим джентльменом. «Снобизм, – писал он, – одна из лучших игр, в которые играют в гостиных». Он объяснял свое решение Поттсу с легкомысленной небрежностью, но ставки в такой игре были самые высокие. Ему следовало убедить всех, что он и в самом деле джентльмен. Он выбрал правильные хобби: стрельбу, рыбную ловлю, пилотирование самолета и верховую охоту на лис с гончими. Последнее было особенно непростым делом – оно регулировалось тысячами правил и ограничений, требовало смелости, денег, умения вести себя в обществе, скакать на коне и ловко маскироваться. «Можно ли носить цилиндр, черный пиджак и сапоги без отворотов?» – волнуясь, спрашивал он у своего кембриджского друга Рональда Макнэра Скотта. Сомневался по поводу бриджей: «Думаю, мои – правильного цвета буйволового цвета (нечто вроде хаки [sic]), но, возможно, плетение (или тесьма или как там это называется) слишком жесткое или, наоборот, недостаточно жесткое». Слишком жесткое... Недостаточно жесткое...

Уайт вел подробные охотничьи дневники, в которых отмечал свои успехи: сколько миль проскакал на коне, сколько установил ловушек, кого встретил, сколько живых изгородей и канав успешно преодолел. Размышлял по поводу поведения своей лошади и с болезненной уклончивостью оценивал собственные достижения: «Полагаю, я не вел себя неправильно, и меня уж точно ни разу не упрекнули», – писал он. Словно защищаясь, он строил фразы с множеством отрицаний, из которых понятно, как отчаянно он стремился принадлежать избранному обществу. В сборнике «В Англии мои кости» Уайт таким же образом описывает Бакингемшир – через отрицание. Его краю недостает выдающихся качеств, красоты и исторической значимости, а потому мир им не интересуется. Здесь спокойно. Когда Уайт далее объясняет, как Бакингемшир «скрывает свою индивидуальность, чтобы ее сохранить», но при этом «тайно, на свой

манер проявляет буйную силу», вы понимаете, что пишет он о себе. Вновь маскировка. Зеркало отражает и отражается. Расплываются линии, отделяющие человека от пейзажа. Когда Уайт пишет о своей любви к природе, в глубине души он надеется, что ему удастся полюбить и себя.

Но окрестный пейзаж был не только объектом, который он мог безопасно любить, – о такой любви, кроме того, было безопасно писать. У меня ушло довольно много времени, чтобы понять, сколько наших классических книг о животных написаны авторами-гомосексуалистами, повествующими об отношениях с животными, а не о своей любви к тем или иным людям, ибо о последней говорить они не могли. Например, книга Гэвина Максвелла «Круг чистой воды»: рассказ об одиноком человеке, который жил на шотландском берегу и любил расположиться на диване с привезенной из Ирака выдрой. Или же книги выступавшего на радио Би-би-си натуралиста Максвелла Найта, бывшего сотрудника военной разведки и гея. У Найта был двойной запрет на открытое признание своих сексуальных предпочтений, и он написал книгу о прирученной кукушке по кличке Гу. Его одержимость этой маленькой, жадной, лохматой паразиткой поистине трогательна. У кукушки имелись все тайные составляющие жизни Найта: уловки, обман, умение выдавать себя за другого.

Уайт – часть этой горькой литературной традиции. Всю жизнь он оставался одиноким. У него случилось несколько неудачных романов с женщинами, на одной он чуть не женился, другой почти сделал предложение – все они были очень молоды. Зрелые женщины его пугали. Он признавался, что находит их формы непривлекательными и едва ли мог бы заставить себя такое нарисовать. Много позже он влюбился в юного сына своего приятеля. Это была его последняя любовь, безнадежная и лишенная взаимности. Зато животные всегда оказывались рядом. Они заполнили его жизнь и книги. Собаки, совы, ястребы, змеи, барсуки, ежи и даже муравьи. Уайт утверждал, что эти животные никогда не были его любимцами, кроме сеттера Брауни, которого он обожал, потому что «любимые животные почти всегда губительны по отношению к хозяину или к самим себе». Владельцы портят их точно так же, как «матери портят своих детей, душа их, словно плющ». Любимцы-животные означали зависимость, а зависимость приводила писателя в ужас. Одной из глав книги «В Англии мои кости» он предпослал цитату из Стелы Бенсон, которая проливает свет на то, почему он мечтал о ястребе:

«Независимость – состояние самодостаточности – единственный вид благородства, думала я, единственная милость, которые мы можем требовать от живого существа. Мы не должны иметь никакого отношения к

чужим костям; в этом наше единственное право – не иметь с ними ничего общего. Кость должна быть осью шара из непроницаемого стекла. Не надо говорить, глядя на ястреба: «Пожалуй, мне надо сделать для него то-то и то-то». В этом случае не только ястреб защищен от меня, но и я от него».

Будучи школьным учителем, Уайт купил двух сиамских котов – а эта порода знаменита своей независимостью – и пытался «воспитывать их, чтобы они никого не любили и никому не доверяли, кроме себя». Именно так он и сам пытался жить долгие годы. «Безрезультатно, – констатировал он с отвращением. – Вместо того чтобы гулять по дому свободно и независимо... они весь день спят в гостиной, а в перерывах мяукают, чтобы я дал им еще поесть». С котами не получилось. А вот жившие с ним в квартире ужи не подвели. Он держал их, потому что «они неподвластны влиянию и привязанностям». Уайт любил ужей, потому что эти рептилии были неправильно поняты, оклеветаны и «всегда оставались сами собой», то есть существами, походить на которые он так стремился. И, кроме того, они напоминали героев его книг: идеального учителя Мерлина, сироту Варта, которому предназначено было стать королем, и сэра Ланселота, не похожего на других рыцаря, чей характер Уайт лепил с собственного.

Ланселот был садистом, отказывавшимся причинять людям боль, повинувшись долгу чести, то есть данному Слову. Его Слово означало обещание быть великодушным, что и сделало его самым лучшим рыцарем на свете. «Всю свою жизнь, – писал Уайт о Ланселоте, – даже когда он стал великим человеком, он чувствовал брешь, таящуюся в самой глубине души – то, что он ощущал и чего стыдился, но чего до конца не понимал». Уайт тоже изо всех сил старался быть великодушным как раз потому, что ему хотелось проявлять жестокость. Именно по этой причине он не бил своих учеников в школе Стоу.

И хотя Уайт дал Слово отказаться от жестокости, животные удивительным образом помогли ему ее сохранить. После охоты с членами клуба «Олд Суррей и Берстоу хант» Уайт записывает свои впечатления о первой добыче замороженно, но сдержанно. Лису вытравили из канавы, где она укрылась, и швырнули собакам. Те разорвали ее на куски, а люди, стоя кружком, «подбадривали их криками». По мнению Уайта, охотники были омерзительны, а их вопли звучали «напряженно, сдавленно, истерично, как у животных». Но о собаках этого не скажешь. «Свирепость собак, – писал он, – была глубоко укоренившейся и страшной, но естественной, поэтому не такой жуткой, как у людей».

Во время этой кровавой сцены только один человек не вызвал у Уайта омерзения – егеря, краснолицый, сосредоточенный, благородного вида

человек, следивший за собаками и протрубивший по окончании расправы в охотничий рожок, что по традиции подтверждает смерть лисы. По какой-то странной алхимии – близости к своре собак, умению ими командовать – егеря не казался отвратительным. Уайт воспринял это как некий магический трюк, решение нравственной головоломки. Умело дрессируя животное-охотника, тесно общаясь и отождествляя себя с ним, тебе, вероятно, будет дано испытать самые глубинные, самые естественные желания, включая наиболее кровожадные, и при этом ты будешь абсолютно невинным. И сможешь оставаться верным себе.

Когда Уайт мечтал о ястребе, его ложное второе «я» из-за внутреннего напряжения подверглось распаду. Он чувствовал, что в нем «все бурлит от странного смятения», и все чаще шокировал и ужасал знакомых. Коллеги вспоминают, как он являлся на вечеринки и пьяным голосом объявлял: «У этого сборища нет расового будущего. Вечеринки должны уподобиться птичьему заповеднику, и людям следует приходить туда, чтобы найти себе пару». Он решил, что ненавидит людей. И предпочитает животных. Слишком много пил. Он уже изменил свое отношение к былым увлечениям, охоте на лис и авиации. И то, и другое было сопряжено со смертью, снобизмом, желанием доминировать и в своей основе имело скверную мотивировку: боязнь упасть с высоты или выставить себя неудачником. Аристократические замашки были частью сыгранной им игры, но сам повод к игре был плох. И Уайт перестал играть. «Я был похож на того несчастного в Тербере, который требовал упаковочную коробку, чтобы спрятаться, – писал он. – Решение проблемы, как мне казалось, состояло в абсолютной изоляции». Во время весенних каникул он в одиночку отправился ловить рыбу на западное побережье Ирландии в Белмаллет. Там он еще больше убедился в правильности своего решения. И оттуда же отправил в Стоу заявление с просьбой об увольнении. «Для этого требовалось мужество, – писал он Поттсу, – потому что мой психоаналитик помог мне пройти лишь четверть пути. Я не знаю, каково мое будущее, если оно вообще у меня есть». И далее: «Про барменшу забудьте».

Но появился новый ужас. Война. Все чувствовали, что она приближается, почти ощущали ее физически, как едкий пот, выступающий от нервного возбуждения. «Мы все стоим в тени великого ужаса, – двумя месяцами ранее писал оксфордский историк Денис Броган. – И если ангел смерти еще не опустился на землю, то мы уже слышим хлопанье его крыльев и видим, как они закрывают собою наше старое родное небо». Уайт тоже это видел и считал, что в войне виноваты «хозяева людей по всему миру, которые подсознательно толкают других к страданиям, чтобы

дать волю своему могуществу».

Боязнь войны смешалась в сознании Уайта с другими мрачными опасениями. Ему давно уже снились кошмары – бомбы и отравляющие газы, бегство по туннелям, подводные пути спасения через море. Годом ранее он опубликовал книгу «Под землей», своего рода «Декамерон» середины века, в которой охотники на лис, укрывшись в подземном бункере, рассказывают друг другу истории, а с неба падают химические и зажигательные бомбы, чтобы уничтожить эту нервную, духовно сломленную человеческую общность, зовущуюся цивилизацией. Цивилизации пришел конец. Она бессмысленна. Современность – это бред, опасность, политика и притворство, и все катится в тартарары. Надо убегать. Может, ему удастся скрыться в прошлом. Там безопасно. И он стал читать книгу об охоте с ловчими птицами капитана Гилберта Блейна.

В ней-то Уайт и прочитал историю о потерявшемся ястреб-тетеревятнике. «Хотя в день исчезновения птица была прирученная, как домашний попугай, – рассказывает Блейн, – за неделю она вернулась к своему дикому состоянию и с тех пор превратилась в миф, легенду для всей округи». Для Уайта эти слова стали прозрением. Ястреб – миф. Легенда.

«Одна фраза неожиданно нашла отклик в моем сознании, – писал он. – Вот она: «Птица вернулась к своему дикому состоянию». Во мне тогда вспыхнуло желание поступить точно так же. Слово «дикий»^[8] заключало для меня некую магическую силу, вступая в союз с двумя другими словами: «жестокий»^[9] и «свободный»^[10]. «Волшебный»^[11], «шальной»^[12], «воздушный»^[13] и другие компрометирующие эпитеты гармонично увязывались с великим латинским словом *ferox*^[14]. Вернуться к дикому состоянию! Я снял домик работника фермы за пять шиллингов в неделю и написал в Германию, чтобы мне доставили ястреба-тетеревятника».

«Дикий». Уайт хотел стать свободным. Хотел стать жестоким. Хотел стать шальным, волшебным, неприрученным. Это именно те стороны его характера, от которых он пытался откреститься – сексуальная ориентация, желание причинять кому-то боль, доминировать. Все это неожиданно явилось ему в образе ястреба. Уайт обрел себя в птице, которую потерял Блейн. Он держал ее крепко. Было больно, но он не отпускал. Он будет ее воспитывать. Да. Он будет обучать ястреба, будет обучать себя и напишет об этом книгу, чтобы поведать читателю о древнем и обреченном искусстве. Уайт словно поднял флаг давно поверженной страны, присягнув ей на верность. Он будет дрессировать ястреба на руинах своей прошлой жизни. А потом, когда начнется война, что неизбежно, и вокруг останутся

лишь развалины и анархия, Уайт будет охотиться со своим ястребом-тетеревятником и питаться убитыми им фазанами – выживший йомен, что находит пропитание на клочке земли, вдали от горьких сексуальных переживаний метрополии и от мелких школьных дрызг.

Глава 5

Держать крепко



Когда ты внутренне сломлен, то бежишь. Но не всегда убегаешь от чего-то. Случается, что, сам того не ведая, ты бежишь к чему-то. У меня были другие причины, отличные от причин Уайта, но я тоже бежала. Как – то утром в начале августа я оказалась за четыреста миль от дома. Мое поведение напоминало встречу с наркоторговцем. Со стороны-то уж точно. На протяжении долгих томительных минут я бродила туда-сюда по шотландской пристани, с банкой газированной воды с кофеином в одной руке, сигаретой в другой, сунув в задний карман брюк конверт, набитый двадцатифунтовыми купюрами общей сложностью восемьсот фунтов. Вдалеке в машине с подчеркнуто невозмутимым видом в темных очках-авиаторах сидела Кристина. Она поехала со мной за компанию, и я надеялась, что ей не очень скучно. Хотя, наверное, она все же скучала. А может, заснула. Я вернулась назад, к машине. Машина была отцовская. Теперь ее водила я. Но в багажнике лежало множество вещей, которые рука не поднималась выбросить: кассеты с пленкой тридцать пять миллиметров, смятая пластинка таблеток аспирина, газета с недорешенным кроссвордом, до сих пор хранящим почерк отца, и пара зимних перчаток. Я облокотилась на капот, протерла глаза и посмотрела на гавань, надеясь заметить паром. По Ирландскому морю разлилась заводь чистого бирюзового цвета, ее пересекали маленькие крестики – чайки. День вообще был какой-то странный. Мы обе были чуть живы после долгой езды накануне и слегка выбиты из колеи ночевкой в гостинице. «Отель XXI век!» – было написано на ламинированной бумажной вывеске у двери. Когда мы вошли, то первое, что увидели, был сидевший на столе пластмассовый бульдог, строивший нам рожу со злорадной агрессивностью чудища из кошмарного сна.

В номере мы обнаружили сломанный компьютер, раковину, не

присоединенную к трубам, и работающую плиту, которой нас просили ни в коем случае не пользоваться. «Здоровье и безопасность», – закатив глаза, объяснил нам владелец гостиницы. Но неожиданно там оказались еще два телевизора, метры коричневой ткани под замшу, прикрепленной степлером к стенам и санузел с ванной чуть ли не два метра глубиной. В нее немедленно погрузилась Кристина, поразившись торфяной воде чайного оттенка. Я рухнула на стул. Перед глазами у меня все еще мелькала дорога, точно в кинофильме о путешествиях одуревшего от наркотиков режиссера. Гигантские грузовики «Айрон-Брю», забитые шотландской оранжевой газировкой с привкусом жвачки. Ворон, стоящий в луже на обочине, с мокрыми перьями на лапах и похожим на резец клювом. Автомобильная станция обслуживания «А», автомобильная станция обслуживания «В». Сэндвич. Большая кружка отвратительного кофе. Бесконечные мили. Небо, опять небо. Почти авария на каком-то холме из-за моей невнимательности. Автомобильные станции обслуживания «С» и «D». Я растерла заболевшую икру правой ноги, сморгнула остатки дорожных картин и принялась делать опутенки для ястреба.

Их следовало смастерить раньше, но я не могла. Только теперь ястреб стал достаточно реальным, чтобы они действительно понадобились. Опутенки – это мягкие широкие кожаные кольца, которые надевают на лапы ручного ястреба. По-английски опутенки называются «jess» – слово, пришедшее из французского. Во Франции четырнадцатого века охота с ловчими птицами была любимым развлечением знати. С кусочком кожи связан кусочек истории. В детстве я увлекалась не всегда понятными, замысловатыми охотничьими терминами. И в моей книге были расписаны все части тела ястреба: крылья у профессионалов назывались «sails», когти – «rounces», хвост – «train». Поскольку самцы на треть меньше самок, они получили название «tiercels» от латинского «tertius» (треть). Молодые птицы – это «eyasses», птицы постарше «passagers», а взрослые «haggards». Не до конца обученные ястребы летают на длинном шнуре, который называется «creance». «Чистить клюв» передается одним словом «feak». А «испражняться» – «mute». Когда птица встряхивается, это называется «gouse». И так до бесконечности в головокружительном великолепии пышных терминов. Раньше точность формулировок имела свой смысл. По ней определялось твое место в обществе. Точно так же, как в 1930-х годах Т. Х. Уайт волновался, следует ли называть охотничий хлыст «охотничьим кнутом» или же лучше «стеком» или просто «кнутом» или «хлыстом», в шестнадцатом веке иезуит Роберт Саутвелл, ведший в Англии подпольную миссионерскую деятельность, опасался разоблачения, так как он все время

забывал правильные охотничьи термины. Но в детстве меня не беспокоил страх прослыть в обществе невеждой. Сами эти слова казались волшебными, загадочными, всеми забытыми. Хотелось освоить мир, который никто не знает, в совершенстве овладеть его тайным языком.

Теперь все продается в Интернете: опутенки, клобучки, колокольчики, перчатки – все. Но когда я только начинала, большинство из нас делали эти вещи своими руками. Мы покупали вертлюги в магазинах, торгующих принадлежностями для глубоководной рыбалки, должики – в корабельных лавочках, выпрашивали обрезки на кожевенных заводах и обувных фабриках, чтобы сшить клобучки и опутенки на лапы. Мы подгоняли, приспособливали, но, как правило, до идеала нам было далеко. Уж мне-то наверняка. Бессчетное количество часов я натирала воском хлопчатобумажную нить и по ошибке дырявила собственные руки вместо кожного изделия. Хмурясь, стирала кровь, начинала снова и снова кроить, сметывать и сшивать вещи, чтобы они были похожи на фотографии в руководствах по охоте с ловчими птицами, и ждала того счастливого дня, когда у меня будет свой ястреб.

Подозреваю, что часы, проведенные за шитьем, были не просто подготовкой. В моем детском альбоме для рисунков есть небольшой карандашный набросок пустельги, сидящей на руке, защищенной перчаткой. Перчатка едва намечена, к тому же не очень удачно – когда я рисовала, мне было шесть. У птицы черные глаза, длинный хвост и несколько пушистых перышек под крючковатым клювом. Пустельга получилась хорошая, хотя и похожая на призрак. Как и перчатка, она удивительно прозрачна. Но одна часть наброска прорисована особенно тщательно: лапы с когтями, причем они гораздо больше, чем на самом деле. Лапы словно висят над перчаткой, потому что я понятия не имела, как нарисовать вцепившиеся в перчатку когти. Все чешуйки и когти на лапах очерчены с особым старанием, опутенки тоже. Широкая черная линия, изображающая должик, тянется от них к большой черной точке на перчатке. Эту точку я так усердно царапала карандашом, что чуть не прорвала бумагу. Получился своего рода якорь. «Вот, – словно говорила я, – у меня на руке пустельга. Она не улетит. Ей ни за что не улететь».

Это грустная картинка. Она напоминает мне работу психоаналитика Дональда Вудса Винникотта о ребенке, одержимом веревками. Мальчик связывал стулья и столы, приматывал подушки к камину и встревожил всех близких, завязав однажды веревку на шее своей сестры. Винникотт рассматривает такое поведение как способ избавиться от боязни быть брошенной матерью, переживавшей приступы депрессии. Для мальчика

веревка была своего рода бессловесной коммуникацией, символическим средством соединения. Борьбой с разлучением. *Держать крепко.* Возможно, опутенки на моей картинке являли собой невысказанную попытку держаться за что-то, уже улетевшее. Первые недели своей жизни я провела в инкубаторе с огромным количеством трубочек, под электрическим светом. Моя кожа была вся в пятнах и кровоточила, глаза не открывались. Мне повезло. Хотя я и родилась совсем крохотной, но выжила. У меня был брат-близнец, который не выжил. Он умер вскоре после рождения. Я почти ничего не знаю о случившемся: об этой трагедии никогда не говорилось ни слова. В те годы врачи именно это советовали убитым горем родителям. Живите дальше. Забудьте. У вас же есть еще один ребенок! Живите! Много лет спустя, узнав о брате-близнеце, я удивилась. Но не так сильно, как можно было ожидать. Я всегда чувствовала, что мне не хватает какой-то частички меня. Давно не хватает. Могло ли мое увлечение птицами, особенно ловчими, возникнуть из-за этой первой утраты? А может, эта похожая на призрак пустельга нарисовалась в результате ощущения потерянного брата, и ее тщательно прорисованные опутенки свидетельствуют о желании крепко удержать кого-то, о ком я тогда еще не знала, но кого утратила? Думаю, такое возможно.

Теперь у меня умер отец. *Держать крепче.* Мне никогда не приходило в голову, что изготовление опутенок может стать символическим жестом. Я сидела в той странной комнате с неработающими предметами быта, разрезала кожу на длинные полоски, замачивала их в теплой воде, растягивала, обрабатывала специальным жиром, переворачивала и так и этак. И я знала, что это нечто большее, чем кусочки кожи. У меня в руках была связующая нить, которая соединит меня с ястребом, а ястреба со мной. Я взяла нож для резьбы и медленно, одним плавным движением обрезала ремешок так, чтобы получился острый кончик. *Вот.* Делая это, я словно оживляла образы. Ястреб неожиданно стал абсолютно реальным. И вместе с ним появился отец, так ярко запечатленный памятью, что мне казалось, он здесь, в комнате. Серые волосы, очки, голубая хлопчатобумажная рубашка, галстук, со сбившимся набок узлом. В руке чашка кофе, на лице выражение веселого удивления. Он любил меня сердить, придумывая неверные названия охотничьим принадлежностям. Колпачки называл «шляпами». Шнур для тренировочных полетов – «веревкой». Он делал это нарочно. Я злилась и исправляла его, думая, что он меня дразнит.

Теперь я понимала, что отец прекрасно знал, как называются все эти

вещи, но в мире фотожурналистики настоящие профи редко используют общепринятые термины. Для него фотографии были «кадрами», Фотоаппарат просто «штукой». Папа даже не дразнил меня. Наоборот, делал комплимент. Черт бы побрал французский лексикон четырнадцатого века! Черт. Черт, черт, черт. Все было совсем не так. У меня сжалось горло. В глазах защипало. Заныло сердце. Я обрезала кончик другого ремня. Пальцы тряслись. Положила два ремешка рядом на стеклянную столешницу. Получились совершенно одинаковые. «Завтра, – думала я, – я встречу с незнакомым человеком с парома из Белфаста и передам ему конверт, набитый бумажками, в обмен на ящик с ястребом-тетеревятником». Самая невероятная вещь на свете!

Ястреб, которого я собиралась забрать, был выращен в питомнике недалеко от Белфаста. Выращивать ястребов – дело не для слабонервных. У меня есть знакомые, которые пытались этим заниматься, но бросали после первого же сезона, в каком-то посттравматическом оцепенении почесывая поседевшие волосы. «Больше ни за что, – говорили они, – и никогда. Сплошной стресс». Попробуйте и поймете, что между сексуальным возбуждением ястреба-тетеревятника и жуткой, несущей смерть свирепостью проходит очень тонкая грань. Вы должны постоянно следить за ним, наблюдать за его поведением, быть готовым к атаке. Не стоит сажать пару ястребов в один вольер и оставлять там без присмотра. Чаще всего самка убивает самца. Поэтому вы селите их в смежные вольеры с крепкими стенами, разделенные решеткой, через которую птицы могут видеть друг друга. Когда зима идет на убыль и близится весна, через эту решетку начинается ухаживание, как у Пирама с Фисбой: призывая, исполняя брачные танцы, опуская голубовато-серые, цвета пороха крылья и распушая белые кроющие перья хвоста, похоже на пару широких панталон. И только когда вам кажется, что самка готова – а здесь вы ни в коем случае не должны ошибиться, – можно запустить самца в вольер. Если птицы понравятся друг другу, они спариваются, откладывают яйца, и на свет появляется новое поколение рожденных в неволе ястребов-тетеревятников – пушистые белые птенцы с мутными глазками и маленькими коготками. Я не видела того, кто вырастил моего будущего ястреба, но уже знала, что у этого человека были стальные нервы и редкостное терпение.

Ястреб Уайта был пойман в дикой природе. В тридцатых годах никто не выращивал ястребов-тетеревятников в неволе: не имело смысла. В европейских лесах обитали сотни тысяч диких ястребов, и речи ни о каких ограничениях по их ввозу не шло. Как и все ястребы в те годы, ястреб Уайта был привезен из Германии. Куча веток, с которых можно рухнуть

вниз, и белый помет – так Уайт представлял себе гнездо своей птицы. Настоящего гнезда он никогда не видел. Но сейчас гнездо можно хорошо рассмотреть, и для этого не нужно забираться в лес. В Интернете есть множество видео с гнездами ястребов-тетеревятников. Всего одно нажатие кнопки – и вы разглядываете совсем близко, как живет семья этого самого скрытного из ястребов. Там, на четырехдюймовом экране, перед вами в низком разрешении возникает кусочек английского леса. Шуршание, которое доносится до вас из компьютерных колонок, – это оцифрованная смесь шелеста листьев, воя ветра и пения зяблика. Вам видно гнездо – переплетенные между собой крупные ветки, прочно прикрепленные к сосновой коре – выложенное по краям пучками зеленых листьев. На видео из гнезда появляется самец ястреба. Это так неожиданно и он такого ослепительно-белого и серебристо-серого цвета, что вы словно наблюдаете прыгающего в воде лосося. Есть что-то в сочетании его стремительности и запаздывании сжатого изображения, что обманывает ваше восприятие: по мере того, как вы смотрите, у вас возникает определенное впечатление от птицы, но движения живого ястреба накладываются на это впечатление, пока наконец его образ не начинает отчетливо наполняться явью. Ястребиной явью. Ястреб наклоняет голову и зовет: «Чу-чу-чу, чу-чу-чу». Черный рот, нежная дымка холодного апрельского утра. И тогда появляется самка. Огромная. Она садится на край гнезда, и гнездо начинает шататься. Рядом с ее шишковатыми лапами лапы самца кажутся совсем крохотными. Она похожа на океанский лайнер. Этакая самка «Кьюнард»^[15]. Когда она поворачивается, на ее ногах вы замечаете кожаные кольца. Выходит, птицу вырастили в неволе, в каком-нибудь вольере, как тот, что в Северной Ирландии, где вырастили мою. Ею занимался безымянный охотник, потом она потерялась и вот сейчас сидит на четырех бледных яйцах и служит ярким представителем дикой природы для всех, кто видит ее на экране компьютера.

Время шло. Я стояла на шотландском берегу, и с моря на нас лился яркий свет. И вот мы увидели, как в нашу сторону идет человек, держа громадные картонные ящики, похожие на чемоданы необычно большого размера. Странные, ни на что не похожие чемоданы, потому что они, казалось, не подчинялись законам физики – двигались сами по себе, непредсказуемо, независимо от его походки и силы тяжести. «Там внутри что-то движется, – подумала я, и мое сердце дрогнуло. Человек поставил ящики на землю и провел рукой по волосам. «Чуть позже у меня здесь встреча еще с одним охотником. Другая птица для него. А ваша старше. И

больше, – сказал он. – Вот так». Снова провел рукой по волосам, и я заметила на его запястье длинный шрам от когтя, воспаленный по краям, с запекшейся кровью. «Сейчас проверим номера колец в соответствии со статьей десять, – объяснял он, вынимая из рюкзака листок желтой бумаги и разворачивая два бланка, которые сопровождают выращенную в неволе редкую птицу всю ее жизнь. – Не хочу, чтобы вы уехали домой с чужой птицей».

Мы сверили номера. И осмотрели ящики, их ручки из ленты для обвязки бандеролей, дверцы из тонкой клееной фанеры и аккуратные веревочные завязки. Опустившись на одно колено, он развязал веревку на ящичке, что поменьше, и, прищурившись, взгляделся в темноту внутри. Неожиданно раздался стук, и ящик содрогнулся, как будто кто-то сильно толкнул его изнутри. «Она сбросила клобук», – нахмурившись, сказал человек. Легкий кожаный клобук нужен, чтобы ястреб не испугался. Например, нас.

Развязана другая веревка. Сосредоточенность. Предельная осторожность. Дневной свет просачивается в ящик. Царапанье когтей, снова стук. Потом опять. *Стук*. Воздух теперь тягучий, как патока с частичками пыли. Последние несколько секунд перед битвой. И, снова наклонившись, человек просовывает внутрь руку и, несмотря на беспорядочно бьющиеся, хлопающие крылья, царапающиеся когти и пронзительный птичий писк – причем, все это одновременно, – вытаскивает огромного, *огромного*, ястреба. По странному совпадению мир вокруг вторит его действию: поток солнечного света заливает нас с ног до головы, и все становится неистовым и великолепным. Бьющиеся полосатые крылья ястреба, рассекающие воздух острые пальцы его первостепенных маховых перьев с темными концами, взерошенное оперение, как иголки у рассерженного североамериканского дикобраза поркупина. Два огромных глаза. У меня колотится сердце. Птица появилась, словно по волшебству. Рептилия. Падший ангел. Грифон со страниц иллюстрированного бестиария. Нечто яркое и далекое, похожее на золото, падающее в водную глубину. Сломанная марионетка с крыльями, лапами и перьями в брызгах света. На ней надеты опутенки, и человек держит ее за них. Одно долгое, ужасное мгновение она висит вниз головой с распростертыми крыльями, как индейка в мясной лавке, и лишь голова повернута вправо и вверх, так что сейчас птица видит больше, чем ей довелось увидеть за всю ее короткую жизнь. Мирком ястреба был вольер, по размеру не больше гостиной. Потом ящик. А теперь – это! Она видит *все*: точечное мерцание света на волнах, ныряющего баклана в сотне шагов от нас, пигментные

крапинки под воском на рядах припаркованных машин, поросшие вереском дальние холмы и небо, распростертое на многие километры, а в нем солнце, льющее свет на пыль и воду, на что-то, едва различимое, что движется в волнах, какие-то белые штрихи, обернувшиеся чайками. Новые, поразительные картины запечатлеваются в изумленном птичьем сознании.

Все это время человек, доставивший ястреба, сохранял полное спокойствие. Одним профессиональным жестом он собрал ястреба, сложив ему крылья, прижав его широкую мягкую спину к своей груди и одной рукой схватив за желтые чешуйчатые лапы. «Давайте наденем клобучок», – проговорил он напряженным голосом. Его лицо приняло озабоченное выражение. Он беспокоился. Эта птица вылупилась в инкубаторе, вылезла из хрупкой голубоватой скорлупы и очутилась во влажной коробке из оргстекла. Первые несколько дней мужчина кормил ее кусочками мяса, держа их пинцетом, и терпеливо ждал, когда этот мягкий комочек заметит еду и съест, а ястребиная шейка между тем пошатывалась из стороны в сторону, пытаясь удержать голову. Я сразу же полюбила ее хозяина, очень сильно полюбила. Вытащив из коробки клобук, я повернулась к птице. Клюв был открыт, верхнее оперение приподнято, дикие глаза, цветом напоминавшие солнце на белой бумаге, смотрели на мир, вдруг навалившийся на нее. *Раз, два, три.* Я натянула клобучок ей на голову. На мгновение почувствовала скрытые оперением контуры тонкого угловатого черепа, внутри которого чуждый мне мозг шипел и плавился от страха, потом затянула завязки. Мы проверили по бланку номера колец.

Оказалось, это не та птица. Моложе. Меньше. Не моя.

Ох!

Так что мы убрали ее обратно и открыли другой ящик, в котором должна была сидеть птица крупнее и старше. И Бог мой, так и было! Все с этим вторым ястребом пошло по-другому. Птица появилась, как героиня мелодрамы Викторианской эпохи – безумная фурия, готовая напасть. Она была более темного дымчатого цвета и гораздо, гораздо крупнее. И вместо писка – вой. Громкие, ужасные прерывистые звуки, как будто ей очень больно. И крик этот был невыносим. «*Это мой ястреб*», – говорила я себе, и на большее у меня не было сил. Птица тоже оказалась с открытой головой, и я вытащила клобук из ящика, как и в первый раз. Но, поднеся его к ней, я взглянула в ястребиные глаза и увидела в них пустоту и безумие. Какое-то сумасшествие из дальних стран. Я не признала ее. *Это не мой ястреб.* Клобук был надет, номера колец сверены, птица убрана обратно в ящик, желтый бланк сложен, деньги переданы, а я могла думать только об одном: *Это же не мой ястреб.* Тихая паника. Я знала, что мне

придется сказать, и понимала, что нарушаю все правила профессиональной этики. «Мне очень неловко, – начала я, – но мне так понравилась первая птица. Как вы думаете, может быть, я могла бы взять ее вместо этой?..» Фраза повисла в воздухе. Мужчина поднял брови. Я начала просить снова, приводя еще более глупые доводы: «Я уверена, что другому покупателю понравится более крупная птица. Она ведь красивее первой, правда? Я понимаю, что это непорядок, но я... Можно мне?.. Как вам кажется, можно так сделать?» И все в таком роде. Отчаянное, безумное нагромождение бессвязных уговоров.

Не сомневаюсь, что на него повлияло не сказанное мной, а то выражение лица, с которым я говорила. Высокая побледневшая женщина с растрепанными на ветру волосами и измученными глазами умоляла его, стоя на пристани и протягивая руки, словно в постановке «Медеи» на морском берегу. Наверное, глядя на меня, он почувствовал, что моя косноязычная просьба была не простым капризом. Что за ней стояло что-то очень важное. Некоторое время мы оба молчали.

«Хорошо, – сказал он. И когда увидел, что я не верю своим ушам, добавил: – Да. Да, я уверен, все будет в порядке».

Глава 6

Звезды в ящике



«Все тебе нипочем! – воздев руки к небу с выражением мольбы, смешанной с раздражением, сказал мой давний друг Мартин Джонс. – Это все равно что биться головой об стену. Откажись от этой идеи. Иначе с ума сойдешь». Я вспоминала его слова по дороге домой. Сцепление, четвертая передача. Поворот на сто восемьдесят градусов. Переключение передачи. Быстрый набор скорости. Легкая обида. Не хотелось думать обо всем, что он мне наговорил. «Ты с ума сойдешь. Оставь тетеревятников парням, которые всю жизнь ими занимаются. Выбери кого-то более подходящего».

Я знала, что воспитывать ястреба будет нелегко. Всем известно, что тетеревятники плохо поддаются дрессировке. «Дрессуре», как скажут специалисты. Кречета можно натренировать за несколько дней. В свое время мне удалось обучить ястреба Харриса за четыре. А вот тетеревятники нервозные, легковозбудимые птицы, и на то, чтобы убедить их, что вы не враг, уходит немало времени. Нервозность, конечно, не совсем правильное слово: просто дело в том, что их нервная система имеет повышенную возбудимость, потому что нервные пути от глаз и ушей, идущие к двигательным нейронам, отвечающим за деятельность мышц, имеют не прямые связи с соответствующими нейронами мозга. Тетеревятники нервозны, потому что они живут в десять раз быстрее, чем мы, и реагируют на раздражители буквально не раздумывая. «Из всех ястребов, – писал сокольник семнадцатого века Ричард Блум, – тетеревятник, несомненно, наиболее боязливый и робкий, по отношению как к человеку, так и к собакам, и ему требуются скорее ухаживания хозяйки, чем власть хозяина, ибо птица склонна запоминать любые случаи недоброго или грубого обращения. Но если отнестись к ней ласково, она проявит послушание и доброту к своему владельцу». Значит, доброта. Будем на нее рассчитывать и надеяться.

Доброта и любовь. Помню, имея массу времени по дороге домой, я размышляла о внезапном приступе любви, охватившем меня на причале. Она относилась к человеку, который держал птицу, испугавшуюся непонятного ей мира. Мне пришлось проехать много миль, неторопливо анализируя свои чувства, прежде чем я догадалась, что эта любовь была связана с отцом. В течение долгих недель после его смерти я сидела у телевизора и снова и снова пересматривала британский телевизионный мини-сериал «Шпион, выйди вон!» – несколько часов на зернистой шестнадцатимиллиметровой пленке семидесятых годов, мягкой и черной, в старой кассете VHS. Психологически мне было очень уютно в этих темных интерьерах, правительственных кабинетах, мужских клубах. Это была история шпионажа и предательства, которые всегда идут рука об руку. Медленная, как плывущий лед, и прекрасная. Но это был еще и рассказ о мальчике по имени Джамбо, ученике пригготовительной школы в Квонток-Хиллз. О Джамбо-неудачнике. Тучный, близорукий, страдающий приступами астмы, он терзался из-за ужасного ощущения собственной никчемности и трагедии своей распавшейся семьи. Когда в школе появился новый учитель французского – горбатый, похожий на пирата человек по имени Придо, – Джамбо принял его за своего. За того, кто способен его понять. «Ты хороший наблюдатель, – сказал ему Придо. – Вот тебе, старина, мое мнение, причем совершенно бесплатно. Мы, одиночки, все такие». Но Джамбо не знал, да и не мог знать, что Придо был шпионом, что его бо́льшая спина – это последствия попадания русской пули и что у Придо имелись и другие раны – предательство друга и бывшей возлюбленной. Мир Джамбо был слишком мал, чтобы вместить такие вещи, но мальчик все равно чувствовал, что учитель потерял близкого человека. И Джамбо решил занять место этого человека, пока тот не вернется. Он нашел, как стать полезным. В фильме мне нравился Придо, нравился пейзаж вокруг школы – погруженные в туман горы, гомонящие в вязах грачи, матчи регби и белый пар изо рта у ребят на поле зимним утром. Эти картины стали местом действия многих моих снов, навеянных горем в ту весну.

То, что происходит с сознанием после утраты, понимается позже. Но уже смотря фильм, я почти знала, что Придо занял для меня место отца. Впрочем, на тех северных дорогах мне следовало бы еще понять, что после потери отца сознание не просто выбирает новых отцов из окружающего мира, но находит и новые «я», которые бы их любили. В первые недели, пустые и беспросветные, я примерила на себя роль Джамбо. А на шотландском причале на какой-то момент, не понимая, почему, решила стать ястребом. Я ехала дальше и дальше, дорога убегала из-под колес, и

небо прокаливалось, точно в печи, до образования бело-голубой тверди.

Я начала беспокоиться. В ящике было слишком тихо. Я уныло заехала на очередную станцию обслуживания. Кристина побежала купить мороженого, а я присела на корточки перед дырочкой, проделанной для доступа воздуха в стенке картонного ящика. Поскольку мне в течение нескольких часов пришлось смотреть на залитый солнцем асфальт, мое зрение никуда не годилось. Я вообще ничего не могла разглядеть, да и не хотела, потому что ястреб, конечно, умер. И вдруг – *Боже мой!* – в ящике засверкали звезды.

Когда-то давно в художественной галерее я увидела чемодан – небольшой коричневый кожаный чемодан, лежавший на боку на белом столе. Это был самый обыденный предмет, какой только можно себе вообразить, и он вызывал некоторую печаль, словно его оставили здесь по дороге и забыли взять. Художник вырезал в коже маленькую круглую дырочку. «Загляните внутрь», – гласила приклеенная табличка. В замешательстве от того, что мне придется стать частью произведения искусства, я наклонилась, прильнула глазом к дырочке и от удивления вздрогнула. Снова посмотрела. И вдруг стала королевой бесконечного пространства, ошеломленной, восхищенной, глядящей на глубокий звездный покров, протянувшийся в бесконечность. Сделано было здорово: художник прикрепил к крышке и ко дну чемодана два зеркала с прожженными кислотой точками и осветил их гирляндой маленьких лампочек. Отражение пятнышек и дыр на стекле и светящиеся точки превратили внутренность чемодана в горящую огнями холодную вселенную, у которой не было конца.

Свернувшись на заднем сиденье машины и погрузившись в воспоминания о чемодане, я смотрела на звездное поле, которое открылось мне в темноте. Постепенно я сообразила, что это частички перьевой пыли, мелкие соринки раскрошившегося кератина, защищающего растущие перья ястреба. Эти пылинки отслоились от молодого оперения птицы и попали в случайные лучи света, проникшие сквозь щель в крышке коробки. Мои глаза и мозг вновь вернулись к действительности, и теперь я могла различить тусклое сияние полуосвещенной ястребиной лапы, лимонно-желтой, с когтями, и дрожавшие от страха еле заметные перья. Птица знала, что за ней наблюдают. Меня тоже затрясло.

– Она в порядке? – спросила, вернувшись, Кристина и откусила мороженое.

– В порядке, – ответила я. – В полном порядке.

Повернула ключ зажигания. И мы отправились дальше. Ястребов продают и покупают не одно столетие, ругала я себя. Конечно, птица жива. Семь часов езды – ерунда. Достаточно вспомнить торговцев ловчими птицами семнадцатого века, которые привозили диких ястребов французскому двору из самой Индии. А пятый граф Бедфордский, которому доставляли птиц из канадской Новой Шотландии и американской Новой Англии! Ряды ястребов с клобуками на головах, неподвижно сидящие на жердочках в трюмах деревянных кораблей. И мычание скота, который перевозили в качестве пищи для этих хищников. Мы ехали вперед, и я размышляла о тетеревятнике Уайта. Насколько его путешествие было хуже, чем это! Сначала из гнезда к немецкому сокольнику, потом на аэроплане в Англию, потом на поезде из Кройдона к сокольнику Незбитту в Шропшир, после этого к другому сокольнику в Шотландии как часть торговой сделки, которая, судя по всему, не состоялась, потому что птица была возвращена Незбитту. Передышка в несколько дней на просторном чердаке – и снова на поезд, на этот раз идущий в Бакингам, небольшой рыночный городишко с домами из красного кирпича, в пяти милях от Стоу. Там-то Уайт и купил ястреба. Сколько всего миль? По-моему, около полутора тысяч. И много-много дней пути. Я вообще понять не могу, как птица выжила.

Маленькие существа, отправленные в опасное путешествие. На первых страницах книги «Ястреб-тетеревятник» Уайт описывает ужасную дорогу своего только что оперившегося птенца: его вырвали из родного гнезда, засунули в корзину и послали в неведомые земли для обучения. Автор предлагает нам представить себе, каково было птице перенести такое, вообразить себя на месте молодого, сбитого с толку птенца, почувствовать жару и шум, сумятицу и ужас путешествия, завершившегося у писательского порога. «Должно быть, оно было смерти подобно, – писал Уайт, – но какая она, смерть, мы никогда не узнаем раньше положенного часа».

Подсмотренная жизнь животных – это уроки, которые нам преподносит мир. Не так давно в желтом жестяном ящике в библиотеке колледжа я нашла фотографии Уайта, где он изображен еще совсем малышом. Снимки пыльного пакистанского города Карачи – дерево, длинные тени, ясное небо. На первом снимке мальчик сидит на осле и смотрит в объектив. На нем широкие шаровары и детская шляпа от солнца, круглое личико не выражает никакого интереса к ослу – он просто на нем сидит. Мать, красивая и скучающая, стоит позади сына в безупречно белом

платье времен Эдуарда VII. На втором снимке мальчик бежит к фотоаппарату по высохшей земле. Он бежит изо всех сил: на снимке его коротенькие ручки размазаны, потому что он ими размахивает, а такого выражения лица – ужас, смешанный с радостью – я у детей никогда больше не видела. Радость от того, что он покатался на осле, и облегчение, что катание закончилось. На лице у ребенка читается отчаянное стремление найти тепло и защиту и вместе с тем понимание, что ни тепла, ни защиты не будет.

Их никогда и не было. Брак родителей с самого начала оказался неудачным. Констанс Астон было уже почти тридцать, когда постоянные язвительные намеки матери о тяготах содержания взрослой дочери стали для нее совершенно невыносимы. «Я выйду за первого, кто попросит моей руки», – как-то раз огрызнулась дочь. Таким человеком оказался Гаррик Уайт, районный комиссар полиции в Бомбее. Молодожены отправились в Индию, и, как только родился Теренс, Констанс отказалась спать с мужем. Тот начал пить, и семейная жизнь превратилась в бесконечные скандалы и драки. Через пять лет семья переехала в Англию к родителям Констанс в курортный город Сент-Леонардс на южном побережье Англии. Перед возвращением обратно в Индию родители оставили сына в Сент-Леонардсе. Мальчик был брошен, но таким образом получил передышку от постоянного страха. «То время было слишком прекрасно, чтобы описать словами» – так говорит Уайт о своей жизни в Сент-Леонардсе в беллетризованном автобиографическом отрывке, написанном местами голосом маленького мальчика, который отчаянно хочет добиться внимания и уже пробует примерить на себя другие, более безопасные «я»: «Посмотри на меня, Рут! Я главарь шайки пиратов! Посмотри, я самолет! Посмотри, я белый медведь! Посмотри! Посмотри! Посмотри!» В Сент-Леонардсе у мальчика было много радостей: ядовитая моль, черепахи, кладовка, а в ней банки с шоколадом и сахаром, и бесконечные игры с двоюродными братьями и сестрами.

Но так не могло продолжаться вечно. «Нас забрали из этой жизни, – написал Уайт кратко, – и отослали в школы». Идиллия закончилась, ребенок был вновь брошен в мир, полный страха и насилия. Его воспитателем в Челтнеме стал «холостяк-садист средних лет с мрачным одутловатым лицом», у которого в подручных ходили старшие ученики. Эти избивали младших ребят после вечерней молитвы. Каждый день мальчик молился: «Господи, сделай так, чтобы меня сегодня не били». Но, как правило, его все-таки били. «Подсознательно я понимал, что это сексуальное надругательство, – позже размышлял Уайт, – хотя еще не мог

найти слов для подобного обвинения». Неудивительно, что он так глубоко сопереживал ястребу. Мальчика вырвали из единственного места на свете, которое он считал родным домом, и отправили для обучения в мир, где процветала казарменная жестокость. Это предательство оставило в нем неизгладимый след. И такое же предательство оставило след на его ястребе.

Дикий. Волшебный. Свободный. Тим Уайт сидит за кухонным столом и заполняет авторучку зелеными чернилами из бутылочки, стоящей на клеенчатой скатерти. Чернила – вещь гадкая, второстепенная, но коварная. Он пишет о своей новой жизни цветом чернил – как называет его Хэвлок Эллис? Любимый цвет «инвертированных»^[16]. Ястреба привезут завтра. Скоро в доме их будет трое: сам Том, собака и ястреб. От этой мысли Уайт испытывает приятное возбуждение. Он любит свой дом. Называет его своей мастерской, барсучьей норой, убежищем. Снаружи свет и тени от листьев движутся по высоким серым фронтонам. Жилище довольно скромное – воду надо брать в колодце, уборная во дворе – но, по мнению Уайта, прекрасное. Да, он его снимает за пять шиллингов в неделю, но зато впервые живет в собственном доме. И делает его своим. Он покрыл лаком потолки, все покрасил в яркие цвета. Блестящая красная краска. Синяя краска «Роббиалак». На каминной полке птичьи крылья. Ваза для щепок и обрывков бумаги, чтобы разжечь огонь. Узорчатые обои. Зеркало. Везде книги. Он потратил шестьдесят шесть фунтов на ковры с длинным ворсом, купил обтянутое штофом глубокое кресло и запасся мадерой. На втором этаже он превратил гостевую спальню в сказочную комнату тайного романтического изобилия: зеркала и позолота, голубое постельное белье и золотое покрывало, а вокруг – свечи. Правда он не может заставить себя здесь спать. Ему хватит и складной кровати в соседней комнате с коричневыми занавесками. Ястреба он поселит в сарае. И они оба назовут это место своим домом.

Викторианская терраса неясно маячила в летних сумерках. С ящиком в руке я подошла к своей двери. Не помню, как я открывала ящик в ту ночь. Но помню, как мои босые ноги ступали по ковру, помню тяжесть ястреба на руке. Силуэт птицы, большой и испуганной, нервное подергивание ее плеч, когда она отступила назад, в тень присады на полу в гостиной. Помню, мне пришел на ум отрывок из книги «Меч в камне», в котором сокольник сажает ястреба-тетеревятника обратно на согнутую ладонь, успокаивая его – «так хромой прилаживает свою потерянную и вновь найденную деревянную ногу». Да, когда носишь ястреба первый раз,

чувствуешь себя именно так. Ничего не говоря, я забралась вверх по лестнице и свалилась в кровать. Ястреб со мной, путешествие закончилось.

В ту ночь мне приснился папа. Это был не тот сон, который мне снился обычно – как вся наша семья снова оказалась вместе. На этот раз я что-то искала в доме – пустом доме с бледными квадратами на тех местах, где на стенах должны были быть картины. Я не могу найти то, что ищу. Открываю дверь на втором этаже, ведущую в комнату, не похожую на другие. По трем стенам стекает вода, а дальней стены вообще нет. Просто отсутствует. Один лишь воздух бледно-лилового городского вечера. Подо мной разбомбленный участок города. Кругом тонны кирпича и битого камня, между палками и перекладинами, оказавшимися поломанными стульями, в кучах мусора цветет иван-чай. Тени среди всех этих предметов начинают сгущаться к ночи. Но я смотрю не туда. Потому что на самой высокой куче кирпичей стоит маленький мальчик с рыжеватыми волосами. Лицо повернуто в сторону, но я сразу его узнаю – и не только потому, что на нем те же короткие брюки и вязаная серая курточка, как на фотографии в семейном альбоме. Папа.

Увидев его, я моментально понимаю, где нахожусь. Это Шепердс-Буш, куда отец однажды сбежал, когда был мальчишкой. Карабкался с друзьями по руинам разбомбленных домов, собирал, что мог найти, спасал вещи, прятал их, разглядывал. «Мы бомбили кирпичи бомбами, сделанными из кирпичей, – рассказывал он мне. – Больше нам не с чем было играть». Потом мальчик поворачивается, поднимает глаза вверх и смотрит на меня, стоящую в разрушенном доме, и я понимаю, что он собирается что-то сказать. Но слов нет. Вместо этого он показывает куда-то рукой. Куда-то *вверх*. Я смотрю. Там вверху на высоте нескольких километров летит самолет. Это так высоко, что фюзеляж и крылья все еще освещены заходящим солнцем. Шума двигателя не слышно, до меня не доносится ни единого звука, никакого движения. Лишь светящаяся точка, летящая по небу, пока она не скрывается за горизонтом, уходя в тень мироздания. Я снова смотрю вниз, но мальчик, который был папой, исчез.

Глава 7

Невидимка



Пррт-пррт-пррт. Одна вопросительная нота повторяется снова и снова, словно телефонный звонок от прячущейся в листве птицы. Она и заставила меня проснуться. Из кроны липы, что растет у моего окна, доносилось чириканье зяблика, а я лежала и смотрела, как утро постепенно становится светлее, и слушала, как за оконным стеклом с места на место по дереву перемещается этот звук. Зяблик дождь накликавает. Замечательное объяснение чириканью, которое похоже на вопрос, не предполагающий ответа. Никто не знает, почему зяблики издают такой звук, но издавна принято считать, что он предвещает плохую погоду.

В пятидесятых годах прошлого века в небольшой исследовательской лаборатории в Мадингли, за несколько миль от того места, где я сейчас лежала, ученый по фамилии Торп проводил эксперименты с зябликами, чтобы понять, как они учатся петь. Он выращивал молодых зябликов в полной изоляции в звуконепроницаемых клетках и с интересом слушал обрывочный щебет, который издавали его несчастные питомцы. Как ему удалось выяснить, существует некое временное окно, в которое изолированные птенцы должны услышать сложные трели, искусно выводимые взрослыми особями. Если же такого окна нет, сами они никогда не смогут щебетать как следует. Ученый пробовал ставить едва оперившимся птенцам пленку, где было записано пение других видов птиц: интересно, можно ли заставить маленьких зябликов петь, как, к примеру, лесные коньки? Это было принципиально новое исследование процесса эволюции, но в то же время работу насквозь пронизывали опасения периода холодной войны. Вопросы, которые задавал себе Торп, ставились на послевоенном Западе, одержимом идеей национальной идентичности и боявшемся промывания мозгов. Каким образом ты узнаешь, кто ты? Можно ли изменить свою национальную принадлежность? Можно ли тебе верить?

Что делает тебя зябликом? Откуда ты родом? Торп обнаружил, что дикие зяблики из разных местностей имеют разные диалекты. Я внимательно прислушивалась к птичьему пению за окном. Да, это щебетание отличается от щебетания суррейских зябликов, которое я хорошо помнила с детства. Звук тоньше и менее сложный. Казалось, он прерывается до того, как трель успела полностью отзвучать. Мне подумалось, что было бы хорошо опять послушать суррейских птичек. Вспомнились печальные пернатые в звуконепроницаемых клетках и то, как ранний опыт учит нас тому, кто мы такие. Вспомнился дом из моего сна. А потом и дом, где я живу. И тогда у меня внутри постепенно разлилось приятное волнение, и я поняла, что теперь в моем доме все будет по-другому. Все дело в ястребе. Я закрыла глаза. Ястреб внес в дом дух дикой природы, подобно тому, как букет лилий наполняет его ароматом. Скоро начнется новая жизнь.

В полусвете комнаты с задернутыми занавесками она сидит на присаде с клубочком на голове, спокойная и удивительная. Грозные когти, жуткий крючковатый черный клюв, гладкая грудь цвета кофе с молоком, обильно украшенная светло-шоколадными пестринками точь-в-точь как какой-нибудь самурай в доспехах цвета каппучино. «Привет, ястреб», – шепчу я, и при звуке моего голоса птица, встревожившись, чуть топорщит перья. «Ш-ш-ш! – говорю я себе и ей. – *Ш-ш-ш!*» Потом надеваю сокольничью перчатку, делаю шаг вперед и беру ее на кулак, отвязав должик от присады.

Она машет крыльями. *Бьется.* «Безумное метание в страхе и ярости, когда привязанный ястреб кидается вниз с кулака в диком порыве обрести свободу». Так описал этот бросок Уайт в «Ястребе-тетеревятнике». Сокольник, объясняет Уайт, должен «поднять ястреба обратно на кулак другой рукой, исполнившись ласки и терпения». И я поднимаю ее назад на кулак, исполнившись ласки и терпения. Когти птицы судорожно вцепляются в перчатку. *Присада движется.* Я чувствую, как птичий мозг пытается понять это новое. *Но пока присада – это единственное, что я знаю. Буду держаться крепко.* Я заставляю ее ступить на присаду и прикидываю вес особи. У ястребов есть полетный вес, так же как у боксеров есть боевой вес. Слишком толстый или высокий ястреб не очень-то любит летать и не станет возвращаться на зов сокольника. Невысокие ястребы просто ужасны: худые, печальные, лишенные сил летать с удовольствием и изяществом. Снова посадив птицу на кулак, я прощупываю ее грудину голыми пальцами другой руки. Птица упитанная, под перьями я ощущаю жар ее кожи, и до моих пальцев доходит нервное биение сердца. Я вздрагиваю. Отдергиваю руку. Суеверие. Не могу

заставить себя щупать это трепетание жизни, не могу не бояться, что вдруг из-за моего чрезмерного внимания оно остановится.

Я сижу в гостинной, засунув между пальцами в перчатке под ее чешуйчатыми лапами кусок сырого мяса, и жду. Одну минуту, вторую. Третью. Потом снимаю у нее с головы клобучок.

Два огромных диких глаза глядят на меня долю секунды и исчезают. Прежде чем птица успевает сообразить, что, черт возьми, происходит, она пытается как можно быстрее улететь отсюда. Но ее полет резко прерывается опутенками, и, поняв, в какую западню попала, она в отчаянии начинает пронзительно щебетать. Ей не скрыться. Я снова сажаю ее на перчатку. Под перьями – сухожилия, кости и колотящееся сердце. Она снова начинает бить крыльями. Снова и снова. Как я этого не люблю! В первые несколько минут остается только свыкнуться с мыслью, что ты пугаешь ястреба, хотя тебе хочется добиться прямо противоположного. После трех ее неудачных попыток взлететь мое сердце стучит, как зверь в клетке, но птица вновь посажена на перчатку. Клюв раскрыт, глаза горят. А потом наступает исключительно напряженный момент.

Ястреб-тетеревятник смотрит на меня в смертельном ужасе, и я чувствую, что наши сердца бьются в унисон. В сумраке комнаты птичьи глаза светятся серебряным светом. Клюв все еще раскрыт. Она горячо дышит мне прямо в лицо, и я ощущаю запах перца, мускуса и горелого камня. Ее перья слегка топорщатся, крылья полураскрыты, а чешуйчатые желтые пальцы и изогнутые черные когти крепко держатся за перчатку. Такое ощущение, что у меня в руке горящий факел. Моему лицу тепло от жара, исходящего от испуганной птицы. Она глядит. Глядит не отрываясь. Медленно ползут секунды. Ястребиные крылья опускаются ниже, птица приседает, готовясь к бою. Я отвожу глаза. Нельзя встречаться с ней взглядом. Из всех сил стараюсь держаться так, словно *меня здесь нет*.

За годы тренировки ловчих птиц я вывела правило: надо научиться быть невидимой. Именно так следует поступать, когда только что приобретенная птица сидит на твоём левом кулаке в состоянии дикого страха, готовая сражаться. Ястребы – не общественные животные, как собаки или лошади, они не понимают ни принуждения, ни наказания. Единственный способ их укротить – ласково предлагать пищу. Если вам удастся заставить птицу есть пищу из ваших рук, это будет первым шагом в завоевании ее доверия, и в конце концов вы станете товарищами по охоте. Но промежуток между страхом и согласием есть с рук пищу огромен, и вам нужно пройти его вместе. Когда-то я думала, что тут дело в бесконечном терпении. Но нет. Требуется нечто большее. Вам следует стать невидимкой.

Представьте себе: вы в затемненной комнате сидите с ястребом на кулаке. Птица неподвижна, напряжена и насторожена, как заряженная катапульта. Под большими когтистыми лапами – кусок сырого мяса. Вы хотите, чтобы она смотрела на мясо, а не на вас, потому что знаете – хотя и не глядите в ее сторону, – что ее глаза в ужасе застыли на вашем профиле. И слышится только влажное «клик-клик-клик», когда она моргает.

Чтобы преодолеть образовавшуюся пропасть и добиться возможного согласия между вашими временно парализованными, не работающими сознаниями, вам нужно – как можно скорее – исчезнуть. Вы должны выбросить все из головы и замереть. Абсолютно ни о чем не думать. Ястреб превращается в странное, пустое понятие, плоское, как фотография или эскиз, но в то же время он, словно злобный верховный судья, крайне важен для вашего будущего. Ваша рука в перчатке чуть сжимает мясо, и вы ощущаете легкое смещение веса птицы. Потом краем глаза замечаете, что мясо найдено. И тогда, все еще оставаясь невидимой, вы воображаете, что, кроме мяса и ястреба, в комнате ничего нет. Вас-то уж точно. И надеетесь, что птица станет есть, и вы тогда сможете постепенно вернуться в реальность. Даже если вы не шевелите ни одним мускулом и просто спокойно переходите в более нормальное состояние, ястреб об этом *знает*. Поразительно, но требуется довольно много времени, чтобы вновь стать собой в присутствии ястреба.

Впрочем, мне не нужно было этому учиться. Я все прекрасно умела. Этому трюку я научилась еще в детстве. Маленькая, немного боязливая девочка, одержимая птицами, любила исчезать. Как и Джамбо из кинофильма «Шпион, выйди вон!», я была наблюдателем. Причем всегда. В детстве я привыкла забираться на холм за домом и вползать на животе в свое любимое укрытие под кустом рододендрона, прячась за его свисающими ветвями, словно маленький снайпер. Из этого тайного убежища, где мой нос почти касался земли, вдыхая запах мятого папоротника и кислой почвы, я смотрела на мир внизу и наслаждалась поразительным ощущением спокойствия, которое возникает, когда тебя не видит никто, а ты видишь все. Я смотрела, но не действовала. Искала защищенности в состоянии невидимости. Но желание превращаться в невидимку иногда становится привычкой. А в жизни это совсем ни к чему. Поверьте, совсем ни к чему. Особенно, когда общаешься с окружающими – любимыми, друзьями, родными, коллегами. Но в первые несколько дней дрессировки нового ястреба эта способность оказывается величайшим искусством.

Сидя там с ястребом, я была абсолютно уверена в себе. «Я знаю, что надо делать, – думала я, – и я прекрасно умею – *хотя бы* это. Мне известны все фигуры этого танца». Сначала ястреб начнет есть у меня с руки – с той, что защищена перчаткой. Затем, в течение нескольких дней, птица будет становиться все более ручной, отчасти потому что я держу ее в помещении и постоянно присутствую рядом. Именно так делали сокольники пятнадцатого века. Вскоре, захотев есть, она сама начнет садиться, а потом и запрыгивать на мой кулак. Я буду делать долгие выноски, чтобы она привыкла к машинам, собакам и людям. Потом она будет прилетать ко мне, если я позову, сначала на длинном шнуре, а после и без него. *А затем...*

Затем... Я попросила друзей меня не беспокоить. Набила холодильник птичьим кормом и отключила телефон.

Так я стала отшельницей с ястребом, которая сидит в затемненной комнате с книгами вдоль трех стен, линялым афганским ковром и диваном с заляпанной обивкой из желтого бархата. Над зашитым досками камином висело зеркало, и в его старинном стекле смутно отражался задом наперед прикрепленный надо мной к стене рекламный плакат компании «Shell» 1930-х годов. «Shell» не подведет!» – гласил он, а рядом с надписью над дорсетским побережьем плыли едва намеченные тучи. В комнате стоял старый телевизор, пол покрывал кусок зеленой, цвета мяты, искусственной кожи, на котором я установила присаду. Две темно-зеленые занавески в цветочек закрывали от нас внешний мир. Мне нужно было сидеть неподвижно, ни о чем не думать и надеяться на успех. Но минуты тянулись, и приходилось хотя бы немного шевелиться: переставить ногу, чтобы не затекла, поморщиться, если щекотало в носу, и всякий раз при малейшем моем движении птица вздрагивала от страха. Но краем глаза я все же видела, что она постепенно успокаивается. Птица выпрямилась и уже больше не сидела, пригнувшись, готовая вот-вот взлететь. И в комнате теперь не так ощущался страх.

В старину такое поведение сокольника называлось *наблюдением*. Меня это состояние обнадеживало, поскольку было привычным – я могла уйти в свои мысли, будучи одновременно и осторожной, и серьезной. Впервые за несколько месяцев в моей жизни появился смысл – ждать того момента, с которого начнется все остальное: ястреб наклонит голову и начнет есть. Больше мне ничего не надо было. Так что оставалось одно – ждать, наблюдать. Когда сидишь с ястребом, кажется, что часами задерживаешь дыхание без всяких усилий. Грудь не поднимается и не опускается, только чувствуешь удары сердца – они отдаются в кончиках пальцев: тихая, прерывистая пульсация крови, которая – поскольку, кроме нее, никакого

другого движения я не ощущала – представлялась мне чем-то посторонним, чуждым. Словно это билось сердце иного человека или нечто жило своей особой жизнью у меня внутри. Нечто с плоской головой рептилии, с двумя тяжелыми опущенными крыльями. Со скрытыми тенью боками с крапинками, как у дрозда. Полумрак в комнате приобрел какой-то зеленоватый оттенок – вокруг было темно и прохладно, почти как под водой. За окном своим чередом шла обычная жизнь – жаркая и далекая. По занавесям скользили тени – люди, шедшие в магазины, студенты, велосипедисты, собаки. Смутные очертания человеческих фигур, издающие звуки, похожие на те, что бывают в самодельном телефоне из пластиковых стаканчиков и нитки, – нечеткие и неразборчивые. Шлеп-шлеп идущих ног. Шуршание шин очередного велосипеда. Тянулись минуты. На ковер к моим ногам медленно опустилась пушинка из кроющих перьев птицы. Маленькая звездочка, почти без перьевого стержня, просто комочек мягкого белого пуха. Я долго смотрела на него. С такой сосредоточенностью, хотя и блуждая мысленно совсем в других сферах, я разглядывала лишь клочок ягеля, что оказался у меня перед глазами в тот день, когда зазвонил телефон.

«Нервишки пощекотать», – говорил папа о такой работе. Так называли лондонские журналисты опасные задания редакции. Высунуться из вертолета с фотоаппаратом в одной руке, а другой уцепиться за дверной проем, потому что порвались ремни безопасности. Или, примостившись на шаткой железной ступеньке, приделанной к камню на высоте более ста двадцати метров, смотреть сквозь объектив «рыбий глаз» с верхушки Солсберийского собора. «Нервишки пощекотать? Я выполняю такие задания, глядя в фотоаппарат, – объяснял папа. – Подношу его к глазу вот так, – и он имитировал свой жест, – и смотрю в видоискатель. Тогда отвлекаешься. И уже не боишься». У тебя больше нет тела, которое может упасть или как-то подвести: существует лишь квадратик на идеально круглом стекле и мир, который виден за ним, и в голове тысяча технических решений – какую выбрать выдержку, глубину резкости, как сделать, чтобы получилось задуманное.

Сидя с ястребом в затемненной комнате, я чувствовала себя спокойнее, чем во все предыдущие месяцы. Отчасти потому, что у меня была цель. Но еще и потому, что дверь в окружающий мир закрылась. Теперь я могла подумать об отце. Я стала размышлять о том, как он справлялся с трудностями. Отделять себя от мира линзами фотоаппарата значило не просто защищаться от физической опасности. Они закрывали его и от других вещей, которые ему приходилось фотографировать, – от ужасных

вещей, трагических, от несчастных случаев, железнодорожных катастроф, последствий городских бомбежек. И он опасался, что эта стратегия выживания может превратиться в привычку. «Я вижу мир через объектив», – немного грустно сказал он однажды, словно фотоаппарат, который был всегда рядом, лишал его возможности соучастия – вставая между ним и жизнью обычных людей.

Снова зачирикал зяблик. *Как человек учится быть тем, кто он есть?* Может, я научилась быть наблюдателем от папы? Было ли это детским подражанием его профессиональной стратегии справляться с трудностями? Некоторое время я вертела эту мысль и так и этак, а потом отбросила. «Нет, – решила я. – Нет». Скорее это «нет» означало «не думаю», чем «ничего подобного». Все эти тысячи тысяч фотографий, которые сделал папа! Подумала бы сначала о них. И каждый снимок – летопись, свидетельство, бастион, защищающий от забвения, пустоты, смерти. Послушай, *это случилось*. Произошло. А то, что произошло, нельзя уничтожить. Вот, посмотри на фотографии: маленький ребенок кладет свою маленькую ручонку в морщинистую ладонь восьмидесятилетнего старика. Лиса бежит по лесной тропинке, и человек вскидывает ружье, чтобы ее убить. Автомобильная катастрофа. Разбившийся самолет. Комета, размазанная по утреннему небу. Премьер-министр вытирает лоб. «Битлз» сидят за столиком в кафе на Елисейских Полях холодным январским днем 1964 года. Бледное лицо Джона Леннона виднеется из-под козырька кепки. Все это было, и мой отец запечатлел эти события в памяти не только собственной, но и мировой. В жизни он не стремился исчезнуть. Наоборот, он хотел совсем другого.

Однажды зимним вечером папа пришел домой на удивление расстроенным. Мы спросили, что случилось. «Вы сегодня небо видели?» – ответил он вопросом на вопрос. Отец, как выяснилось, шел с пресс-конференции через лондонский парк. Там никого не было, кроме мальчика, игравшего у замерзшего пруда. «Я сказал парню: «Ты только посмотри! Подними глаза вверх. Запомни, что ты это видел. Потому что больше никогда не увидишь». Над ними обоими на зимнем, подернутом дымкой небе раскинулись гигантские кольцеобразные узоры из кристалликов льда, образующие «ложные солнца», или паргелии. Двадцатидвухградусные паргелии – это два светящихся полукружия, околзенитное и касательное к нему, в которых преломляется солнечный свет, разрезая небо в сложной геометрии льда, огня и пространства. Но мальчик не проявил никакого интереса. Папа был просто ошарашен. «Может, он подумал, что ты один из тех чокнутых», – хихикали мы, закатывая глаза. Папа как будто смутился и

немного обиделся. Но его очень расстроил мальчик, не желавший *видеть*.

Теперь, когда папы не стало, я начала понимать, как смерть связана с различными вещами, например, с тем холодным, освещенным паргелиями небом. Что мир наполнен знаками и чудесами, которые появляются и исчезают, и если тебе повезет, ты можешь их увидеть. Однажды или дважды. А возможно, лишь один-единственный раз. В альбомах, стоящих на маминых книжных полках, полно семейных фотографий. Но не только их. Вот скворец с крючковатым клювом. Иней и дым. Вишня вся в цвету. Грозовые тучи, удары молнии, кометы и затмения: небесные явления, жуткие в своей слепой оторванности от твоей жизни, но и убеждающие тебя, что мир вечен, а ты только песчинка на его пути.

Анри Картье-Брессон говорил, что для удачного снимка нужно поймать «решающий момент». «Ваш глаз должен увидеть композицию или выражение лица, которые предлагает вам сама жизнь, а интуиция должна подсказать, когда щелкнуть, – утверждал он. – Момент! Если его пропустите – больше не поймаете». Об одном таком моменте я вспомнила, сидя с ястребом и ожидая, когда он начнет есть с моей руки. Много лет назад папа сделал черно-белую фотографию пожилого дворника с седой бородкой клинышком, в носках гармошкой и стоптанных ботинках. Мягкие рабочие брюки, рабочие рукавицы и шерстяной берет. Папа снимал снизу, почти с панели – наверняка присел на корточки. Дворник наклонился, зажав под мышкой метлу из березовых прутьев, снял с правой руки рукавицу и протянул хлебную крошку сидевшему на поребрике воробью, держа ее между большим и указательным пальцем. Воробей попал в кадр как раз в тот момент, когда вспорхнул, чтобы схватить крошку с руки дворника. На лице старика – выражение огромной радости. Это лицо ангела.

Время шло. В дикой природе за один раз ястребы съедают очень много, а потом несколько дней способны обходиться без пищи. Я знала, что сегодня птица не станет есть с моей руки. Она была испугана, есть не хотела, да и мир причинил ей страдания. Нам обеим нужна была передышка. Я вновь надела ей на голову клубочок. *Вот так*. И сразу же – паника, нервное возбуждение, но потом она успокоилась, потому что день превратился в ночь и я исчезла. Ужас прошел. *Околпачить*. Старинный трюк, которому есть оправдание: темнота даст ей возможность успокоить растрепанные нервы. Да и мне тоже. Птица заснула на своей присаде. И я вслед за ней, завернувшись в пуховое одеяло, лежавшее на диване. Позже, когда я снова взяла птицу на руку, ее настроение изменилось. Это с ней уже

было, и теперь я не казалась ей таким страшным чудовищем. Правда один раз она бросилась вниз, к полу, но все-таки к полу, а не от меня в слепом ужасе. Я снова усадила ее на руку в перчатке. Мы посидели еще немного. Затем, вместо того, чтобы уставиться на меня полными ужаса глазами, она принялась осматривать комнату. Новые предметы. Полки. Стены. Пол. Она исследовала их внимательно, чуть поворачивая голову. Ястребиная фокусировка, идеальное измерение расстояний. Она оглядывала потолок от края до края, ряды книжных полок под ним, потом наклонила голову, чтобы рассмотреть полоску спутанных кисточек по краю ковра. Наконец наступил решающий момент. Не тот, на который я надеялась, но все равно потрясающий. Рассматривая комнату с простым любопытством, она повернула голову и наткнулась взглядом на меня. Подпрыгнула. Подпрыгнула от испуга, в точности как человек. Я почувствовала вцепившиеся в перчатку когти, шок, холодный, словно электрический разряд. Это и был тот самый момент. Всего минуту назад она воспринимала меня как кошмар и больше ничего не замечала. Но потом про меня забыла. Всего на долю секунды, но этого оказалось достаточно. И этот факт вызывал радость, потому что означал, что она начала ко мне привыкать. Но у меня возникло еще и более глубокое, темное чувство. Чувство, что обо мне забыли.

Глава 8

Интерьер в духе Рембрандта



В первую же ночь Уайт выпустил в сарае своего молодого ястреба-тетеревиатника, и ранним утром, в пять минут четвертого, ястреб уже сел к нему на руку и начал есть. Птица была голодна, знала людей и надеялась получить от сокольника пищу. Моя питомица пока не достигла этой стадии, и чтобы ее достигнуть, потребуется не один день. Если бы Уайт понимал, что делает, через неделю бы его ястреб уже свободно летал. Но Уайт не понимал. Он не знал, что во время дрессировки нужно держать ястреба немного голодным, поскольку лишь через кормление дикая птица осознает, что вы приносите ей добро, а не угрожаете ее существованию.

Уайт был поражен. На хвосте ястреба он обнаружил странные бледные поперечные полосы, как будто кто-то провел по перьям бритвой. Уайт знал, что они означают: это следы, свидетельствовавшие о недостатке питания во время роста. Перья оказались слишком слабы и легко ломались. Уайт почувствовал свою вину и ответственность. Он распереживался, полагая, что ястребу нанесен вред. Ему захотелось избавиться от следов недоедания на птичьей оперении, возместив тем самым нанесенный кем-то ущерб. Поэтому Уайт начал кормить птицу. Кормить как можно больше. При этом он не знал, что, поскольку перья выросли, с ними больше уже ничего не случится. Уайт давал ястребу так много пищи, что тот был не в состоянии не только есть, но даже смотреть на еду.

И вот перепуганный аустрингер Уайт гладит ястреба по грудке разбитым кроличьим черепом, из которого вытекает мозг, отчаянно пытаясь таким способом заставить птицу есть, а ястреб есть не желает, потому что сыт. «Люби меня, – говорит ему Уайт. – Пожалуйста. Я помогу тебе, тебе станет лучше. Ты поправишься. Только ешь». Но толстый, перекормленный тетеревиатник хочет лишь одного – чтобы его оставили в покое, чтобы он мог исчезнуть, испариться в том, другом мире, где нет людей. Сытый и

довольный, с полужакрытыми глазами, со спрятанной в мягких перьях подогнутой ногой, он желает лишь переваривать пищу и спать. В течение последующих дней и недель Уайт предлагает ему разные лакомства, одно лучше другого, хочет, чтобы ястреб съел больше, чем птица в состоянии проглотить. Уайт убажывает ястреба, впадает в отчаяние, убеждает себя, что его терпение в конце концов будет вознаграждено. И, конечно, в какой-то момент ястреб оказывается достаточно голодным, чтобы что-нибудь склевать, и тогда Уайт принимается запихивать в него пищу, убежденный, что теперь-то все будет хорошо. Ястреб начинает его ненавидеть, и этот странный этап их отношений повторяется снова. «Дни атак и контратак, – так назвал это время Уайт. – Метание туда-сюда по полям сражений». Поведение Уайта с ястребом вписывается в некую кошмарную логику – логику садиста, который отчасти ненавидит своего ястреба, потому что ненавидит себя, и хочет сделать ястребу больно, потому что любит его, но сдерживается и заставляет птицу есть, чтобы она его полюбила. И эта перевернутая с ног на голову логика сталкивается с простой логикой дикого, откормленного ястреба-тетеревятника, видящего в этом человеке самое враждебное существо на свете.

«Я только что сбежал от человечества, – писал Уайт, – а бедный тетеревятник был только что им пойман». Но Уайт не сбежал, во всяком случае, не вполне. При чтении «Ястреба-тетеревятника» создается впечатление, что на несколько миль вокруг дома Уайта не было никакого жилья – будто это отдаленный аванпост, затерявшийся глубоко в лесу, в полумиле от ближайшей дороги. Но на самом деле дом стоял на земельных владениях Стоу, он был построен несколько столетий назад на одной из старых дорог, проложенных для экипажей, которые ехали к главному зданию. Дороги эти назывались райдингами, и одна из них проходила по колышущемуся морю травы как раз мимо жилища Уайта, затем она шла по вершине объединенного овцами холма и спускалась прямо к дверям школы. Дом Уайта был простой, это правда, с «удобствами» во дворе и колодцем, и когда Уайт стоял с ястребом в сарае, он мог видеть надпись на задней стороне двери. Егерь Викторианской эпохи нацарапал карандашом: «Фазаны. Мешки». Но уединенным это жилище все же не было. Дом Уайта находился вовсе не в лесу, а на старой широкой дороге, ведущей в Стоу, словно не до конца выполненное обещание. И Уайт сидел в нем, точно собака, что ждет кого-то на самом конце цепи, или как несчастный разведенный, съезжающий из некогда общего дома, чтобы поселиться на той же улице, но чуть дальше. Несмотря на радость свободы, учитель не

избежал связей со школой, не избежал он и желания обучать.

В книге Блейна Уайт прочел, что охота с ловчими птицами – это искусство управлять самыми дикими и гордыми созданиями природы, и чтобы их выдрессировать, сокольник должен побороть птичью непокорность и бунтарский характер. Обучение ястреба было зеркальным отражением обучения мальчика в частной школе. В обоих случаях своенравный и неуправляемый подопечный приводился к должному стандарту, цивилизовался, обретал хорошие манеры и учился подчиняться. Но методы обучения различались, и это доставляло Уайту удовольствие. «Я долго был школьным учителем, – писал он, – а в этой профессии трудные ситуации преодолеваются с помощью наказания. Впоследствии мне было приятно обнаружить такую обучающую профессию, в которой наказание выглядит просто смешным».

Подобное обучение, решил он, идеально подходит и для него, и для ястреба. Он назовет свою книгу «Аустрингер» и на ее страницах вместе с читателем отправится в «требующее терпения путешествие по полям и былым эпохам». Но это путешествие было не просто прогулкой в воображаемое прошлое Англии, Уайт хотел уйти и в собственное прошлое. Он «выбыл из странного гетеросексуального соревнования взрослых», вновь став «мальчиком-иноком». В результате долгих часов проводимого Беннетом психоанализа Уайт узнал, что возвращение к прошлому – это способ исправить свою жизнь: обнаружить давние травмы, вернуться к ним и рассеять их силу. Теперь он уходил в прошлое вместе с ястребом. Он уже сопереживал недавно оперившемуся птенцу в корзине, видя в нем самого себя. Неосознанно он вновь обращался к своему детству – и там ястреб занимал место мальчика Уайта, а взрослый Уайт, играя роль просвещенного учителя, не мог и не желал делать больно ребенку, состоявшему на его попечении.

Уайт считает охоту с ловчими птицами самым великолепным таинством. У него нет учителей, но зато есть две книги для штудирования, не считая статьи в Британской энциклопедии, которую он выучил почти наизусть. Перед ним «Соколиная охота» Блейна, изданная годом ранее, и «Охота с гончими собаками и ловчими птицами» Джеральда Ласселла 1892 года. Но книга, которая произвела на него самое сильное впечатление, гораздо старше. Она была опубликована в 1619 году и называлась «Одобренный трактат о ястребах и ястребиной охоте». В ней Эдмунд Берт, джентльмен, рассказал все, что знал о ястребах-тетеревятниках. Пока Уайту не удалось достать собственного экземпляра, поскольку издание относилось к числу редких, но книгу он прочел. Возможно, это был том из

библиотеки Кембриджского университета. Возможно даже, это был тот же самый том, над которым склонялась, будучи студенткой, и я. Как и для Уайта, для меня в этой книге крылся соблазн. Книга потрясающая. Берт, джентльмен семнадцатого века, очень похож на моих более грубых знакомых сокольничих из Йоркшира, которые переняли кое-что из характера тетеревятника. Умелый, брюзгливый, с живым умом, он не упускает случая покрасоваться, рассказывая читателю, как идеально воспитаны его ястребы: вытянув шею, они подбираются на цыпочках, чтобы склевать кусочки костного мозга с кончиков его пальцев, и неизменно счастливы сопровождать его, куда бы он ни отправился. Будучи вдали от дома, хвастается Берт, он всегда сажал птицу на «бархатную скамеечку в столовой или гостиной в том месте, куда был приглашен, ибо должен был постоянно иметь перед глазами своего ястреба». «Пожалуй, по этой причине хозяйка дома могла бы испытывать недовольство, – бесстрастно заявляет он. – Однако я столь хорошо знал благорасположение моего ястреба, что обещал, если от него произойдет какая-нибудь нечистота, вылизать все собственным языком».

Эдмунд Берт так же довлел над Уайтом, пока тот тренировал своего ястреба, как Уайт довлел надо мной. Но это влияние было различным. «Я испытывал своего рода «страсть девочки-школьницы» к этому серьезному старику, который жил триста лет назад», – признавался Уайт в частной беседе. Ему хотелось произвести на Берта впечатление. Он был влюблен в него. Потеряв голову от средневековых грез, влюбленный в сокольника, уже три века как почившего в бозе, Уайт решил отказаться в целом от наставлений Блейна и дрессировать ястреба по старинке.

«Прежние мастера придумали способ дрессировки ястребов без явной жестокости, однако как сам дрессировщик, так и птица должны были терпеть [sic] жестокость скрытую. Птице не давали спать. Ее не будили толчками и не использовали для побудки никаких механических средств, а вместо этого носили на кулаке, не смыкая глаз. За ястребом «наблюдал», его заставлял бодрствовать человек, который сам не спал на протяжении двух, трех, а иногда и девяти ночей кряду».

Уайт сознательно истолковал методу Берта неверно. У аустрингера семнадцатого века всегда имелось нужное количество друзей или слуг, которые могли сменить его, когда он шел спать. Но Уайту хотелось пройти обряд посвящения, предполагавший, как у средневековых рыцарей, ночное бдение. И он должен был осуществить задуманное в одиночку. Человек против человека. Наблюдение за ястребом будет для Уайта лишением, испытанием, проверкой его Слова. Он не будет жестоким. Но он одним

махом победит и ястреба, и себя. «Человек против птицы, – писал он, – и пусть Бог будет им судьей: уже три тысячи лет один старается пересидеть другого». Во время этого бдения – за шесть дней Уайт спал всего шесть часов – крайняя усталость взяла свое. Снова и снова, в полубезумном состоянии из-за недосыпания, сидя на кухне или стоя в освещенном лампой сарае, он сажал жирного и испуганного ястреба к себе на кулак и начинал декламировать отрывки из «Гамлета», «Макбета», «Ричарда II», «Отелло» – «но в голосе не должна была звучать трагедия» – и все сонеты, какие мог вспомнить. Он насвистывал ястребу гимны, разыгрывал сцены из комических опер Гилберта и Салливана, а также из итальянских опер. Поразмыслив, Уайт решил, что ястребам больше нравится Шекспир.

Учась в университете, я выбрала тему трагедии для работы, которая была частью исследований, дававших право на получение степени по английскому языку и литературе. В этом заключалась некоторая ирония, потому что я сама выглядела абсолютно трагично. Ходила в черном, курила «Кэмел» без фильтра, слонялась по университету с густо накрашенными глазами и была не в состоянии написать ни единого эссе – ни о греческой трагедии, ни о яковинской, ни о шекспировской – ни вообще сделать что-то путное. «Я бы хотела составить о мисс Макдональд крайне нелицеприятную характеристику, – сухо заметила одна из моих преподавательниц, – но поскольку я никогда ее не видела и даже не представляю, как она выглядит, то не могу этого сделать». Но я все же читала. И читала много. Выяснилось, что существует множество определений того явления, что зовется трагедией, которые пробили себе дорожку в историю литературы, и самое простое было следующее: это история персонажа, которого в силу определенных обстоятельств из-за морального изъяна или личной несостоятельности ожидает гибель.

Именно работа над исследованием о трагедии привела меня к Фрейдю, потому что тогда он был еще в моде и потому что психоаналитики тоже попытались объяснить трагедию. И, прочитав его, я начала замечать всевозможные психологические переносы в своих книгах об охоте с ловчими птицами. Я увидела, как сокольники девятнадцатого века переносили на своих ястребов все мужские качества, существованию которых, как им казалось, угрожает современность: дикость, властолюбие, мужество, независимость и силу. В процессе дрессировки, отождествляя себя с ястребами, они могли путем *интпроекции* вновь обрести эти качества. В то же время они могли проявлять свою власть, «цивилизуя» дикое и примитивное создание. Маскулинность и способность покорять – два

имперских мифа по цене одного. Викторианский сокольник обрел властолюбие и силу ястреба. Ястреб – человеческое поведение.

Для Уайта охота с ястребом тоже предполагала странные проекции, иного характера. Молодой немецкий ястреб-тетеревятник Уайта был живым выражением всех скрытых в нем самых темных и постыдных желаний, которые он пытался подавить многие годы. Ястреб был шальной, волшебный, дикий, жестокий и беспощадный. Уайт так долго старался быть джентльменом, старался приспособиться, следовать всем правилам цивилизованного общества, быть нормальным, быть как все. Но годы учительства в Стоу, психоанализ и страх перед войной привели его к срыву. Он отказался от человечества в пользу ястребов, но полностью уйти от действительности не смог. Уайт снова вступил в борьбу с целью цивилизовать извращенность и неуправляемость внутри самого себя. Только теперь он вложил эти качества в птицу и пытался цивилизовать их в ней. Оказавшись, таким образом, вовлеченным в странное, замкнутое сражение с птицей, которая обладала всем тем, к чему его так тянуло и с чем он постоянно боролся. Ужасный парадокс. Подлинная трагедия. Неудивительно, что жизнь с ястребом чуть не свела Уайта с ума.

Уайт потерян. Сарай – тюрьма. От усталости его качает, словно он пьян или плывет по волнам. Прохладный летний ветер дует сквозь щели в стенах. Снаружи охотятся белые совы: тонкие, словно свернутые в дудочку. Крики птиц слышны под низкой оранжевой луной. Он думает, что похож на палача и надо бы надеть маску. Черную, чтобы спрятать лицо. Он мерит время попытками ястреба сорваться и улететь прочь – сотни раз он поднимал кричащего пленника и сажал на руку в перчатке. Сарай – Бастилия. Ястреб – пленник. Сокольник – человек в бриджах для верховой езды и клетчатом пиджаке. Стоит в интерьере в духе Рембрандта. На кирпичном полу вязанка хвороста и пустые кувшины, на стенах паутина. Сломанная решетка. Пиво «Флауэрс». Круг света от масляной лампы. И ястреб. Ястреб, ястреб, ястреб. Птица сидит на кулаке, и на ее бледной грудке все крапинки цвета сепии, похожие на наконечники стрел, растрепаны и помяты его руками. Человек качается взад-вперед, точно матрос на корабле, как будто земля под ним колышется, подобно морю. Он старается не заснуть. Старается не дать уснуть и ястребу. Ястреб пытается закрыть глаза и задремать, но из-за качки не может. Я свободен, говорит себе человек. *Свободен*. Смотрит на паутину позади измученного ястреба. Я скрыт от мира, радостно думает он. Главное, не смотреть ястребу в глаза. Я не должен наказывать его, хотя он бьется и вырывается, и на моей руке

свежие следы от его клюва, а лицо горит от ударов крыльев. Ястреба нельзя наказывать. Они скорее умрут, чем подчинятся. Мое единственное оружие терпение. Терпение. «Терпеть» происходит от «цепенеть», что предполагает *страдание*. Это тяжкое испытание. Но я выйду из него победителем. Уайт покачивается и страдает, страдает и ястреб. Совы уже молчат. Они расселись вдоль дорог-райдингов над покрытым росой торфом.

Глава 9

Обряд посвящения



Перья на груди у птицы цвета пожелтевшей газеты или листка бумаги, забрызганного чаем. И у каждого пера – темный, похожий на лист острый кончик, так что от шеи до ног она покрыта узором крапинок, точно дождевыми каплями. Ее крылья – цвета мореного дуба, кроющие перья по краям – очень светлой тиковой древесины, а под ними спокойно сложены полосатые маховые перья. Во всем ее облике ощущается необычный сероватый тон, хотя ничего серого не заметно. Это скорее какой-то серебристый свет, напоминающий цвет дождливого неба, отраженного в реке. Кажется, птица только что явилась в наш мир, и мир еще не знает, как к ней подступиться. Слово все явное и сущее скатывается, как капли воды, с ее покрытых жиром, тесно прилегающих друг к другу перьев. И чем больше я сижу с ней, тем больше меня поражает ее удивительное сходство с рептилией. Прозрачность бледных круглых глаз. Желтая восковая кожа вокруг черного, как бакелит, клюва. Манера поворачивать небольшую голову, чтобы сосредоточить взгляд на удаленных предметах. Большую часть времени она кажется такой же чуждой этому месту, как змея, как предмет, собранный из металла, чешуек и стекла. Но потом я замечаю в ней что-то невыразимо птичье, какие-то качества, которые делают ее родной и близкой. Неуклюжей когтистой лапой она чешет пушистый подбородок и чихает, когда пушинки попадают ей в ноздри. Взглянув на нее снова, я понимаю, что она никакая не птица и не рептилия, а просто существо, сформировавшееся за миллионы лет эволюции и предназначенное для жизни, прожить которую ему еще не довелось. Эти длинные полосатые хвостовые перья и короткие широкие крылья идеально подходят для резких поворотов и мощного набора скорости в лесном мире, где полно всевозможных препятствий. Узор на оперении должен великолепно скрыть ястреба среди мелькания света и тени. Маленькие, похожие на волосы,

перышки между клювом и глазом нужны, чтобы попавшая на них кровь быстрее засохла и осыпалась. А нахмуренные брови, придающие всему облику птицы напряженность голодного хищника, – это костные выступы, которые призваны защитить глаза, когда птица бросается за жертвой в подлесок.

Все в ястребе нацелено на одно – охотиться и убивать. Вчера выяснилось, что когда я сквозь зубы втягиваю воздух и начинаю пищать, как раненый кролик, все птичьи жилы моментально натягиваются и когти вцепляются в перчатку с жуткой, убийственной силой. Эта хватка убийцы заложена глубоко в птичьем мозгу – реакция организма, которая еще не нашла побудительного толчка, чтобы проявиться в полной мере. Но ее провоцируют и другие звуки: скрип дверных петель, визг тормозов, велосипеды с несмазанными колесами, а на второй день – Джоан Сазерленд, исполняющая по радио арию из оперы. «Ого!» – рассмеялась я вслух. Толчок – опера. Реакция – убить. Но позже эти не к месту проявляющиеся инстинкты перестают быть смешными. После шести часов из коляски за окном послышался негромкий детский плач. И тут же ястреб вонзил когти в мою перчатку, постепенно все сильнее и больнее сжимая мой кулак жесткими спазмами. *Убить. Ребенок плачет. Убить. Убить. Убить.*

Прошло два дня. Я сижу и прохаживаюсь, сижу и сплю, а птица почти все время у меня на кулаке. Рука болит, и сердце охватывают уныние и усталость. По радио рассказывают о фермерских хозяйствах. Пшеница, бурачник, рапсовое семя. Пленочные теплицы и вишня. Ястреб видится мне попеременно то горбатой жабой^[17], то нервным ребенком, то драконом. Дом похож на помойку. У мусорного ведра валяются кусочки сырого мяса. Кофе кончился. Говорить я почти разучилась. Губы бормочут невнятные слова утешения, я пытаюсь убедить птицу, что все хорошо. Она отвечает молчанием или идущим через нос нервным писком. Во время носки ее глаза следят за моими ногами, как будто это не ноги, а два маленьких зверька, вместе с нами передвигающиеся по дому. Ей интересны мухи, летящие по воздуху пылинки, свет, падающий на поверхность предметов. На что она смотрит? О чем думает? Слышится шорох мигательных перепонки, которые закрывают глаза, когда птица моргает, и теперь, когда я вижу эти глаза вблизи, они начинают меня беспокоить. Они похожи на кружки светлой бумаги, прикрепленные по обе стороны головы, и у каждого посередине есть черная дырочка – зрачок, прикрытый прозрачным куполом, словно пузырьком воды. Птица оказалась более странной, чем я

думала. И более спокойной, чем, по моим представлениям, вообще может быть птица.

Я нервничаю. Все ли с ней в порядке? Она на удивление смирная. Где то сумасшествие, которое я ожидала? Я сидела с птицей два дня, и не раз вопреки Уайту мне хотелось разорвать ее на части и забить до смерти. Я ждала бушующего торнадо ужаса и дикости, великой и страшной битвы двух душ, а вместо этого с наступлением сумерек, когда запоздалые стрижи, быстро-быстро порхая, поднимаются ввысь и исчезают в небе, я сижу на диване и наблюдаю, как усталая птица погружается в сон. Кончики перьев опускаются и ложатся на мою перчатку. Сначала одно веко, серое, в пушинках, скользит вверх и закрывает глаз, потом другое. Плечи опускаются, голова начинает покачиваться. Кончик блестящего черного клюва тонет в перьях зоба. Глядя на дремлющую птицу в этот вечерний час, я чувствую, как мои глаза тоже закрываются, но когда приходит сон, вижу, что стою посреди остова сгоревшего дома в белом пустом воздухе, чуть сверкающем слюдяным инеем. Вокруг почерневшие балки и стропила. Протягиваю руку. Дотрагиваюсь до обугленного дерева. Оно холодное, покрытое мхом, не такое, как должно быть. У меня внутри поднимается паника. Отказываюсь это принимать. Полное отчаяние. Затем дом рушится, обваливается и накрывает меня. Мы пробуждаемся вместе, я и ястреб. Птица – вздрогнув от испуга, напряженно сжав когти и топорща перья, а я с тошнотворным чувством потери ориентации, которое заставляет меня отчаянно вцепиться взглядом в ястреба, чтобы снова вернуться в мир, где уже нет того пепелища. И вновь меня одолевают все те же мысли. Почему она так много спит? Ястребы спят, если болеют. Наверное, птица больна. Почему сплю я? Тоже заболела? Что с ней происходит? Что происходит со мной?

С ястребом не происходило ничего плохого. Птица не заболела. Она была еще детенышем. И засыпала просто потому, что дети много спят. Я тоже не была больна. Но я осиротела, очень легко поддавалась самовнушению и не понимала, что со мной такое. Многие годы я смеялась над идеей Уайта смотреть на дрессировку ястреба как на обряд посвящения. «Какая напыщенность, – думала я. – И глупость». Потому что все было не так. Я знала, что не так. Я тренировала десятки ястребов и хорошо представляла каждый этап тренировки. Однако этапы-то были понятны, а вот человек, их проходящий, – нет. Я была совершенно разбита. Какая-то часть меня, спрятанная очень глубоко, пыталась восстановиться, и ее символ сидел сейчас на моем кулаке. Птица обладала всем, чего мне

недоставало: одинокая, владеющая собой, свободная от печали, бесчувственная к трагедиям человеческой жизни.

Я превращалась в ястреба.

Конечно, я не уменьшилась в размерах и не отрастила перья, как Варт из книги «Меч в камне», которого Мерлин превратил в мелкого сокола – дербника, когда обучал волшебству. В детстве я обожала эту сцену. Перечитывала ее раз сто, потрясенная тем, как пальцы на ногах Варта превращаются в когти и начинают царапать пол, как из кончиков рук вдруг вырастают первостепенные маховые перья – мягкие и голубые. Но все равно я становилась ястребом.

Перемены произошли из-за моего горя, в результате наблюдения за птицей, потому что я перестала быть собой. Первые несколько дней с новым, неприрученным ястребом представляют собой осторожный, задумчивый поведенческий танец. Чтобы решить, когда почесать нос и при этом не травмировать ястреба, когда ходить и когда сидеть, когда отдалиться и когда приблизиться, нужно уметь читать его мысли. Это достигается путем наблюдения за птичьей позой и состоянием перьев. Перья оказываются очень четким барометром ее настроения. Более простые эмоции птицы распознать легко. Если перья прижаты к телу, это значит: «Мне страшно». Если они лежат свободно, значит: «Мне хорошо». Но чем больше наблюдаешь за ястребом, тем больше замечаешь нюансов. И вскоре, сама пребывая в состоянии повышенной настороженности, я уже могла реагировать на мельчайшие изменения в птичьей повадке. Стягивание перышек вокруг клюва и почти незаметное прищуривание означали что-то вроде: «Я счастлива». Особое отсутствующее выражение, на редкость отстраненное и замкнутое, означало: «Хочу спать».

Чтобы тренировать ястреба, вы должны наблюдать за ним с точки зрения ястреба – только тогда начнете понимать его настроение. И научитесь предсказывать, что следует от него ждать. Это шестое чувство опытного дрессировщика животных. И в конце концов вам уже необязательно видеть язык птичьего тела. Вы начинаете сами чувствовать то, что чувствует птица. Замечать, что замечает она. Восприятие ястреба становится вашим собственным. Вы овладеваете тем, что поэт Китс называл качеством хамелеона, способностью «допустить потерю себя и потерю своей рациональности, вверив способность воссоздания себя в иной характер или в иную среду». Такой совершаемый в воображении творческий акт всегда давался мне легко. Слишком легко. Ведь это часть процесса наблюдения, когда забываешь, кто ты есть, и ставишь себя на место того, за кем наблюдаешь. Вот почему девочка, которая в детстве была

мною, так любила следить за птицами. Она приказывала себе исчезнуть, а затем, вместе с объектами своего наблюдения, взмывала в небо. То же самое происходило и сейчас. Я перенесла свое сознание в сознание дикой птицы с целью ее приручить, и за дни, что мы провели в затемненной комнате, то, что было во мне человеческого, потихоньку начало исчезать.

Три осторожных стука во входную дверь. «Минутку, – кричу я, а тихий голосок внутри, раздосадованный и злобный, шипит: – *Убирайтесь*». Пришла Кристина с двумя стаканчиками кофе навынос и воскресными газетами. «Ну, – говорит она, усаживаясь в кресло у камина, – рассказывай, как дела. Ястреб в порядке?» Я киваю. Поднимаю брови. Смутно осознаю, что для поддержания беседы этого недостаточно. «М-м-м», – добавляю я. Голос какой-то не мой. Кристина обхватывает колени и с любопытством на меня смотрит. «Надо сделать еще одну попытку», – думаю я и начинаю рассказывать про ястреба. Потом замолкаю – больше не могу говорить. Смотрю на свой бумажный стаканчик.

Мне приятно видеть Кристину. *Ей здесь нечего делать*. Кофе вкусный. *Мы должны быть одни*. Эти досадные мысли меня удивляют. Дрессировка ястреба включает показ нового. А Кристина как раз и есть это новое. «Хочу кое-что попробовать, – говорю я. – Не обращай на птицу внимания. Просто читай газеты». Приношу из кухни кусочек свежей говядины, сажусь с ястребом на диван и снимаю клубочок. На мгновение, не понимая, что случилось, птица впадает в панику, и все в комнате замирает. Перья стали упругими, она не знает, на что решиться, и с диким видом водит вокруг глазами, похожими на фарфоровые блюдца. Сердце у меня падает. Сейчас она рванет с моей руки. Но мгновение длится, и ничего не происходит. После долгого и внимательного разглядывания она решает, что человек, перелистывающий газету, – это довольно интересное зрелище.

Через час атмосфера уже спокойная и дружелюбная. Мы смотрим телевизор. Птица равномерно балансирует на подушечках пальцев, замороженная мелькающим экраном. Маленькие белые пушинки, еле держащиеся на кончиках ее плечевых перьев, колышутся от сквозняка. Вдруг ни с того ни с сего она, будто подхваченная ураганом, бросается с моего кулака и начинает биться. Шелестят газетные страницы, Кристина, вздрогнув, отшатывается. «Черт, – думаю я, – надо надеть на нее клубочок, пусть отдохнет. Это уже слишком». Но я не права. Птица рванулась не от страха, а от отчаяния. С яростью, направленной по ложному следу, она клюет опутенки и рвет мясо у себя под ногами. Она голодна. И пища вдруг оказывается удивительным открытием. Ястреб – тонкий и смелый гурман.

Начинает клевать, пробовать и проглатывать, пищит от радости, клюет и глотает снова. Я потрясена. Но и возмущена. Этот момент должен был наступить без присутствия посторонних, в созерцательном спокойствии и полумраке. Вовсе не так, как это произошло. Не среди бела дня, при чужом человеке и криках «Алло, алло!» из телевизора. Не во время трансляции комедии про нацистов с песнями про гигантские колбасы и оккупацию Франции. Птица прищуривает глаза от удовольствия, вокруг клюва топорщатся перышки, и большие перья цвета охры и сливок расслабленно опускаются.

– Она так раньше делала? – спрашивает Кристина.

– Нет, – отвечаю, – это в первый раз.

Из телевизора слышен зрительский смех, когда на экране появляется переодетый женщиной офицер СС. Ястреб заканчивает есть, нахохливается, превратившись в большой комок из пуха и перьев, и через мгновение, встряхнувшись, опускает перья на место. Встряхивание. Это признак удовольствия. Такого еще не было.

Теперь моя питомица достаточно приручена, чтобы сидеть без клубочка. Со своей присады у окна она смотрит, как колышутся занавески над покрытым пылью ковром. Правда, пока она все еще хлопает крыльями, если я пытаюсь взять ее на руку. Над этим придется поработать. С дивана я кидаю ей небольшой кусочек мяса, и он падает с липким звуком «шмяк» на искусственную кожу под присадой. Птица смотрит на него. Хмурится. Наклоняет голову набок, чтобы лучше разглядеть. Потом, царапнув когтями и шурша крыльями, спрыгивает, аккуратно берет мясо с пола и проглатывает. Съедено. Некоторое время она стоит, словно пытается что-то вспомнить, затем оживленно вспархивает обратно на присаду. Видны ее мохнатые штанишки и распушившийся хвост. Я жду немного, а потом снова бросаю ей кусочек сырой плоти. *Шмяк. Прыг. Ам. Прыг.* Опускаюсь на пол и сижу. Медленно ерзая, смещаюсь в сторону и краем глаза наблюдаю за птицей. Она настораживается. Я останавливаюсь. Она расслабляется. Я двигаюсь. Она настораживается. Я вновь останавливаюсь. Потихоньку передвигаюсь по ковру, пока не добираюсь до незримой линии, после которой любое движение заставит ее броситься от меня. Дыша как можно тише, словно собираясь стрелять в какую-то исключительно далекую цель, я медленно – очень медленно – протягиваю ей кулак, на котором лежит пища. Я почти физически ощущаю ее нерешительность – она прямо-таки витает в воздухе. Но вот – какое счастье! – птица смотрит на предложенную ей пищу. Она наклоняется вперед, как будто хочет

склевать еду с перчатки, но тут что-то словно щелкает у нее внутри. С жутким звоном металлическое кольцо ударяется об основание присады, и птица шарахается от меня, хлопая крыльями. Проклятие. Я беру ее на перчатку и даю пару кусочков.

Потом, усадив обратно на присаду, начинаю ту же игру. *Шлеп. Прыг. Шлеп.* Она разгадала, откуда берется еда, и какая-то часть ее сознания готова пересмотреть мою роль в этом мире. Она напряженно следит за тем, как я снова подползаю к ней и протягиваю перчатку с лакомством. Наклонившись, птица хватает мое подношение. И от радости мое сердце бьется сильнее. Она берет еще один кусочек, потом еще и, чавкая, ест своим блестящим черным ртом.

Пока я сижу и с удовольствием кормлю птицу кусочками мяса, мне приходит в голову, как надо ее назвать. *Мэйбл.* Это имя происходит от латинского «*amabilis*», что значит «любимая» или «дорогая». Старинное, немного глуповатое имя, совсем не модное. В нем есть что-то бабушкино: кружевные салфеточки и чаепития. У сокольников есть поверье, что способности ястреба обратно пропорциональны свирепости его клички. Назовите ястреба Мальшом – и он станет грозным охотником; назовите его Спитфайром или Киллером – он скорее всего вообще откажется охотиться. Уайт сокращенно назвал своего тетеревятника Тет, но добавил уйму других мрачно-величественных имен, которые многие годы заставляли меня в раздражении закатывать глаза: Гамлет, Макбет, Стриндберг, Ван Гог, Астур, Ваал, Медичи, Родрик Ду, Лорд Джордж Гордон Байрон, Один, Нерон, Смерть, Тарквиний, Эдгар Аллан По. «Подумать только! – удивленно и несколько презрительно думала я. – Надо же назвать ястреба-тетеревятника пусть даже одним таким именем! Но теперь этот список я вспоминала просто с грустью. Моей птице нужна была кличка, такая же далекая от этого жутко долгого перечня, как и от идеи смерти. «Мэйбл». Я произношу это слово вслух и смотрю, как она на него реагирует. Мои губы выговаривают имя: «Мэйбл». И в этот момент я вдруг осознаю, что у всех тех людей за окном, что идут в магазин, гуляют, едут на велосипеде, возвращаются домой, едят и любят, спят и видят сны – у всех них есть имена. И у меня тоже. «Хелен», – произношу я. Как странно оно звучит. Ужасно странно. Я кладу очередной кусочек мяса на перчатку, и ястреб, наклонившись, его съедает.

Глава 10

Тьма



В пустую рюмку он наливает себе еще виски и размышляет о событиях прошедшего дня. Он свободен, но сам довел себя до состояния сумасшествия. Безумец. Как минимум, человек, страдающий приступами умопомешательства. Направив вниз свет керосиновой лампы, он опускается в кресло и с мрачным видом перечитывает свой бюллетень, посвященный результатам дрессировки ястреба-тетеревятника.

«6.15 – 6.45. Ходил с ястребом + ходил вокруг ястреба, протянув ему кроличью ногу, а он рвался и хлопал крыльями, как только я подходил слишком близко. Отошел, не покормив. Этого нет в книге. С тех пор проделывал то же самое с тем же результатом по пятнадцать минут в каждый час (до шести часов ночи)».

Он ненавидел эту кроличью ногу. Ненавидел ее мех, когти, ободок бледной плоти, который за прошедшие часы засох и стал мягким, как воск. Он ненавидел ногу, потому что ястребу она была не нужна. И сам он тоже был ему не нужен. Целый день он свистел ястребу, от чего совсем пересохли губы, и его заботливость начала сходить на нет, оборачиваясь досадой, а потом и отчаянием. Вчера ночью его досада достигла такого накала, что после рывка прочь от него он не дал Тету вновь усесться на кулак. А что еще хуже, он испытывал радость, пока птица так и висела вниз головой, медленно вращаясь на опутенках. Ужасный грех. Ему очень стыдно. И он волнуется. У Тета помет зеленого цвета. Значит ли это, что птица заболела? Может, поэтому ястреб не захотел есть кролика. Что теперь делать? *Голодание*, решает он. Оно вылечит испорченный желудок, если дело в нем. Наверное, стоит дать ему завтра немного яйца. Но самое главное вот что: *ястреб будет есть, только когда сам прыгнет к пище, не раньше.*

План Уайта сработал бы, если бы он его придерживался. Но он не

придерживался. К рассвету Тет уже получил большую часть кроличьей тушки, хотя так и не запрыгнул на кулак своего дрессировщика. Очередное принятое решение было нарушено. По правде сказать, нарушены были все решения. Даже намерение Уайта не давать ястребу спать трое суток: Уайту стало так жаль птицу, что он периодически возвращал его на присаду и давал немного поспать. Освободившись от присутствия Уайта, Тет вспомнил, как хороша была жизнь до того, как его привязали к человеку, который все время гладит его, говорит с ним, пристаёт со скользкими кроличьими потрохами, поет, свистит, поднимает и опускает стакан с какой-то жидкостью. И когда Уайт подходил к ястребу, чтобы взять его на кулак, тот оставался все таким же диким.

Бедняга Тет! Бедный, взъерошенный, испуганный Тет со сломанными перьями! Сидя со своей питомицей, я часто его вспоминала. Мне Тет представлялся в черно-белом цвете и на большом расстоянии, словно я смотрела на него через другой конец телескопа: маленький несчастный ястреб бьется и пищит от отчаяния на серых лужайках далекого дома. Тет был для меня совершенно реальным. А Уайт нет. Трудно было представить этого человека с его собственным ястребом. Особенно, когда я сидела рядом со своим. Я стала рассматривать его фотографии в книге, но там были словно совсем разные люди: на одной это был светлоглазый мужчина с шекспировской бородкой, писавший под псевдонимом Джеймс Астон; на другой стоял тощий молодой человек с загнанным взглядом – школьный учитель мистер Уайт. Еще были фотографии, где Уайт представал в образе деревенского парня – твидовая куртка, рубашка с расстегнутым воротом, на лице – развязная ухмылка. И снимки более поздние: тучный седобородый английский Хемингуэй, Фальстаф в шерстяном свитере.

Мне никак не удастся соотнести все эти образы с одним и тем же реальным человеком.

Сидя с Мэйбл, я вновь перечитываю «Ястреба-тетеревятника», перечитываю много раз, и каждый раз книга предстает передо мной по-новому – иногда как саркастически-смешной роман, иногда как дневник человека, смеющегося над своим поражением, иногда как душераздирающая повесть о человеческом отчаянии.

Но, пока я приручала ястреба, в одном своем качестве Уайт стал мне понятен. Однако это был вовсе не сокольник Уайт. Это был человек, который впервые в жизни познал радость домашнего уюта. Человек, который покрасил свой потолок в ярчайшие цвета: синий и красный, который для красоты ставил на каминную полку вазочки с перьями и готовил карри из креветок и яиц, куда еще добавлял несколько ложек

повидла. Я представляла себе, как он кипятит белье в медном тазу на кухонной плите или сидит в кресле за книгой Джона Мейсфилда «Люди полуночи», а сеттер Брауни спит у его ног.

Еще я представляла, как он пьет. Бутылка всегда где-то поблизости, а противостояние с Тетом только способствует желанию выпить. «Пьешь ведь не для того, чтобы поглупеть и потерять способность действовать, – писал он. – Тогда алкоголь виделся мне единственным средством, которое помогает выжить». Сидя с ястребом, я размышляла об Уайте, и мне пришло в голову, что, возможно, именно из-за его пристрастия к алкоголю так расплываются очертания этого человека и сам он почти исчезает из поля моего зрения. Мысль, конечно, фантастическая, но все равно мне казалось, что существует некая глубинная связь между пьянством Уайта и его ускользающим образом. И у меня не было сомнений, что алкоголь как раз и привел Уайта к саботированию собственных намерений, потому что алкоголикам свойственно строить планы и давать обещания себе и другим – убежденно, искренне, в надежде на спасение. Обещания эти снова и снова не выполняются из-за страха, нервозности и прочих обстоятельств, которые скрывают глубоко укоренившееся желание уничтожить собственное «я».

На следующее утро я раздвинула занавески. В ярком свете меня стало лучше видно, и птица насторожилась. Но когда солнце широкой полосой легло ей на спину, она радостно приподняла перья. Теперь, стоя в мелком тазике рядом с присадой, она общипывает свои пальцы и мелкими глоточками пьет воду. Запрыгнув назад на присаду, начинает чистить перышки, и линии ее тела изгибаются, создавая стилизованный образ утонченных ястребов-тетеревятников с японских картин. Она быстро перебирает клювом одно перышко за другим, и раздается такой звук, словно перелистывают бумагу или тасуют колоду карт. Затем, раскрыв позади себя широкое крыло, она медленно отводит его дальше, к освещенному солнцем хвосту и встряхивает перьями, издавая сквозь ноздри счастливый писк. Я с жадной радостью наблюдаю – как будто выпиваю залпом бокал шампанского. «Ты только посмотри, как она счастлива!» – говорю я себе. Наша комната – не тюрьма, а я не палач. Я – то доброе существо, которое передвигается, пригнувшись, по комнате, наклоняется, взволнованно встает на колени, держа в руке вкуснейшие кусочки говядины.

Но я лъщу себе. Меньше чем через час у меня уже нет сомнений, что птица меня ненавидит и я самый плохой сокольник на свете. И неважно,

что Мэйбл гораздо спокойнее, чем предсказывали книги и другие сокольники. *Ничего у меня не получилось. Я испортила птицу.* В этом нет сомнения, потому что она не дает надеть клобучок. До сих пор она спокойно его принимала. Сегодня чуть раньше я почувствовала, что ее сердце застучало несколько беспокойнее, чем обычно, а сейчас произошел настоящий взрыв возмущения. Стоит мне поднести клобук к ее голове, как она тут же уворачивается, крутит головой, как змея. Втягивает голову в плечи, наклоняется и отпрыгивает в сторону.

Я понимаю, почему это происходит. Поначалу клобучок помогал ей спрятаться от мира, но теперь, когда она решила, что я не причиню ей вреда, он мешает смотреть, а она хочет видеть все. И вот, обиженная и расстроенная, птица поднимает одну ногу, потом вторую и смотрит по сторонам, думая, куда бы улететь. Ее настроение передается и мне. Сердце у меня в груди стучит тяжело и неровно. Я потеряла способность исчезать. Пытаюсь отстраниться от происходящего, прислушиваясь к репортажу о крикете, который передают по радио, но не могу понять, что говорит комментатор. Единственное, что получается, – это переключить свое внимание с несчастного ястреба на клобук у меня в руке. Да и птица тоже думает только о нем.

Помню, как я достала этот клобучок из сумки, когда искала ручку перед семинаром в университете несколько месяцев назад.

– Что это? – спросила коллега.

– Клобучок для ястреба, – ответила я, не поднимая глаз.

– Вы принесли его, чтобы показать?

– Нет. Он просто лежал у меня в сумке.

– Но мне можно посмотреть?

– Конечно. Посмотрите.

Она взяла клобук, как замороженная.

– Какая удивительная вещь, – сказала она, сведя брови под прямой челкой. – Его надевают ястребу на голову, чтобы он вел себя тихо, да?

Она посмотрела внутрь. Вырезанная по форме птичьей головы кожа была прошита тонкой, с волосок толщиной, ниткой. Вывернув клобук наизнанку, коллега стала рассматривать вырезанное под углом отверстие для ястребиного клюва, оплетенный турецкий узел, за который клобук держат, и две длинные стяжки сзади, с помощью которых его развязывают и завязывают. Потом благоговейно положила его на стол.

– Какое красивое изделие, – сказала она. – Как туфелька «Прада».

С этим не поспоришь. Клобук действительно был одним из лучших. Его сделал американский сокольник Дуг Пинео, и он почти ничего не

весит. Несколько граммов. Всего-то. Эта его удивительная легкость на фоне тяжести в моем сердце заставила меня пошатнуться. Закрываю глаза и вижу множество клобуков: современные американские клобуки, такие, как этот; более свободные бахрейнские клобуки из мягкой козьей кожи для перелетных балобанов и сапсанов; сирийские клобуки, туркменские, афганские, изящные индийские клобуки из змеиной кожи для туркестанского тювика и ястреба-перепелятника; огромные клобуки для орла из Средней Азии; французские клобуки шестнадцатого века, вырезанные из белой лайки и расшитые золотой нитью, с нарисованным гербом. Их придумали не европейцы. Франкские рыцари научились пользоваться клобуками у арабских сокольников во время крестовых походов, а обоюдное увлечение охотой с ловчими птицами сделало ястребов в тех войнах политическими пешками. Когда белый кречет испанского короля Филиппа I сорвался с должика во время осады Акры и улетел за крепостные стены, король направил своего посла в город с просьбой вернуть птицу. Саладин отказался, и тогда Филипп отправил второго посла в сопровождении трубачей, знаменосцев и герольдов с предложением тысячи золотых. Был ли кречет возвращен? Не помню. Имеет ли это значение? «Не имеет, – думаю я злобно. – Они уже все умерли. Давно умерли». Представляю себе Саладина, который сажает королевского сокола на собственную руку и закрывает ему глаза кожаным клобуком. *Он принадлежит мне. Он мой.* Думаю о клобуках как о фетишах. О давних сражениях. Думаю об иракской тюрьме Абу-Грейб. Рот, полный песка. Насилие. История и ястребы. Птичьи клобуки, так похожие на капюшоны на головах пленников. Идея лишить кого-то возможности видеть, чтобы успокоить. *Это в твоих же интересах.* Поднимающаяся тошнота. Чувствую, что теряю почву, мокрый песок уходит из-под ног. Не хочу вспоминать фотографии пыток, когда пленным надевали на голову капюшон, а руки обматывали проволокой, не хочу думать об их невидимом враге, который в этот момент держит фотоаппарат, но они возникают в моем воображении, и слово «капюшон» обжигает мне рот. «Бурка» – это «капюшон» по-арабски. Капюшон. Клобук.

Начинаю разговаривать с Мэйбл – по крайней мере думаю, что с ней, – голосом как можно более тихим и успокаивающим. «Когда поедем на машине, Мэйбл, – объясняю я, – появится много вещей, которые могут тебя испугать, а мы не можем допустить, чтобы ты начала метаться по салону, пока я сижу за рулем. Клобучок нужен, чтобы тебе было спокойнее. – И добавляю: – Это необходимо». Слышу свой голос. *Это необходимо.* Фактически я убеждаю саму себя. Но мне это не нравится. Не нравится и

птице. Вновь терпеливо протягиваю клубочок. «Ну, посмотри, – осторожно продолжаю я, – это всего лишь клубочок». Тихонько подношу его к перышкам подбородка. Птица начинает биться. Жду, пока она успокоится, и снова подношу к подбородку. *Бьется. Опять подношу. Бьется. Бьется. Бьется.* Стараюсь быть ласковой, но моя ласковость прикрывает неистовое отчаяние. Не хочу надевать на нее клубочок. И она это чувствует. По радио комментатор ликующе объясняет в подробностях, почему удар отбивающего игрока не удался. «Заткнись!» – рявкаю я на него и делаю еще одну попытку. «Ну, давай, Мэйбл», – умоляю я, и через минуту клубочок уже надет, птица вновь на присаде, а я тяжело опускаюсь на диван. Мир вокруг в огне, и я больше не желаю его знать. *Это катастрофа. Ничего у меня не получается. Совсем ничего. Я никудышный сокольник.* Слезы текут ручьями. Ястреб растворяется в этом потоке. Я сворачиваюсь калачиком, утыкаюсь в подушку лицом и так, вся в слезах, засыпаю.

Спустя сорок минут Стюарт оценивающе рассматривает Мэйбл, прищурив выдавшие виды глаза.

– Маленькая, да? – говорит он, задумчиво проводя четырьмя пальцами по небритой щеке. – Но симпатичная. Длинное тело. Длинный хвост. Птичий ястреб.

Под этим он подразумевает, что моя птица больше подходит для охоты на фазанов и куропаток, чем на кроликов и зайцев.

– Да.

– Как ты с ней справляешься? – спрашивает Мэнди.

Она сидит у меня на диване, крутя в руке сигарету, и выглядит потрясающе, как сельская панк-принцесса из невообразимого романа Томаса Гарди. Я отвечаю, что птица на удивление спокойная и все идет хорошо. Но это ужасная ложь. Когда, разбудив меня, они постучали в дверь, я решила, что надо во что бы то ни стало изобразить полное владение ситуацией. И первое время мне это удавалось, хотя в какой-то малоприятный момент Мэнди посмотрела на меня с сочувствием, и я поняла, что она заметила мои покрасневшие воспаленные глаза. «Ничего, – сказала я себе, – она решит, что я плакала из-за папы». Я беру ястреба и стою, как будто пришла с подарком на день рождения, но не понимаю, кому его вручить. «Лежать, Джесс», – приказывает Стюарт. И черно-белый английский пойнтер, с которым они пришли, со вздохом шлепается на ковер. Я снимаю с Мэйбл клубок. Она встает на цыпочки, и кончик клюва прижимается к усеянной крапинками серебристой грудке. Мэйбл смотрит на новое существо – собаку. Собака – на нее. Мы тоже. Наступает

непонятная тишина. Я ошибочно принимаю ее за птичье раздражение. Потом за разочарование. За что угодно, кроме того, что есть на самом деле: изумление. Стюарт с удивлением наблюдает.

– Ну, – наконец говорит он, – у тебя не птица, а золото. Я думал, она сейчас совсем обезумеет, а она просто молодец.

– Правда?

– Она такая спокойная, Хелен! – подтверждает Мэнди.

Мне требуется время, чтобы хотя бы частично поверить их словам, но потом, мне удается без особых проблем надеть на Мэйбл клобучок, и после двух чашек чая и часа, проведенного в компании друзей, мир вновь расцветает яркими красками.

– Не тяни резину, – говорит Стюарт перед уходом. – Выноси ее из дома. Идите на улицу. Потренируй ее там.

Я знаю, что он прав. Пришла пора следующего этапа обучения.

Хождение с ястребом в целях приручения сокольника называют «выноской», и во всех моих справочниках утверждается, что выноска – ключ к дрессировке ястреба-тетеревятника. «Ключ к верному обращению с ястребом – это выноска, выноска и выноска», – писал Гилберт Блейн. Выноска была «великим секретом дисциплины» для Эдварда Мичелла. Еще в семнадцатом веке Эдвард Берт объяснил, что когда вы гуляете с ястребом, «глаза птицы следят за сменой предметов», поэтому выноска нужна, и по этой же причине вам не приручить ястреба, сидящего взаперти. Такой ястреб «ни с чем не сможет справиться, ибо его ни с чем не познакомили». «О, Эдмунд Берт, – думаю я, – хорошо бы сейчас был семнадцатый век. Тогда гораздо меньше вещей могли бы напугать моего ястреба».

Но я знаю, что неправда. Тогда тоже были и экипажи, и лошади, и толпы, и собаки. Они точно так же пугали не совсем прирученного ястреба, как автобусы, мопеды и студенты на велосипедах. Разница в том, что в 1615 году никто не обратил бы на меня никакого внимания. Ястребы на улицах Кембриджа были таким же заурядным явлением, как собаки на поводке сегодня. Сейчас гулять с ястребом по Кембриджу значит явным образом приглашать всех встречных подойти ближе, уставиться на нас с любопытством и начать расспрашивать меня о птице – как она называется, чем я занимаюсь и почему. За моим нежеланием вступать в разговор кроется обыкновенная боязнь людей. Просто людей. Я совершенно не хочу их видеть. Когда дверь закрылась, я долго на нее смотрела, потирая щеку в том месте, где подушка оставила глубокую, похожую на шрам, складку.

Ближе к вечеру я выношу Мэйбл в огороженный садик моего дома на территории колледжа. Над нами уходящее в бесконечность пространство, по которому плывут кучевые облака. Ветерок приподнимает ветви деревьев, с бумажным шорохом трепещут листья. Воздух наполнен солнцем, пылью и пушинками одуванчиков. Слишком много света, слишком велик контраст, слишком много шума и движения. Я вздрагиваю от этой суеты. А что же Мэйбл? Она совершенно невозмутима. Наклоняет голову набок, чтобы посмотреть на бегущие облака – при дневном свете радужная оболочка ее глаз кажется плоской, блестящей и немного размытой, а зрачки расширяются и сужаются, точно диафрагма фотоаппарата, когда она концентрирует свой взгляд – зип-зип-зип – на пролетающем самолете «Сессна». Потом она переворачивает голову подбородком вверх, чтобы разглядеть летящую муху, а за ней еще одну, рассеянно клюет мясо на моей перчатке и смотрит на другие предметы, находящиеся далеко-далеко за пределами моего несовершенного человеческого зрения.

Мир, в котором она живет, мне не принадлежит. Жизнь для нее течет быстрее, а время медленнее. Ее глаза могут различать взмахи крыльев пчелы, как наши – взмахи крыльев птицы. *Что она сейчас видит?* Я задумываюсь, и, чтобы это вообразить, мой мозг начинает кувыркаться, потому что иначе вообразить ничего невозможно. У меня в глазах есть три вида рецепторов, или «колбочек», которые возбуждаются красным, зеленым или синим цветом. У ястребов, как и у других птиц, их четыре. Моя питомица, в отличие от меня, может видеть цвета, находящиеся в ультрафиолетовом спектре. Еще она может видеть поляризованный свет, наблюдать за восходящим током теплого воздуха, который, перемешиваясь с холодным, превращается в облака, ей дано ощущать магнитные силовые линии, протянувшиеся через всю землю. Свет, падающий на ее глубокие черные зрачки, регистрируется с такой устрашающей точностью, что она в состоянии поразительно ясно различать вещи, которые мне никогда не удастся выделить из общей туманной дымки. Когти на пальцах городских ласточек, кружащих над нашими головами. Прожилки на крыльях белой бабочки, неровно порхающей над горчицей в дальнем углу садика. Я стою и чувствую, как мои бедные человеческие глаза устают от света и мелких подробностей, а птица следит за всем этим с жадной увлеченностью ребенка, закрашивающего картинку в книжке-раскраске, когда он радостно малюет свои каракули, пробует разные цвета и делает таким образом книжные страницы своими. А у меня в голове одна мысль: *хочу обратно домой.*

Глава 11

Выход из дома



Ключи в кармане, птица на кулаке – пошли! Страшно покидать вечером дом. Тугие веревки в моем мозгу развязываются и падают. Словно мы снялись с якоря, а я воздушный корабль, отправляющийся в свой первый полет в темноту. Перешагнув низкую ограду, мы попадаем в парк, и я направляюсь к густой и темной липовой аллее, листья которой снизу освещают фонари. Жарко. Чисто. Вокруг все дышит опасностью. Мои нервы взвинчены до предела, как будто мне сообщили, что по парку рыскают голодные львы. Между деревьями гуляет ночной ветерок. Под фонарями мотыльки, как мелкие пылинки, кружатся в хороводе. Смотрю под ноги и вижу, что каждая бледная травка отбрасывает две тени, потому что неподалеку стоят два фонаря. Я тоже отбрасываю. Издалека доносится рассеянное эхо идущего поезда, а чуть ближе к нам дважды раздается собачий лай. У тропинки валяется разбитый стакан, а рядом с ним, судя по размеру и изгибу, перо из грудки лесного голубя. Оно лежит на траве, однако кажется, что оно немного приподнято над ней и излучает в темноте мягкий свет.

– Черт побери, Мэйбл, – шепчу я, – кто подсыпал дурь мне в чай?

Вечер никогда не казался мне таким, как сегодня. Иду дальше и погружаюсь в этот озаренный фонарным светом мир, удивляясь своему обостренному восприятию. Но меня успокаивает невозмутимость ястреба. Птица не смотрит вокруг. Ей и дела нет до окружающего пейзажа. Она занята кроличьей лапкой в моей перчатке. Дело это трудное – я специально подобрала ей кусок жилистого и костлявого мяса, чтобы она была занята во время выноски и не обращала внимания на то, что творится кругом. Она рвет и клюет куски мяса с таким же увлечением, с каким человек разделяет омара. Глядя на нее, я расслабляюсь. И сразу же пустой мир заполняется людьми.

Но это не просто люди. Это те, кого следует остерегаться, бояться, избегать, от них надо защитить Мэйбл. Они надвигаются на нас, точно огромные рушащиеся камни в компьютерной игре, угрожая уничтожением, ставшим следствием одного лишь взгляда. Мое сердце бьется сильнее. Спрятаться, исчезнуть. Я пришла сюда, чтобы показать ястребу людей, но с безопасного расстояния, а те трое в светлых рубашках явно идут прямо к нам. Я прячусь за ствол дерева и жду, когда они пройдут мимо. Только их спины оказываются в поле зрения Мэйбл, как она втягивает перья так сильно, что кажется, будто у меня на руке сидит птица «в вакуумной упаковке». Трое проходят мимо, она нервно трясет головой, издает через ноздри писк и снова принимается за еду.

Через минуту к нам приближается женщина, размахивающая пакетами из супермаркета. Спрятаться некуда. *Откуда берутся все эти проклятые людишки?* В отчаянии оглядываюсь по сторонам. Мэйбл таращит огромные испуганные глаза, тотчас же став привидением из костей и сухожилий, она вот-вот начнет биться. Я прижимаю ее к груди и медленно поворачиваюсь, чтобы заслонить от нее женщину. Та тоже не видит птицу. Зато она видит какую-то чокнутую в поношенном пиджаке и мешковатых вельветовых брюках, которая по непонятной причине кружится на месте. Женщина быстро проходит мимо. Я нервничаю еще больше. «Все в порядке, – успокаиваю я себя, – все идет прекрасно». Но кровь снова шумит в ушах. По дорожке проезжает велосипедист. Птица начинает биться. Я чертыхаюсь. Еще один велосипедист. Она снова бьется. Я не выдерживаю и поворачиваю к дому. Мы уже почти у самой двери, когда нас обгоняет бегун – бесшумно подкрался в своих дорожных кроссовках, – и ястреб опять бьется. Как я ненавижу этого бегуна за то, что испугал мою птицу! По-настоящему ненавижу, меня возмущает само его существование. Вся ярость, скопившаяся внутри, ярость, о которой я даже не подозревала, ярость, которую в книгах называют «одной из пяти стадий горя», моментально поднимается во мне и выливается наружу раскаленным бешенством. Глядя на его удаляющуюся спину, я желаю ему поскорее отправиться на тот свет.

Но он вдруг замедляет бег, оборачивается и останавливается в трех шагах от нас.

– Извините, – говорю я, улыбаясь и сдерживая свою ненависть. – Ее впервые вынесли на улицу, и она еще боится людей.

– Господи, что вы! Это вы меня извините, – отвечает он. – Я ее не заметил.

«Это же человек», – доходит до меня. Настоящий человек, худой,

бородатый, в синей футболке, в руке держит бутылку с водой. Дружелюбный, внимательный, немного побаивается ястреба. «Наверное, хороший парень», – думаю я.

– Надеюсь, я вас не испугала, – продолжаю я извиняющимся тоном. Улыбнувшись, он трясет головой.

– Я удивился! Такое видишь не каждый день!

На секунду поворачиваюсь к Мэйбл и смотрю, как она, снова наклонившись, начинает рвать кроличью лапку. Открываю рот и собираюсь что-то сказать. Но когда поднимаю глаза, мужчины уже нет.

После сильного ливня небо прояснилось, и толпы людей, спешащих после работы домой, уже успели схлынуть. Во второй выход из дома Мэйбл вцепляется в перчатку сильнее обычного. Она напряжена. И кажется меньше, чем на самом деле. К тому же в таком настроении она как будто становится тяжелее, словно страх добавляет ей веса, словно в ее длинные, легкие кости влили металл. Дождевые капли проложили следы по плотно прижатым перьям на ее груди и по сторонам опущенных вниз уголков рта. Она судорожно клюет пищу, но по большей части смотрит вокруг, напряженно-сдержанная. Следит за велосипедистами. Горбится, готовая взвиться ввысь, если кто-то подходит слишком близко. Дети ее беспокоят. Насчет собак она еще не решила. Речь идет о больших собаках. Маленькие ее интересуют, но по другим причинам.

После десяти минут опасливого исследования окружающего мира Мэйбл заключает, что никто не собирается ее съесть или забить до смерти. Она встряхивается и принимается за еду. Мимо грохочут, испуская выхлопные газы, автобусы и автомобили, и, когда пища съедена, Мэйбл, замерев, глядит на этот странный мир. И я гляжу вместе с ней. Проведя с птицей так много времени наедине, я начинаю все видеть ее глазами. Она следит за женщиной, которая бросает мячик собаке, и я тоже слежу за женщиной, причем мы обе – я и птица – пребываем в недоумении: зачем она это делает? Смотрю на огни светофора и не сразу соображаю, что это такое. Велосипеды превращаются в загадочный крутящийся аппарат из блестящего металла. Автобусы напоминают стены на колесах. В городе человек и птица обращают внимание на совершенно разные вещи. То, что видит она, ей неинтересно. Безразлично. Пока не раздастся шум крыльев. Мы обе поднимаем глаза. Голубь. Лесной голубь опускается на ветку липы у нас над головой. Время замедляется. Напряжение нарастает. Ястреб преобразуется. Как будто все системы для нанесения удара мгновенно пришли в боевую готовность. Прибор наведен на цель. Она поднимается на

пальцы и изгибает шею. «Так. Это траектория полета. Так», – думает птица. *Поразительно.* Какая-то часть ее юного сознания только что сформулировала нечто, и это нечто всецело подчинено идее смерти.

«Ястребу-тетеревятнику, – писал Уайт, – необходима долгая выноска; так делали всегда». Но Уайт носил птицу, словно совершал некий таинственный ритуал, без всякого внимания к чувствам ястреба. Даже будучи не в состоянии оправиться после смерти отца, мое измученное сердце знало, что секрет приручения ястреба состоит в постепенном привыкании. От темноты нужно потихоньку переходить к свету, из закрытой комнаты – на свежий воздух. Сначала хорошо бы постоять в сторонке и лишь потом, на протяжении многих дней, приближаться к этому враждебному миру громких голосов, размахивающих рук, ярких детских колясок и ревущих мопедов. День за днем, шаг за шагом, глоток за глотком Мэйбл начнет понимать, что все эти предметы не представляют угрозы, и научится воспринимать их спокойно.

Но для Тета выноска оказалась медленным убийством. Уайт носил его, потому что так было написано в книгах. И он вынес ястреба в первый же день, когда того только что к нему привезли. Через двое суток Уайт отправился с ним на ферму Уиллеров, чтобы познакомить «со всей семьей, лающими собаками и прочим», а на следующий день они уже вышли на дорогу знакомиться с машинами и велосипедистами. «Он постоянно бьется во время прогулок», – записал Уайт в дневнике. Но выносить птицу не прекратил. Он брал ястреба в паб, на рыбалку ловить карпов, ездил с ним на автомобиле в Банбери. «Он должен научиться терпеть эту суету, – писал Уайт, – как и все мы, как бы мало мы с ней ни сталкивались». И ястреб терпел. Как и любая отчаявшаяся душа, которая в конце концов понимает свою беспомощность перед лицом бесконечного кошмара и терпит его, потому что ничего другого не остается. Так и Тету – ничего другого не оставалось. Его приручали без всякой ласки. Ему приходилось учиться выживать, постоянно испытывая страх, точно так же как и самому Уайту, еще в школе осознавшему, что деваться некуда.

По узким дорожкам и зеленым аллеям, по полям, влажным от скошенной травы, бродил Уайт, исследуя окрестный пейзаж. Целыми днями он был на ногах, новичок-аустрингер с благодарностью прислушивался к ритму своих шагов и переменам погоды. Вечером, идя домой по тропинке вдоль высоких живых изгородей Бакингемшира, он видел «восходящую красную луну», хотя и запомнил, что, «садясь на рассвете, она была желтой». Из-за пустоты вокруг ночной мир становился

волшебным, а «райдинги» – местом, где царили туманы, звезды и одиночество. Уайт упорно шагал все дальше, в поля, и одновременно назад, в прошлое.

Несмотря на столь эксцентричный вид, Уайт с ястребом на руке занимался типичным для своего времени делом. Как ни странно, длительные, часто ночные, прогулки по сельской местности были очень популярны в Англии тридцатых годов. Клубы любителей пеших прогулок публиковали лунные календари, железнодорожные компании пускали за город «таинственные» поезда, а когда в 1932 году Южная железная дорога объявила экскурсию «под луной» вдоль возвышенности Саут-Даунс, предполагая продать около сорока билетов, желающих оказалось полторы тысячи человек. Люди, отправлявшиеся на такие прогулки, не собирались покорять вершины, проверять свои физические возможности или умение пользоваться картой. Они искали мистического единения с землей, путешествовали назад во времени, уходя в воображаемое прошлое, окруженное магическим туземным ореолом: в старую добрую Англию или в доисторический мир. Они наблюдали картины доиндустриального периода, несущие утешение и успокоение их крайне измученному сознанию. Благодаря проселочным и железным дорогам, благодаря растущему рынку популярность этого движения поддерживалась книгами. В сущности, оно возникло в результате травмы, нанесенной обществу Великой войной, и развивалось в страхе перед следующей. Критик Джед Эстри назвал такое пасторальное сумасшествие одним из элементов более широкого движения тех лет за национальное культурное спасение. Оно было ответом на экономическую разруху, исчезающую империю и угрозу тоталитаризма, идущую из-за границы. Люди проводили ритуалы на сохранившихся древних площадках, обращались к народным традициям. Они с энтузиазмом вспоминали Шекспира и Чосера, друидов и легенды о короле Артуре. Им казалось, что нация утратила что-то важное, что можно воскресить, хотя бы в воображении. Уайт, увлекшись древностью, тоже поддался этим консервативным настроениям, ходил с ястребом на руке и писал о привидениях, о сияющем созвездии Ориона на английском небе, обнаженном и великолепном, обо всех воображаемых линиях, которые люди и время провели по британскому ландшафту. Сидя у огня с ястребом на руке, он предавался размышлениям о судьбах народов.

Сегодня низкие облака. Но это не важно. Он не летит на самолете. Он гуляет с ястребом. Чтобы добраться до этого места, они вместе с Тетом пересекли пять полей. И вот стоят у развалин часовни Святого Томаса,

мученика. Когда-то это действительно была часовня, потом просто дом, а теперь руины – покрытый ржавчиной величественный разрушающийся железный каркас. Крыша напоминает обнаженные ребра грудной клетки с кипами застрявшей в них гниющей соломы. Оконные перемычки провисли, дверные проемы забиты дранкой и известняковым щебнем. Повсюду растет крапива, сочная и зеленая. Ветви ясеня с кружевной листвой тянутся вверх, а по обеим сторонам часовни раскинулись поля. Очень тихо. Откуда-то раздается тук-тук малиновки, словно падают капли воды. Для человека это место явно проклято, думает он. Смрад от обнаруженной им в канаве дохлой овцы все еще щекочет ноздри, а жалкие клочья промокшей шерсти, кишасшие червями, все еще стоят перед глазами. Но зловоние его не беспокоит. Оно помогает трезво взглянуть на вещи. Это запах брэнности всего живого. Он смотрит на общипанный кроликами дерн. У него под ногами лежат люди, которые жили, умерли и были здесь похоронены. Они все еще здесь, думает он, и их старые кости были бы рады снова увидеть ястреба-тетеревятника. Он обходит вокруг часовни, представляя, как земля под ним начинает колыхаться и бормотать, почувствовав над собой знакомую птицу. Точно так же ворчат и кости фермерских рабочих, когда по их заброшенным могилам проезжают сельскохозяйственные машины.

«Я думал о том народе, что сейчас лежит здесь, под землей, незнакомые исчезнувшие особи, которых невозможно понять и почти невозможно вообразить: монахи, монахини и вечные вилланы. Я был теперь ближе всех к ним, даже к Чосеру «с серым ястребом-тетеревятником на руке»^[18]. Они бы, глядя на моего ястреба, поняли бы его, как фермер понял бы, что такое элеватор. Мы любили друг друга».

Посещение Уайтом часовни Чапел-Грин было моим любимым описанием в книге «Ястреб-тетеревятник», когда я была еще совсем юной. Это была связь с чем-то утраченным и забытым, и ястреб каким-то образом оказывался в центре картины. Тут я всегда ощущала свое родство с Уайтом, хотя не понимала, почему фермеры должны разбираться в элеваторах. Бессмыслица какая-то. *Может, он хотел написать «тракторы»*, думала я, потому что тогда еще сама не знала, что такое элеватор для тюков. И не подозревала, что Уайт незадолго до своего похода наблюдал, как неподалеку от его дома Уиллеры работали на поле, используя именно такой элеватор. В детстве я могла совершенно отчетливо представить себе часовню, теперь же она возникла в моем воображении еще яснее. Закрыв глаза, я видела, как Уайт сажает ястреба на кулак и как можно крепче зажмуривается, словно пытаюсь мысленно отбросить весь сумбур двадцатого века и воскресить мир прошлых столетий и утраченное

единение с ним. Его бы любили. Его бы понимали.

Взгляд в прошлое, и вновь в поисках любви. На книжной полке в моей комнате стоял телескоп с фокусирующей оптикой для наблюдения точечных целей в зеленом чехле из особо прочного материала «кордюра». Телескоп я на время взяла у отца, чтобы наблюдать за птицами, но так и не вернула. Забыла прихватить его с собой во время нашей последней встречи. «В другой раз», – сказал он, с притворным раздражением покачав головой. Другого раза не было. Я не смогла его вернуть. Не смогла извиниться. Наверное, на следующий день после папиной смерти или через два дня я сидела в поезде с мамой и братом. Мы ехали искать его машину. Страшная поездка. Я так сильно вцепилась в грубую обивку сиденья, что у меня побелели костяшки пальцев. Помню, что увидела буддлею, мусор на полосе отчуждения, зеленый газометр и электростанцию Баттерси, когда поезд замедлил ход. И только когда мы стояли на станции Квинстаун-роуд на незнакомой платформе под белым деревянным навесом, только когда мы двинулись к выходу, я впервые поняла, что больше никогда не увижу папу.

Никогда. Я остановилась как вкопанная. И закричала. Позвала его. *Папа!* И тогда одно лишь слово «нет» ответило мне долгим прерывающимся воем. Брат и мама обняли меня, а я их. Грубый факт. Я больше никогда не поговорю с ним. Никогда его не увижу. Прижавшись друг к другу, мы плакали о нем, о том, кого любили, о тихом человеке в костюме, с фотоаппаратом через плечо, отправлявшемся каждый день искать что-то новое, запечатлевшем движение звезд, бури, улицы, политических деятелей и остановившем время на своих фотографиях нашего изменчивого мира. О моем отце, который отправился снимать поврежденные бурей здания Баттерси, в ту ночь, когда мир не пощадил его самого и его сердце не выдержало.

Сделанные снимки все еще оставались в фотоаппарате, который передали маме в больнице. Последний я видела лишь один раз. Больше не хотела. Но он все время стоит у меня перед глазами. Размытый, сделанный с низкого, слишком низкого ракурса. Пустая лондонская улица, освещенная натриевыми лампами. Сумерки. Стена, накренившаяся вбок и уходящая куда-то, а вдали желтоватое грозное небо.

Глава 12

Не такие, как все

«Давай же, Мэйбл!» Стоя на коленях на ковре, я протягиваю ей мертвого петушка, которому всего один день. Морозильник забит этими пушистыми тушками печального вида – сопутствующими продуктами промышленного производства яиц. Мэйбл их обожает. И с жадностью смотрит на лакомство в моей перчатке. Но я нарочно держу его так, что ей не достать. Свищу. «У тебя получится, – говорю я, – запрыгивай!» Но она изо всех сил старается избежать этого прыжка. Что выглядит комично. Она подается вперед. Потом еще. Тянет шею как можно дальше и с надеждой раскрывает клюв. Пицца совсем рядом. Но ее не достать. Птица теряет равновесие и, царапая когтями, вновь усаживается прямо. Решает сменить тактику. Пытаясь ухватить мясо, Мэйбл, словно атакующая кобра, выбрасывает вперед крупную ногу. Потрясающий выпад – оказывается, ее ноги едва ли не такой же длины, как она сама. Мелькает покрытая перьями голень, темно-желтая, как у льва, и когти почти хватают перчатку. Но только почти.

Теперь она разозлилась. Вышагивает по присаде туда-сюда, цепляя когтями поверхность. Ее черные усы превращаются в складки, недовольно спускающиеся вниз вдоль челюсти, и я чувствую, что у нее начинают топорщиться перья. Прикидывая расстояние, птица по-змеиному двигает головой. Что-то в ней меняется. И я с дрожью ощущаю эту перемену. Комната как будто становится темнее, пока не сужается до черной точки. Но тут происходит нечто неожиданное. Что-то бьет меня по руке с такой силой, что удар отдается в позвоночнике и в кончиках пальцев ног. Примерно такой же эффект возникает, когда тебя ударяют по руке бейсбольной битой. Птица сидит на перчатке, покрыв ее большими полосатыми крыльями и, вцепившись когтями, раздирает цыпленка. Рваные куски быстро исчезают у нее во рту. Я счастлива. Она преодолела огромный психологический барьер, гораздо более серьезный, чем расстояние в четверть метра между присадой и перчаткой, на которую она опустилась. И не просто опустилась – она набросилась, чтобы убить. Как безжалостна эта вызывающее онемение и постепенно усиливающаяся хватка. Мэйбл она дается без всякого труда. Наоборот, ей трудно оторваться.

Выбираю подходящий момент и, когда птица задирает голову, чтобы

проглотить кусок цыпленка, хватаю с ладони остатки пищи и прячу их. Мэйбл смотрит себе под ноги, оглядывается назад, потом переводит взгляд на пол. *Куда он делся?* Я заставляю ее перейти обратно на присаду. Снова протягиваю цыпленка и отвожу руку. И тут же чувствую ужасный удар. Удар убийцы, но в его силе есть что-то такое, что напоминает мне, что сама я все-таки живая.

Да, я была жива, но измучена. Мне казалось, что меня смастерили из шерсти. Серой шерсти крупной вязки на больном острове из костей. Выноска птицы сопровождалась стрессами, требовала бесконечной бдительности и вконец меня измотала. По мере того, как ястреб становился все более ручным, я, наоборот, дичала. Страх оказался заразительным: непрошенный, он возникал всякий раз, когда к нам приближались люди. Я уже толком не понимала, бьется ли птица от испуга перед тем, что увидела, или это ей передался мой ужас. Во время наших прогулок произошло и кое-что еще. Мы стали невидимыми. Прохожие не останавливались, не смотрели на нас и даже не бросали в нашу сторону косые взгляды, как будто мы были призраками. Или они. Я вспоминала тех ястребов-тетеревятников, которых видела ребенком, глядевшим на зимний пейзаж из мира, в котором живу сейчас. И ночью дома я стояла у окна и смотрела на уличный свет, прижавшись лбом к раме и чувствуя слабое постукивание летнего дождя сквозь стекло и лобную кость.

Все нас видели. Конечно, видели. Женщина, гуляющая по парку с большим кровожадным ястребом на кулаке и озирающая все вокруг таким злобным взглядом, едва ли может остаться неприметной. Все нас видели. Просто делали вид, что не замечают. Но некоторым хватало смелости не отводить глаза. К примеру, на следующее утро, стоя под мелким дождичком и рассматривая движущуюся по парку флотилию зонтиков, я замечаю человека, который остановился у ограды метрах в пятидесяти от нас. Его руки спокойно лежат на деревянных перилах, и у него такое бесстрастное выражение лица, как будто он смотрит не на нас, а на пасущихся лошадей. Я подхожу и здороваюсь. Он говорит, что родом из Казахстана, завязывается разговор о моем ястребе, о казахских сокольниках *беркутчи*, которые тысячи лет охотятся верхом с беркутами. Он говорит, что никогда не видел беркутов, потому что живет в городе. В Алматы. Спрашивает, есть ли у моего ястреба клубук. Я даю ему посмотреть. Он вертит клубук в руках, одобрительно кивает, оценив работу, потом возвращает его мне. Только после этого мы, как положено, представляемся друг другу. Мужчину зовут Канат. Он интересуется, собираюсь ли я охотиться с ястребом. «В

сельской местности, в нескольких километрах отсюда», – отвечаю я. Кивнув, он внимательно вглядывается в Мэйбл, но очень долго ничего не говорит. Потом раздвигает пальцы на деревянных перилах и, не отрываясь, смотрит на свои руки и манжеты коричневой кожаной куртки. «Я скучаю по родине», – наконец произносит он.

Вскоре после его ухода перед нами тормозит велосипедист и вежливо просит разрешения посмотреть на птицу. Он до абсурдности красив. Прическа, как у Антонио Бандераса, дорогая спортивная куртка и титановый велосипед в бусинках дождя. Парень с восторгом любуется моей Мэйбл. «Она красивая», – говорит он. Пытается подобрать другое слово, но так и не находит. Приходится остановиться на «красивой». Повторяет его опять. Затем снова и снова благодарит меня за птицу. «Так близко! – объясняет он. – Я никогда не видел ястреба так близко». В Мексике он видел только диких ястребов, да и то издалека. «Мне нравится на них смотреть, потому что они...» И он делает жест рукой, как будто поднимая что-то в воздух. «Свободные», – подсказываю я. Он кивает. Киваю и я. И с удивлением задумываюсь над тем, что у некоторых людей ястреб на руке незнакомки вызывает желание поговорить о сокровенном, сделать признание, позволяет вспомнить родной дом, высказать свои чувства и надежды. Еще я понимаю, что за все дни, что я гуляла с Мэйбл, к нам подходили и заговаривали со мной лишь те, кто выпадает из жизненной рутины, – дети, подростки-готы, бездомные, студенты-иностранцы, путешественники, пьяницы, люди, приехавшие в отпуск. «Мы с тобой теперь не такие, как все, Мэйбл», – говорю я, и эта мысль не кажется мне неприятной. Однако мне стыдно, что мои соотечественники люди замкнутые, что они все спешат куда-то, что идут мимо, не оглядываясь, что не высказываются, не спрашивают, не интересуются ничем странным, особенным, далеким от обыденности.

У меня ликующее, праздничное настроение. Сегодня Мэйбл пролетела больше метра со спинки стула в гостиной и села мне на кулак. «Великолепно! – говорю я ей. – Теперь пора погулять. Давай я тебя познакомлю с детьми моей подруги. Ты им понравишься». Через несколько минут я уже стучу в дверь, и мне открывает муж подруги. Мэйбл вздрагивает. Я тоже. Когда-то этот человек повел себя со мной крайне грубо. Но что поделаешь! Не будем обращать внимания. Может, тогда у него было плохое настроение. Простить и забыть. Но подруги нет дома. Стоя в дверях, я рассказываю о ястребе ее мужу. О том, какого птица возраста, пола, вида, как ее зовут. Говорю о своих опасениях, что ее

дрессировка станет изматывающим противостоянием, о котором я прочитала в книге «Ястреб-тетеревятник».

– Но меня ждал потрясающий сюрприз, – продолжаю я. – Не было никакого противостояния. В чем, конечно, не моя заслуга. Она на редкость спокойная птица.

Склонив голову набок, мужчина улыбается.

– Ну, – говорит он, – видно, все дело в гендере.

– В гендере?

– Да. Вы женщина, она тоже женского пола. Конечно, вы должны поладить.

Похоже, он совсем не шутит. Смотрю на его согнутую руку на дверной раме и чувствую, как кровь ударяет мне в лицо. *Он издевается.* Впервые за несколько недель ястреб улетучивается из моих мыслей, и какая-то часть моего сознания выдает одну четкую и непроизносимую фразу: «Ну и засранец!»

Значит, он считает, что, раз я дрессирую самку ястреба, между нами есть какая-то чисто женская связь? *Какого черта!* Мы, слава Богу, особи разных видов.

– Не думаю, что это влияет на поведение моей птицы, – говорю я, улыбаясь. Сдержанно улыбаясь. Это не улыбка, а сплошная видимость. Маска, прикрывающая желание убить. С колотящимся от ярости сердцем ухожу домой. И уже у себя, пересадив Мэйбл на присаду, собираюсь с мыслями. Гнев прошел, и теперь меня охватывает изумление. Сняв с полка все сокольничьи книги, складываю их стопкой на пол и сажусь по-турецки рядом с птицей. «Итак, Мэйбл, – обращаюсь я к ней, – ястребы-тетеревятники – птицы для мальчиков, правильно? Посмотрим, что сказали о тебе эти мальчики. Беру «Соколиную охоту для вас» Хамфри ап Эванса и читаю: «Она урчит и щебечет, обращаясь к хозяину, трется об него головой. Но она гордая, дикая и прекрасная: ужасно бывает наблюдать за ее гневом. Иногда бывает угрюмой и мрачной».

Гм.

Потом открываю Гилберта Блейна и читаю о ее «специфическом и несколько угрюмом характере». «Она может так настроить себя, что станет вредничать непрестанно, – объясняет он, – доведя вас до такого состояния, что захочется свернуть ей шею». А это у Фрэнка Иллингворта в книге «Соколы и соколиная охота»: «Не существует более упрямой птицы, чем ястреб-тетеревятник! Кажется, ее единственная цель в жизни – это довести хозяина до белого каления». «Все это очень сомнительно, Мэйбл», – говорю я. Перехожу к сокольникам-викторианцам. Чарлзу Хокинсу Фишеру

«не нравится ни эта птица, ни ее ближайшие родственники», а согласно Фримену и Салвину, «тысячу раз обидно, что обучение птицы столь далеко от дружественного; оно по-настоящему угнетает».

Угрюмость. Боже мой, Мэйбл, знаешь, кто ты? Ты женщина. Женщина с женскими гормонами. Какая ужасная истина содержится в этой фразе! Вот, оказывается, почему сокольникам никогда не приходило в голову, что причиной того, почему птица улетает от них на дерево, устраивает нервные припадки, впадает в ярость, набрасывается на собак или вообще решает бросить хозяина, может быть их собственное поведение. Они не виноваты. Как и все женщины, самки ястреба-тетеревятника непредсказуемы. Угрюмые, взбалмошные и истеричные. У них патологическая смена настроений. И умом их не понять.

Но, читая книги, все дальше уходящие в прошлое, я обнаруживаю, что в семнадцатом веке ястребы-тетеревятники вовсе не казались такими уж отвратительными. Они были «дружелюбны и покладисты», хотя по природе «крайне осторожны и пугливы», как в 1615 году писал Саймон Лейтем. Правда «бывают исключения», в случае «грубого и строгого отношения к ним человека», но, если с птицей обращаться ласково и внимательно, «она тоже любит и уважает своего хозяина, как и прочие ястребы». И здесь о тетеревятниках говорится в женском роде. Их следовало завоевывать, обхаживать и любить. Они не воспринимались как истеричные чудовища. Это были живые, противоречивые, самодовольные существа, «величавые и смелые», но в то же время «осторожные и пугливые». Если же птицы вели себя так, что раздражали сокольников, то это происходило лишь потому, что те дурно с ними обращались и не демонстрировали по отношению к ним «неизменно ласкового и учтивого поведения». Роль сокольника, писал Эдмунд Берт, сводится к обеспечению всех нужд ястреба таким образом, чтобы птица испытывала «радость жизни». «Я ее друг, – писал он о своей ястребухе, – а она моя подружка в играх».

Возможно, человек более циничный решил бы, что все эти сокольники времен Елизаветы и Якова всего лишь хвастаются своими успехами в искусстве дрессировки. Так ловеласы старой школы болтают в баре о своих дежурных победах на любовном фронте. Но мне цинизм не свойствен. Они меня убедили – те давно ушедшие из жизни мужчины, которые любили своих птиц. Примирившись с инаковостью ястребов, они старались угодить им и подружиться. У меня не было иллюзий по поводу того, что в Англии раннего нового времени женщинам жилось лучше, чем тогда, и я решила, что именно боязнь женской эмансипации превратила самок ястребов-

тетеревятников в столь жуткие существа в глазах более поздних сокольников. Но, в любом случае, я знала, какие отношения для меня предпочтительнее.

Смотрю на Мэйбл. Она смотрит на меня. Тысячи лет таких же точно ястребов отлавливали, забирали в неволю, приносили в человеческие жилища. Но в отличие от других животных, живших рядом с человеком, ястребы так и не стали домашними. А потому во многих культурах они превратились в мощный символ дикого мира, и одновременно того, что надо подчинить и укротить.

С шумом захопываю «Трактат о ястребах и ястребиной охоте» Берта, и при этом звуке моя питомица делает странное, завораживающее движение. Она наклоняет голову набок, потом переворачивает ее и продолжает смотреть на меня, устремив кончик клюва в потолок. Потрясающе. Раньше мне уже случалось наблюдать такой поворот головы. Так делают маленькие соколята, когда играют. Но ястребы-тетеревятники? Неужели тоже? Вытаскиваю лист бумаги, отрываю с одной стороны длинную полоску, делаю из нее шарик и протягиваю на пальцах Мэйбл. Она хватает его клювом. Шарик шуршит. Ей нравится этот звук. Она снова сжимает его, потом отпускает и, когда шарик падает на пол, поворачивает голову подбородком кверху. Я его поднимаю и вновь протягиваю. Схватив его, она несколько раз тихонько покусывает бумагу: *ням-ням-ням*. Мэйбл похожа на куклу, которую надевают на пальцы, – этакий крокодил из представления про Панча и Джуди. Глаза сощурились, и кажется, что птица смеется. Я тоже смеюсь. Свернув журнал в трубку, я смотрю через нее на Мэйбл, как в телескоп. Она наклоняет голову, чтобы посмотреть на меня в отверстие с другой стороны. Потом как можно дальше сует в трубу клюв и пытается схватить воздух. Приложив бумажный телескоп ко рту, я говорю громким низким голосом: «Привет, Мэйбл!» Клюв быстро вытаскивается. На лбу начинают топорщиться перышки. Хвост уже ходит туда-сюда, и птица дрожит от радости.

У меня появляется смутное ощущение стыда. Я имела вполне законченное представление о том, какими должны быть ястребы-тетеревятники. В этом я не отличалась от викторианских сокольников. Но, чтобы охватить реальную картину, этого представления оказалось явно недостаточно. Никто никогда не говорил мне, что ястребы умеют играть. В книгах об этом не писали. И мне даже в голову не приходило, что такое бывает. Я задумалась: может, это потому, что никто никогда не пытался с ними поиграть? И от этой догадки мне стало ужасно грустно.

В письме к Уайту Гилберт Блейн объяснял, что не любит тетеревятников, потому что их «безумный и подозрительный характер отвратил его от них, как и большинство других сокольников». «Возможно, по этой причине, – писал Уайт несколькими годами позже, – я и полюбил Тета. Я всегда любил необучаемых, неприкасаемых неудачников». Тет был существом необычным, противоречащим цивилизованной английской натуре, и с его помощью Уайт мог брать на себя роли, раскрывающие различные стороны собственного естества: великодушного родителя, невинного ребенка, доброго учителя, терпеливого ученика. Но также и роли более необычные: благодаря ястребу он мог стать матерью, «человеком, который на протяжении двух месяцев создавал эту птицу, почти как мать, питающая младенца в своей утробе, ибо подсознательное птицы и человека оказалось поистине связанным пуповиной сознания и соединено с человеком, который творил из того, что было частью его жизни». А в тетрадах Уайта, исписанных зелеными чернилами, появляются записи, сделанные поздней ночью нетрезвым, размашистым почерком, которые никогда не были использованы в книге по причине своей чрезмерной откровенности.

«Больше всего он не любит, когда его гладишь по голове, а больше всего любит, когда потягиваешь, поглаживаешь, прихорашиваешь и перебираешь его хвостовые перья. Надо сказать, что Тет проявляет большой интерес к своей задней половине. Он копрофил, чтобы не сказать гомосексуалист. Может выкладывать свой помет на протяжении трех метров и всегда с гордостью оборачивается, чтобы посмотреть, как получилось. Однако я, человек, который умеет мочиться без перерыва несколько минут (а Тет считает это действием сходным), возбуждаю его интерес и зависть».

Можно по-разному читать «Ястреба-тетеревятника», в том числе и как произведение, где присутствуют подавляемые гомосексуальные желания – правда, направленные не на плоть, а на кровь, на поиски родственной души. Это ощущаешь, читая книгу одиночки, который понимал, что он отличается от других, и нуждался в обществе кого-то близкого. Соколиная охота не относилась к занятиям, популярным у гомосексуалистов, хотя некоторые из сокольников, корреспондентов Уайта – Джек Маврогордато и Рональд Стивенс – ими были. Не исключено, что и Блейн тоже: он так и не женился. Но сокольники образовывали тесный круг или, по словам лорда Твидс്മьюира, «монашескую элиту», «небольшую сплоченную секту». Они знали, что такое любовь, недоступная остальным. Нормальной такая любовь не считалась, и с этим ничего нельзя было поделать. Гилберт Блейн

объяснял, что «[существует] глубоко укоренившееся в душе некоторых индивидуумов качество, которое пробуждает естественную любовь к ястребам». «Истинными сокольниками, – писал Блейн, – рождаются, а не становятся». А спустя годы Уайт напишет, что соколиная охота дала ему радостное ощущение родства с людьми того же склада, которое не выразишь словами:

«И только после того, как я стал сам держать ястребов, я встретил другого опытного сокольника, посмотрел его птиц и побеседовал с ним. Тогда-то я впервые почувствовал, как мое сердце переполнилось восхищением при виде едва оперившихся соколов, и выяснилось, что ни ему, ни мне не нужно подбирать слова для вопросов и ответов».

Это было откровение: теперь Уайт понял, что в предыстории его увлечения уже существовали подобные ему люди. «Я подумал, что будет правильно, если я с удовольствием продолжу этот длинный ряд, – писал он, размышляя над фотографией с изображением ассирийского сокольника трехтысячелетней давности. Закрыв глаза, он мысленно переместился в глубь веков, чтобы пожать «костлявую руку предка, все костяшки которой были так же отчетливо вырезаны скульптором, как и соблазнительная голень на барельефе».

Для людей, воспитанных в частных школах на историях о рыцарях и рыцарстве, чувство перемещения во времени, которое вызывает соколиная охота, может сделаться всепоглощающим. После того, как в конце двадцатых годов прошлого века мастер сельских описаний Дж. Вентворт Дей отправился на охоту вместе с членами Британского клуба сокольников, он признался, что, ощущая болотистую почву под ногами, «дующий в лицо ветер и ястреба на кулаке, вы понимаете, что на какое-то короткое время стали наследником минувших веков. Страничка истории перевернулась на тысячу лет назад».

Обученные ястребы имеют удивительную способность воскрешать прошлое, потому что в определенном смысле они бессмертны. Если отдельные птицы, представители видов, умирают, то сами виды остаются неизменными. Не существует выведенных пород этих птиц, потому что ястребов невозможно одомашнить. Птицы, с которыми мы охотимся сегодня, ничем не отличаются от тех, что жили пять тысяч лет назад. Возникают и исчезают цивилизации, а ястребы остаются. Потому ловчие птицы и похожи на реликты из далекого прошлого. Берешь ястреба на руку и представляешь, как сокольник древних эпох делал то же самое. Трудно избавиться от мысли, что и ястреб на руке – тот же.

Однажды я спросила своих друзей, приходилось ли им когда-нибудь держать в руках предметы, от которых исходило бы призрачное ощущение истории. «Древние горшки, которым три тысячи лет, с оставшимися в глине отпечатками большого пальца гончара», – сказал один. «Старинные ключи, – сказал другой. – Глиняные трубки. Бальные туфли времен Второй мировой войны. Найденные в поле римские монеты. Старые автобусные билеты, забытые между страницами зачитанных книг». Все мои знакомые согласились, что влияние на них этих мелких предметов было на редкость личным. Вертя и рассматривая их со всех сторон, они словно ощущали связь с другим человеком, незнакомцем, жившим в давние времена, который тоже держал в руках ту или иную вещь. «Ты ничего не знаешь об этих людях, но чувствуешь их присутствие, – сказала мне одна знакомая. – Как будто исчезли все разделяющие вас годы. И ты сама становишься тем человеком».

Когда держишь на руке ястреба, история перестает существовать точно так же, как и в случае с моими друзьями, вертевшими в руках мелкие, но ценные предметы. Огромные различия между тобой и давно умершим человеком забыты. И приходится лишь признать, что он смотрел на мир теми же самыми глазами, что и ты. Отсюда следуют тревожные выводы. Ты оказываешься лишь в одном шаге от того, чтобы, полностью отождествляя себя с древним сокольником, решить, что ты ступаешь по той же земле, по которой с незапамятных времен ходили схожие с тобой люди. А предки, которые возникают в воображении современных сокольников, как правило, стоят значительно выше обычной людской толпы. «Соколиная охота, несомненно, дело благородное, – писал сокольник Гейдж Эрл Фримен в 1859 году. – Вы только взгляните на ее славную – честную, благородную и славную – вековую историю!» Когда один знакомец Фримена возразил ему, заявив, что его любовь к соколиной охоте «абсолютно лишена чувств, относящихся к античности или Средневековью, ибо последние его нисколько не интересуют», реакция Фримена была предельно ясной: «Полагаю, он ошибался». Однако ястребы не всегда предполагают близость к лордам, графам и королям. В часовне Чапел-Грин ястреб дал возможность Уайту почувствовать себя жителем английской деревни эпохи, предшествующей Реформации. И в том времени Уайт оказался словно у себя дома.

В детстве я любила романтический ореол сокольничьего дела. Я лелеяла его, как ребята лелеют надежду стать похожими на героев детских книг, – овладеть тайной магией, стать частью скрытого, неизведанного мира, который делает их отличными от других. Но это было давно. Теперь

все изменилось. Я воспитывала ястреба вовсе не потому, что хотела чувствовать себя особенной. У меня не возникало желания благодаря ястребу убедить себя, что я по праву шагаю по земле своих давно усопших предков. Мне было не до истории и не до времени. Я воспитывала ястреба, чтобы и то, и другое исчезло.

Сегодня вечером я выношу Мэйбл еще дальше в поле. В восемь часов мы доезжаем до земель общего пользования Мидсаммер-Коммон и идем мимо красного комолого скота, пасущегося по колено в чертополохе. Остановившись у велосипедной дорожки, тянущейся вдоль южного берега реки, мы усаживаемся на деревянную скамейку под ольхой. Мои промокшие и замерзшие ноги исколоты колючками чертополоха. Я втягиваю пальцы в сандалии и смотрю, как мимо катит волны река. На этом берегу всюду туристические лодки и велосипеды, а на противоположном – бетонные стапели и принадлежащие колледжу лодочные сараи. Напротив нас на таком стапеле какой-то человек в тренировочном костюме чистит дно поставленного вертикально спортивного катера. Мимо проходят гуляющие, мчатся велосипедисты, и кажется, что только он и я – нормальные люди. Велосипедисты и любители шопинга не замечают ни меня, ни ястреба, не замечают и человека с катером. А я сижу и смотрю, как в его руках попеременно мелькают тряпки, бутылки, желтое ведро. Мы оба сосредоточились на чем-то важном, у обоих есть дело. Ему надо вычистить и натереть воском каркас катера, а мне – дрессировать ястреба. Остальное не имеет значения. Он вытирает, смазывает, полирует и, когда результат его удовлетворяет, взваливает лодку на плечи и уносит ее назад в сарай. Потом, собрав на стапеле вещи, уходит. Этот человек не интересуется Мэйбл. Ее внимание привлекло что-то куда более интересное: в двадцати шагах от нас в серой воде плещутся четыре дикие утки. Вскоре они плываю́т маленькой стайкой, а мы отправляемся домой.

Уже смеркается, становится все темнее, и начинает накрапывать дождь. С дождем и сумерками приходит и запах осени. Приятная дрожь пробегает по телу. Но я даже не подозреваю, какой меня ждет сюрприз. Дело в том, что мы вот-вот станем свидетелями удивительного явления, вечернего ритуала, о существовании которого я до сегодняшнего дня даже не подозревала. Оздоровительный бег трусцой! Подобно летучим мышам, покидающим место ночевки, бегуны вырастают перед нами, все множась и множась. Сначала один-два, потом еще один, потом трое вместе. К тому моменту, когда мы с Мэйбл уже на полпути домой, создается впечатление, что мы попали в документальный фильм о национальном парке Серенгети.

Они везде. Их целые стаи. Однако они бегут по тропинкам, и это хорошо, потому что я могу отступить вместе с ястребом в треугольник некошенной травы и звездчатки в том месте, где тропинка раздваивается. Мы стоим в темноте и смотрим, как к нам приближаются бегуны, как разделяются на две цепочки и следуют дальше, обтекая нас с обеих сторон. Конечно, им нас не видно. Мы не двигаемся. «Может, бегуны, как динозавры из «Парка Юрского периода», не в состоянии видеть то, что стоит неподвижно», – говорю я Мэйбл.

Дождь усиливается, и плоская голова моей птицы уже покрыта бусинками, словно драгоценными камешками, сияющими в свете натриевых ламп. Она держит равновесие, упираясь в мою руку подушечками пальцев, – так она делает всегда, когда спокойна. В темноте ее зрачки расширились и стали похожи на кошачьи. «Черт побери, – думаю я, – она запрыгивала на мой кулак дома. Интересно, может, запрыгнет и сейчас?» Рядом с нами деревянная загородка, защищающая саженец липы. Я сталкиваю Мэйбл на верхушку шеста, и она вот так просто, натянув должик на всю длину, – блям! – прыгает обратно на мой кулак, где ее ждет пища. Несмотря на встречный ветер, на капающий в глаза дождь, на топающих позади бегунов, она трижды запрыгивает на кулак, а потом встряхивается, разбрасывая вокруг дождевые капли сияюще-оранжевого цвета. Великолепно.

Глава 13

Алиса, падая



Свет ровно лежит на траве, коровы после дойки снова пасутся на полях, и далекое небо, уходящее в сторону Бакингемшира, начинает темнеть, покрываясь рваными свинцово-серыми облаками. Тет посажен на ограждение колодца в двадцати шагах от Уайта, и дрессировщик очень доволен собой. Он познал простой и великий секрет соколиной охоты: теперь он знает, что ястреб полетит к нему, если голоден, и будет плохо себя вести, если сыт. Из длинной просмоленной бечевки Уайт смастерил шнур для тренировочных полетов, скрутив его вдвое, чтобы держал крепче, и привязал к вертлюгу Тета. Итак, ястреб сидит поодаль от Уайта, а тот для подзыва птицы решил выбрать мелодию псалма:

Господь – Пастырь мой;
Я ни в чем не буду нуждаться:
Он...

Уайт трет глаза: они уже начали болеть. Целых десять минут он насвистывает этот старый шотландский напев двадцать второго псалма Давида, но, когда во рту пересохло и одолевают комары, не так-то просто выводить нужные ноты.

Господь – Пастырь мой;
Я ни в чем не буду нуждаться...

Но Уайт нуждается. И даже очень нуждается.
В который уже раз он машет рукой в перчатке. Согнутая часть

кроличьей лапки болтается на суставе. *Давай же, Тет! Подлетай!* И снова в вечернем воздухе плывут печальные ноты псалма. *Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих.* Смотрит ли на него ястреб? Конечно, смотрит. Но почему не подлетает? Ничего, скоро подлетит.

Он покоит меня на злчных пажитях. Уайт уже час стоит на одном месте, иногда впадая в отчаяние и упокоиваясь на злчных пажитях среди коров, затем вновь поднимаясь с пажитей в надежде, что ястреб все-таки подлетит. Но ястреб не летит. Уайт делает шесть шагов к колодцу и, протянув руку птице, снова свистит. Тет смотрит. Он не понимает, что от него хотят. Человек просто не умеет его дрессировать. Тянутся томительные минуты. Больше Уайт ждать не в силах. Взявшись за шнур, дергает. Потом тянет, силой стаскивая Тета с ограды. Ястреб валится на землю и, посидев несколько секунд, вновь взлетает на прежнее место. Уайт его стаскивает. Потом еще и еще. После четвертого раза измученный ястреб бредет к Уайту через кусты чертополоха. И Уайт начинает отступать. Ястреб, ничего не понимая, следует за ним. Уайт отходит еще быстрее, помахивая кроличьей лапкой. Тет пускается бегом. «Подпрыгивая большими и мелкими скачками, жуткая жаба, распушив перья, торопилась следом за мной, – писал Уайт. – А последние два шага из двадцати четырех она пролетела и села на мой кулак». Позднее в тот же вечер он наградил ястреба куском крольчатины. В общем и целом, день удался, решил Уайт. Теперь он начал понимать, как довести ястреба до нужной кондиции.

Кондиция, о которой писал Уайт, «явно была результатом точнейшей оценки, которую мог сделать только знающий своего ястреба аустрингер, чье подсознание находилось в ежеминутном контакте с подсознанием птицы». Это откровение досталось Уайту с большим трудом. И он был прав. Глядя на Мэйбл, я понимаю, что она набрала полетный вес: это так же очевидно для меня, как смена ее настроения. Беспокойство, нервозность, частые срывы с присады, когда ей надоедало там сидеть, – все это прошло, стоило ей набрать 950 граммов. Теперь им на смену пришло ледяное спокойствие, способность проявлять исключительное внимание, как будто все внутри у нее сосредоточилось на одной цели.

Вы не прочтете слов «полетный вес» в старинных книгах о соколиной охоте, потому что тогда сокольники не пользовались весами. Они определяли состояние ястребов, щупая их мускулы и грудину, наблюдая за поведением птиц острым и опытным глазом. Не так-то просто, а для новичка почти невозможно, усвоить тонкости, связанные с подготовкой ястреба к состоянию, подходящему для охоты. У Уайта не было приспособлений для взвешивания, как не было и учителя, который

объяснил бы ему, что следует делать, а значит, ему приходилось самому с большим трудом постигать старинные методы. Я знаю, что в определенном смысле взвешивание ястреба можно считать отступлением от верной линии поведения, грубой мерой по сравнению с интуитивным пониманием, которое возникает, если ты по-настоящему изучил свою птицу. И все же без весов я не взялась бы дрессировать ястреба. Когда раньше я охотилась с дербниками – мелкими соколами с острыми, как иголка, когтями и просто со зверским аппетитом, несмотря на такое хрупкое сложение, что они напоминали мне нагретый мейсенский фарфор, я взвешивала их по три раза на дню. Я постоянно беспокоилась по поводу относительной калорийности корма: мяса перепелки, курицы или мыши. Могла сказать, сколько веса моя птица потеряет через час, через два или через три. Даже три с половиной грамма могли повлиять на то, как полетит мой дербник. С ястребами-тетеревиатниками такие скрупулезные вычисления не требуются, потому что, по сравнению с дербником, Мэйбл – очень крупная птица. И все равно довольно трудно решить, сколько и какую пищу ей следует давать, чтобы достичь идеальной для охоты кондиции. На кухонном столе разбросаны кусочки бумаги с цифрами, обозначающими вес, и вопросительными знаками. Но я уверена, что подсчитала все правильно, и собираюсь это доказать. В четыре часа мы с Мэйбл отправляемся на поле для игры в крикет при моем колледже, где я дам ей первый урок – подзыв на руку. «Все будет хорошо, Мэйбл. Сейчас в университете летние каникулы, так что туда никто не придет. Там нет ни собак, ни коров, ни людей. Нам никто не мешает».

Мы неуверенно остановились под соломенной крышей павильона. Позади – растущие в беспорядке молодые каштаны и липы, а за ними канава, полная листьев и дождевой воды. Ни малейшего движения в воздухе, испещренном крапинками мошкеры. Небо пасмурное и плоское, как медная табличка. Какой-то неприятный привкус в воздухе. Мне не по себе. По ту сторону поля виднеется знакомое здание, викторианский Камелот из красного кирпича с зубчатыми стенами, многостворчатыми окнами и небольшой готической башней. Мой кабинет вон там, на верхнем этаже. Книги, бумаги, письменный стол, стул, серо-голубой шерстяной ковер, в воздухе всегда пахнет прогретой на солнце пылью, даже зимой, когда мороз леденит стекло и на рамах лежат длинные тени. Глядя на пустой фасад, вспоминаю письмо, которое отослала сегодня утром в немецкий университет, где сообщала, что не смогу взять зимой предложенную мне работу. Сказала, что мне очень жаль, объяснила, что у

меня умер отец и мне нужно остаться в Англии. Но мне не было жаль, и причины моего отказа были совсем другие. «Как же я могу ехать в декабре в Берлин? – в ужасе думала я. – Мне ведь надо тренировать ястреба». Амбиции, жизненные планы – это я оставляю другим. Как и ястреб, я больше не умела задумываться о своем будущем. Меня не интересовала карьера. Она была мне просто не нужна.

С крыши летят белые голубки. Вижу, как их крылья мелькают на фоне неба. Кружится голова. Картинка смещается. Все переворачивается вверх дном. Распадается на кусочки и превращается во что-то совсем другое. Моргаю. Кажется, это то же самое. Но нет. Это не мой колледж. Не вижу ничего знакомого. Да и вообще на колледж не похоже. Просто несколько тысяч квадратных метров зданий, коробки из кирпича и камня из коллекции великана, забитые осколками столетий. В часовне живописные изображения ангелов с одинаковыми лицами, не от мира сего, с мечами и ярким прерафаэлитским плюмажем. В столовой – бронзовый бенинский петух, а в профессорской гардеробной в шкафу спрятан скелет – настоящий, пожелтевший скелет, скрепленный штифтами и скрученной проволокой. За зданием, где я работаю, растет множество тисов, зажатых между нелепыми выветренными валунами. Бронзовая лошадь на одной лужайке и заяц на другой. Скульптура: металлическая книга, прижатая к земле ядром с цепью. Здесь все создано из вещей, извлеченных из снов. Несколько недель назад по всему колледжу были расставлены в кадках десятки лавровых деревьев по случаю бала на тему «Алисы в Стране чудес». Я видела, как студенты вплетали в их ветви цветы – мягкие тряпочные розы белого и красного, как почтовый ящик, цвета.

Думаю, моя работа в колледже закончится через два месяца. Через два месяца у меня не будет ни кабинета, ни колледжа, ни зарплаты, ни дома. Все станет по-другому. «Но все уже и так по-другому», – рассуждаю я. Свалившись в кроличью нору, Алиса летела так медленно, что могла брать предметы из шкафов и с полок на стенах, с любопытством рассматривать проплывающие мимо карты и картинки. За три года преподавания в Кембридже на мою долю выпали лекции, библиотеки, университетские собрания, руководство студенческими работами, собеседования с абитуриентами, поздние вечера, проведенные за написанием статей и проверкой домашних работ, а также многое другое, проникнутое славным кембриджским духом: блюда из фазанов при свечах за преподавательским столом, когда снежные хлопья бьются в витражное стекло, исполняются рождественские гимны, разливается по рюмкам портвейн и серебро блестит на темных полированных столах в университетской столовой.

Теперь, стоя на поле для крикета с ястребом на руке, я поняла, что все это время падала, пролетая мимо этих вещей. Можно было протянуть руку и потрогать их, снять с полки и переставить, но мне они не принадлежали. Никогда не принадлежали. Падая, Алиса пыталась разглядеть, где же она приземлится, но под ней была только темнота.

«Соберись с мыслями. Ты для чего сюда пришла? – сказала я себе. – Для занятий с ястребом». С тех пор как умер папа, у меня не раз случались такие приступы *дереализации*, то есть расстройства восприятия окружающего, странные состояния, когда перестаешь узнавать мир. *Это пройдет*. Но я напугана тем, что сейчас было. И, продевая шнур в вертлюг на конце опутенок, а потом привязывая его двумя небольшими сокольничими узлами, я чувствую дрожь в пальцах. Затягиваю узелки – они будут держать крепко. Узлы и веревки. Что-то материальное придает мне больше уверенности. Вытягиваю шнур еще на четыре с половиной метра, а остальную часть прячу в карман своего охотничьего жилета и застегиваю молнию, чтобы шнур не выпал. Потом отстегиваю от вертлюга должик и кладу его в другой карман. Жилеты у сокольников, как и у рыбаков и фотографов, едва ли можно назвать предметом одежды. Это сплошные карманы. Тот, что на правом бедре, подбит искусственной кожей, а внутри лежат три мертвых цыпленка одного дня от роду, с каждого снята кожа и каждый безжалостно разодран пополам.

«Давай-ка, садись вон туда!» Ястреб запрыгивает на перила деревянной веранды, где во время матчей сидят зрители, и оборачивается ко мне, пригнувшись, словно боксер на ринге. Я отступаю метра на два, кладу на перчатку половину цыпленка и, протянув руку, свищу. Птица не мешкает. Слышится скрежет когтей по дереву, распушаются перья, и после одного мощного взмаха крыльев, быстрого промелька когтей и глухого звука – шлеп! – птица оказывается на перчатке. Пища съедена, и мы повторяем номер, но на этот раз я отхожу на полметра дальше. Три раза взмахивают крылья, и она снова получает награду. Для существа с тактическими способностями ястреба-тетеревятника все это детские игры. В третий раз я сажаю ее на перила и только успеваю отвернуться, как Мэйбл уже в воздухе. Сердце у меня замирает, я быстро протягиваю руку, и она уже рядом со мной жадно заглатывает остатки цыпленка. Хохолок поднят, крылья опущены, глаза горят – она абсолютно счастлива. Я вновь продеваю должик через вертлюг и отвязываю тренировочный шнур. На сегодня хватит. Подзыв на руку прошел прекрасно. Я рада, что урок удался, и по дороге домой даже напеваю. Я пою Мэйбл песенку под названием «Мои любимые вещи» из фильма «Звуки музыки» – в ней говорится и про

усы котенка, и про пакеты в оберточной бумаге, перевязанные ленточкой. Мне приходит в голову, что, наверное, это и зовется счастьем. Все-таки я вспомнила, что вообще означает это слово и даже то, как достичь счастья. Но, усевшись вечером на диван и включив телевизор, я замечаю, что из глаз в чашку с чаем капаят слезы. «Странно, – думаю я и списываю это на усталость. – Может, я простудилась или у меня аллергия?» Вытерев слезы, иду на кухню заварить еще чаю. Там размораживается мертвый белый кролик, похожий на мягкую игрушку, упакованную в прозрачный пакет для улика с места преступления, и зловеще мерцает светодиодный светильник, будто в сомнении, осветить комнату или окончательно потухнуть.

Когда тренируешь ястреба на подзыв, он учится при звуке свистка быстро лететь на поднятую руку в перчатке. Ключ к успеху – моментальная реакция. Если ястреб не летит сразу же, нет смысла долго ждать, подзывая и свистя. Лучше закончить урок, а потом попробовать еще раз. Уайт не знал этого правила, и потому о его первой попытке так больно читать. Но больше всего в его плачевном рассказе меня расстроило не то, что томительное ожидание ничему не научило ястреба, и не садистское дерганье за шнур, в результате которого бедняга Тет оказался на земле. И даже не то, что Уайт затаил с пищей, отчего Тет так и не понял, что съеденное было наградой за успех. Меня расстроило вот что: когда ястреб наконец пошел к нему, Уайт от него побежал.

Но, вернувшись на то же место, Уайт начинает сначала. Через два дня Тет опять сидит на ограде, а в сорока шагах от него Уайт свистит и размахивает кусочком говядины. Умоляет. Зовет. Кричит с разной интонацией – приказывает, потакает, настаивает, бесится, смягчается, отчаивается, злится. «Ну, ну, – увещевает он птицу, – не глупи. Иди сюда. Будь хорошим мальчиком. Тет, Тет, Тетушка, Тет!» Минут через десять ястреб решает лететь. Но радость сокольника очень быстро сменяется ужасом. Чудище, которое к нему приближается, совсем не похоже на ястреба. «Это горбатый летающий Ричард III», привидение в виде крылатой жабы. К тому же глаза птицы, сверкающие, словно два прожектора, смотрят вовсе не на протянутую руку сокольника, а – *Боже мой!* – на его незащищенное, открытое лицо. Уайт начинает паниковать. Несколько минут назад Тет уже его поранил: прыгнув вместо руки на плечо, вонзил когти прямо ему в шею. До крови. Очень больно. Уайт помнит, какой силы был удар и как ему пришлось помучиться. Сколько терпения понадобилось, чтобы не отшвырнуть ястреба на землю и не убить! Ждать и ждать, пока тот ослабит хватку. *Он все ближе.* Уже в пяти шагах. Почти долетел. Ястреб

не сводит с Уайта огромных глаз. *Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла.* Но Уайт не выдерживает. Сдают нервы. Он зажмуривается и съеживается. Ничего не понимающий Тет отлетает в сторону, в крону дерева, чтобы сесть на ветку, но промахивается и неуклюже падает в живую изгородь.

Уайт берет себя в руки, вытаскивает ястреба и снова идет к ограде повторить урок. На этот раз он будет смелым. *На этот раз.* Птица вновь летит к нему, и Уайт, затаив дыхание, делает все, чтобы стоять твердо.

«Я напряг грудные мускулы, дабы не отступить. Но ничего не помогло. Когда Тет был всего в двух шагах, моя человеческая природа вновь обнаружила в себе прирожденного труса, и я отклонился вправо, пряча лицо от глаз убийцы и приподняв плечо; я не смог выстоять. Но Тет, сильно ударив, все-таки сел мне на плечо, быстро перешел вниз по руке и принялся есть кусочек говядины».

Уайт так старался быть сильным. Именно поэтому он охотился с Графтоном и учился летать на аэроплане, именно поэтому в детстве он проплыл вокруг мола в Сент-Леонардсе, а школьником нырял с самого высокого трамплина в купальнях Гастингса. Он знал этот древний, тошнотворный ужас. *Не смог выстоять.* Но он *обязан* быть смелым. Мама так хотела, чтобы он, маленький мальчик, когда вырастет, стал «большим, смелым и благородным человеком», и оттого он так боялся оказаться кем-то прямо противоположным. «Я чувствовал, что неспособен воспитать в себе эти благородные качества», – писал он. Проверка на мужественность. Собрав волю в кулак, он вновь подзывает Тета, отойдя на пятьдесят шагов. И на этот раз не съеживается, несмотря на леденящий ужас. Да, Уайт может гордиться ястребом: тот пролетел пятьдесят шагов, и может гордиться собой: он выдержал. Такую победу стоит отпраздновать, и вечером он напивается до бесчувствия. «Снова и снова я громко кричу: «Прозит!» – писал он. – Залпом пью огненный напиток в честь своего триумфа, проклиная недругов и вдребезги бью рюмки об пол».

Прошло пятнадцать дней с того дня, когда в моем доме поселился ястреб. Я вымыла голову, подкрасила глаза и губы, нашла более или менее приличную одежду – то есть ту, которая не испачкана засохшим птичьим пометом – и отправилась с Мэйбл на обед к директору колледжа.

В два часа десять минут я сижу за длинным столом на тихой английской лужайке и экспромтом читаю лекцию об охоте с ловчими птицами, а Мэйбл, устроившись у меня на руке, раздирает кроличью лапку. Директор колледжа, проникательный и милый человек в идеально

скроенном костюме, внимательно слушает. Рядом его мать, которой моя речь, по-видимому, кажется забавной. Ее внуки сидят тут же. А за ними – жена директора, элегантная темноволосая женщина, адвокат по профессии, с бокалом вина в руке. Мы встречаемся взглядами, и она улыбается. Два дня назад по дороге в супермаркет я услышала, как она окликает меня по имени, а затем увидела, что она уже слезает с велосипеда с естественной грацией прирожденной наездницы. Мы немного побеседовали в рваной тени под кронами деревьев, и вскоре я очутилась на кухне директорского дома за чашкой чая.

– Вот что, Хелен, – сказала она, – в субботу, если погода позволит, мы устраиваем обед на лужайке. Соберется только наша семья. Было бы *замечательно*, – продолжала она, наклонив голову набок, – если бы вы навестили нас после обеда и прихватили своего ястреба. Мы слышали, что вы дрессируете его на территории колледжа, и нам бы очень хотелось с ним познакомиться. – Сняв колпачок с черного маркера, она написала на доске ХЕЛЕН С ЯСТРЕБОМ, потом, замешкавшись, обернулась ко мне: – В два подойдет?

– Хорошо. В два.

Улыбнувшись, она записала время своим изящным почерком.

И вот теперь ястреб ест кролика, тянется неторопливая застольная беседа, на старинные стены бледными полосами ложится солнечный свет, с высоты доносится щебетание ласточек, напоминающее отдаленный стук пальцев по стеклу, а я наслаждаюсь чудесным днем. *Как красиво*, думаю я, и как удивительно и даже невероятно, что я вообще оказалась здесь – ребенок, окончивший бесплатную государственную школу, чьи родители не имели университетского образования, а Кембридж представлялся им пристанищем шпионов и снобов.

– Ты, видать, шпионка, – говорил мне папа. – Точно шпионка.

Он помнил, как в детстве я все время исчезала, прихватив бинокль, и часами пряталась в рощах и кустарниках. Я была девочкой-невидимкой, рожденной для шпионской жизни.

– Нет, папа, никакая я не шпионка, – говорила я ему в сотый раз.

– Конечно, ты будешь отнекиваться – как же иначе, – отвечал он и весело смеялся, потому что мне никак не удавалось его разубедить.

– Я там работаю, папа, – говорила я, закатывая глаза. – Я преподаю английский и историю естествознания. Сижу в библиотеке, читаю книжки, занимаюсь исследовательской работой. Вот и все. Я вовсе не героиня Джона Ле Карре.

– Но могла бы быть, – отвечал он, делая ударение на слове «могла», и в

каком-то смысле он говорил серьезно.

Папе нравилась мысль, что я гоюсь в шпионы, потому что он понимал, что такое тайная жизнь, ведь она не слишком отличалась от его собственной. Однажды он вручил мне миниатюрный серебристый фотоаппарат. «Для него нужна специальная пленка», – с восхищением объяснял он, открыв аппарат сзади и показывая, где катушка вставляется в футляр размером со спичечный коробок. На протяжении многих лет, используя инфракрасные лучи, он снимал ночную жизнь дикой природы, находил любовные гнездышки министров, отслеживал и фотографировал передвижение ядерных отходов на секретных ночных поездах, лазал через заборы, просовывал фотоаппарат туда, где ни он сам, ни уж тем более его фотоаппарат не должны были быть. Терпение, слезка, уловки и фиксация факта. Деятельность историка казалась ему более таинственной, чем работа шпиона.

Мои глаза туманятся слезами. Мы живем жизнью, которую сами себе придумываем, но иногда возникает осознание того, что какие-то другие жизни таким образом оказались для нас утрачены. Летний обед на лужайке заканчивается. Мне не остановить время. С поля для игры в регби, где прогуливался киношный шпион Придо, ползет туман. Медленное белое дыхание. У меня в голове шум, сначала тихий, потом все громче. «Я не шпионка, – говорила я папе, – я историк». Но, глядя на сидящих за столом людей, которые, как зачарованные, рассматривают моего ястреба, мне кажется, что я уже и не историк. *Дура я, вот кто*, мелькает мрачная мысль. *Работала преподавателем университета, была ученым. А теперь прямо какой-то шут гороховый. Больше я уже не Хелен, а женщина с ястребом.* Мэйбл терзает кроличью ножку. Вокруг птицы, как электроны, кружатся осы. Садятся ей на лапы, на клюв, выискивая кусочки мяса, и спешат унести их в свое «бумажное» гнездо на каком-нибудь кембриджском чердаке. Мэйбл отшвыривает их клювом, и мне видно, как полосатые желто-черные брюшки кувыркаются в воздухе, но потом, выравнивая свой полет, осы вновь нацеливаются на нее. Наш обед на лужайке начинает приобретать нереальные черты. Красновато-серебристые тени, альбомная фотогравюра, что-то из Агаты Кристи или Ивлины Во, из иных времен. Но осы вполне реальны. Они существуют, они здесь. Как и мой ястреб. В центре – солнце. А я существую? Не уверена. Чувствую пустоту и сиротство, словно это не я, а продуваемое ветром, пустое осиное гнездо, которое осы мастерят из древесины, пережевывая ее и смачивая слюной. Вот только мороз уничтожил в этом гнезде все живое.

Иногда мы понимаем, что какие-то жизни оказались для нас утрачены,

а иногда сами сжигаем их дотла. Вечерами при свете аладдиновой лампы, бока которой переливаются нежной белизной, Уайт уничтожает свою прошлую жизнь. Это убийство происходит в романе, который он начал писать еще в Стоу и нынче почти закончил. Книга называется «Невозможно унижить праведника». Это история о постепенном закате карьеры директора частной школы по имени доктор Призонфейс. Доктор боится жизни, он хамелеон, зеркало, существующее лишь благодаря отражению в глазах других. Призонфейс теряет работу в школе. Ухаживает за черноволосой, мальчишеского склада барменшей и получает от нее отказ, а потом в ужасе скрывается после приставаний ее матери. Он летает на аэроплане с пьяными авиаторами, потомками поэтов-романтиков. Пытается учить голливудских толстосумов, что значит быть джентльменами, и чувствует себя оскорбленным, когда они косят куропаток из автоматов. Его книга – злая сатира на систему образования и культ английского джентльмена, но в то же время это и психологический экзорцизм, саркастическое повествование, призванное сжечь собственную прошлую жизнь. Уайт создал Призонфейса с целью заставить его страдать, быть наказанным, осмеянным, доведенным до нищеты и смерти. От директора школы до учителя, перебивающегося частными уроками, от работника фермы до нищего – за что бы герой ни брался, везде его ждет крах. И все, кого он встречает на жизненном пути, объясняют ему, почему он существо бесполезное и никуда не годное. Рассказчик тоже не может удержаться от нападок, лишь только подворачивается возможность.

К концу книги бездомный и хромой Призонфейс встречает на сельской дороге таинственного незнакомца. У этого человека необычные черты лица, он замкнут, невероятно элегантен и путешествует в крошечной тьме в сопровождении собаки. Призонфейса влечет к нему, к исходящей от него силе, он видит в ней «мудрость уверенности, счастье реальности, власть права». Когда-то незнакомец тоже был директором школы в городе под названием Золотые Врата, но ушел с поста, потому что не смог вынести тех, кто там учительствовал. Теперь он женат, живет в доме в лесу и всем доволен. Этот человек – представление Уайта о том, каким он сам станет в будущем: свободным Уайтом, торжествующим Уайтом, человеком, который на протяжении нескольких страниц читает нотации Призонфейсу о вредности школьной системы: «Для любого, кто два месяца кряду дрессировал ястреба и понимает, что все пойдет прахом, если ты хотя бы раз злобно посмотрел на это создание, – говорит он, – кажется совершенно невероятным, что на сложнейшую психологию человеческого существа можно воздействовать палкой».

Сидя у лампы, Уайт заканчивает речь, пожалуй, самую гуманную во всей книге. Он говорит о себе, каким он был в прошлом, с жалостью и состраданием:

«— Ты добровольно вернулся из университета в школу, потому что тебе еще нужна была школа, потому что тебе предстояло что-то открыть. Ты вернулся под крылышко наседки, желая обрести защиту, ибо ты сам был еще маленьким цыпленком, но ты к тому же что-то искал: тебе нужен был талисман, который позволит уйти.

— Так что же я ищу?

— Узнаешь, когда найдешь.

— Это мудрость или мужество?

— Возможно, это любовь».

Возможно, это любовь. Возможно. Представляю, как он пишет эти строки на маленькой кухне, свет блестит на клеенке, которая от этого кажется мокрой, за окном опускается ночь. Вскоре он разожжет огонь, но сначала напишет еще немного. Ястреб спит. Сегодня ни один листок не колышется на деревьях вдоль «райдингов», ничто не шелохнется в трех лесопарках, в лесах Стоу и лесах Соупит, над прудами Блэк-Питс. Глубоко под водой дремлют карпы. Всюду воцарились мир и спокойствие. Он негодяй. Свободный человек. Тот, кого отвергли. Тот, кто пал. Дикий. Жестокий. Волшебный. Человек, довольный своей судьбой. Уайт кладет ручку и наливает еще рюмку, потом вновь берется за перо и продолжает. Он повествует о том, как доктор Призонфейс спрашивает имя таинственного незнакомца, а тот отвечает, что имя ему Люцифер. Люцифер, несущий свет, падший ангел, дьявол во плоти.

Глава 14

Связь



У Кристины необычное выражение лица. Счастливым его не назовешь, но и несчастным тоже. Хотя напряженным – безусловно. В нем смешались энергичность, смелость и некоторая неуверенность. Сегодня она пришла посмотреть, как идет дрессировка ястреба, и я в порыве вдохновения решила сделать ее своим помощником. В последние несколько месяцев она очень терпеливо сносила все мои вызванные горем странности, но к такому предложению была совершенно не готова.

– Понимаешь, я не успеваю отойти на достаточное расстояние, – объясняю я. – Мэйбл сразу же летит за мной, стоит мне сделать первый шаг. Но ей нужно научиться подлетать ко мне с больших расстояний: только тогда я смогу отпускать ее в свободный полет. Не могла бы ты придержать ее там, на поле, а я уж буду подзывать ее с твоего кулака?

– Тогда покажи, что надо делать, – говорит Кристина, бледнея.

– Это несложно.

Я даю Кристине запасную перчатку, сажаю птицу ей на руку и сгибаю ее пальцы таким образом, чтобы они удерживали опутенки.

– Повернись ко мне спиной. Да, так. Прекрасно. Теперь она меня не видит. Я отойду. И когда крикну «о'кей», повернись вправо, вытяни вперед руку и раскрой кулак, чтобы она могла взлететь.

Прикусив губу, Кристина кивает.

– Не перепутай: повернуться надо вправо. Иначе шнур может запутаться у тебя в ногах.

Кристина держит птицу с осторожной сосредоточенностью, словно это кувшин, который нельзя расплескать. Она стоит неподвижно, собранная, с прямой спиной – маленькая фигурка в пятнадцати шагах от меня в обтягивающих черных джинсах, футболке и ярко-красных кроссовках.

– О'кей!

Кристина поворачивается, и Мэйбл мчится ко мне, таща за собой шнур. Она летит так низко, что концы крыльев почти касаются дерна на поле. С каждым мощным взмахом ее тело изгибается и покачивается, но голова держится идеально ровно, как будто в нее вставлен гироскоп, и взгляд не отрывается от моей перчатки. Сверкают серебристые подкрылья, хвост раскрывается, она поджимает лапы для удара и, когда садится, с силой бьет по перчатке, словно мастер кикбоксинга.

– Получилось? – издали кричит Кристина.

Я поднимаю вверх большой палец, и она отвечает тем же. В данный момент мы с ней два диспетчера на полетной палубе авианосца.

Мы повторяем урок. Потом еще раз. На следующий день идет сильный дождь, так что приходится тренировать Мэйбл у меня в гостиной: она свободно летает от Кристины ко мне и обратно. Ее путь с Кристининого кулака на мой лежит над ковром, мимо зеркала, под люстрой. Крылья с такой силой рассекают воздух, что качается абажур. На четвертый день птица уже прилетает ко мне с расстояния двадцать пять шагов. Она летит, не колеблясь, с земли, с кулака Кристины, с ветвей деревьев, с крыши павильона. «Спасибо за помощь, – говорю я Кристине по дороге домой. – Знаешь, похоже, мы почти у цели. Как только она станет подлетать с пятидесяти шагов, я ее отвяжу». При этой мысли я почти готова прыгать и визжать от радости. *Только не надо торопиться. Но я не могу больше ждать.*

Мне и раньше приходилось заниматься подзывом ястребов, но с Мэйбл все складывалось не так, как всегда. Я стояла, подняв руку, и насвистывала мелодию, что означало: «Пожалуйста, лети сюда. Здесь тебе будет хорошо. Лети ко мне. Не обращай внимания на огромные тучи, на ветер, который треплет за тобой деревья. Смотри на меня и никуда не сворачивай». Я слышала, как бьется мое сердце. Видела, как Мэйбл сначала пригибалась, а потом взмывала в воздух. Оставив присаду, она мчалась ко мне, и я, затаив дыхание, следила за ее полетом. Она все еще летала со шнуром, но я все равно боялась, как бы не случилось какого-нибудь недоразумения. Вдруг она отклонится от курса, испугается и умчится от меня навсегда. Но крылья, рассекающие воздух, несли ее прямо ко мне, и удар когтей, опустившихся на перчатку, всякий раз казался мне чудом. Настоящим чудом. Он означал: «Мне здесь нравится. Меня совсем не тянет в небо, в леса и поля». Ничто так не утешало мое измученное сердце, как возвращение птицы. Однако теперь становилось все труднее понять, где мое сердце, а где ястреб. Если птица сидела на расстоянии двадцати шагов по ту сторону поля, то часть меня неизменно была рядом с ней, словно кто-

то перенес туда мое сердце. Мне вспомнилась фантастическая трилогия Филипа Пулмана «Темные начала», в которой у каждого персонажа есть свой *деймон* — животное, представляющее реальное воплощение души героя и сопровождающее его повсюду. Разлученные со своим *деймоном* люди испытывают боль. Эта книжная вселенная очень напоминала мою собственную. Если у меня на руке не было ястреба, я сразу чувствовала, что мне чего-то не хватает: мы стали частью друг друга. Горе, вызванное смертью отца, привело меня к ястребу, и этим объяснялась такая странность восприятия действительности. То, что птица прилетит ко мне, было так же очевидно, как падение предметов под действием силы земного притяжения. словно возвращение ястреба на руку есть часть заведенного порядка вещей. Эта уверенность так глубоко укоренилась в моем мозгу, что, когда в ходе дрессировки что-то пошло не так, рухнул и порядок вещей.

Мэйбл радостно и уверенно поднялась в воздух с кулака Кристины. Я следила за ее подлетом и ждала, полная счастливого предчувствия, как она – шлеп! – опустится на мою перчатку. Но этого не произошло. Вместо того, чтобы сесть, она выпустила лапу, схватила когтями пищу и быстро пронеслась дальше, прочь от меня. Я почувствовала, что она чем-то недовольна, что она не получила желаемого. И еще я почувствовала, что произошедшее испугало ее и теперь она торопится улететь, чтобы избавиться от страха и от меня. Крепко сжимая шнур, я побежала следом, натягивая бечевку, пока не заставила птицу сесть на землю – хохолок у нее поднялся, крылья широко раскинулись, лапы уперлись в дерн. Но стоило протянуть ей руку, как она сразу же села на нее, словно ничего не произошло.

– Наверное, ее что-то испугало, – сказала я Кристине. – Давай попробуем еще раз.

Мэйбл снова быстро пролетела над самой землей, снова схватила мясо с перчатки и пронеслась дальше. И вновь мне пришлось ее посадить.

– Почему она так делает?

– Не знаю. Не понимаю.

Такого раньше не случалось. На протяжении нескольких лет мне приходилось иметь дело с ястребами, которые не обращали на меня внимания. Ястребами, которые поворачивались ко мне спиной. Ястребами, которые летали нехотя, плохо или вообще отказывались летать. Но я не беспокоилась. Дело в том, что они еще не набрали полетный вес, и исправить положение было нетрудно. Но сейчас ситуация выглядела иначе. Птица явно намеревалась долететь до меня, но в последнюю секунду

почему-то боялась опуститься на перчатку. Мне ничего не приходило в голову. Решила позвонить Стюарту.

– Ума не приложу, в чем дело. Может, я мало ее приручала? Или она набрала слишком большой вес? – Я оказалась в тупике, как ребенок. – Что мне делать?

Стюарт долго молчал, потом, глубоко вздохнув, спросил:

– Ты ее кормишь цыплятами?

– Да.

– Перестань. Пока они для нее слишком калорийны. Все будет в порядке, она уже почти готова. Просто перейди на кроликов. Ей хуже не станет, а проблема разрешится.

Вся оставшаяся у меня вера в этот мир зиждилась на желании ястреба лететь ко мне. И вдруг оказалось, что птице страшно опускаться на мой кулак – *она мне не доверяет* – и у меня не хватало слов объяснить Стюарту, как это страшно. Я поблагодарила его – у человека попросили совета, и он его дал. Объяснил все просто и понятно. *Вот в чем твоя проблема. Вот как ее надо решить.* Но я ему не поверила. *Не может быть, что дело в пище.* «Наверное, я поступила как-то неправильно, – думала я. – Сделала что-то ужасное».

На следующий день из растрепанной рощицы позади павильона вышла целая ватага камышниц. Птицы разбежались по крикетному полю, точно стая черных, пернатых мышей. Камышницы! Эти водоплавающие не умеют толком ни летать, ни бегать. Они настолько легкая добыча для тетеревятников, что сокольники не любят напускать на них ястребов, чтобы не превратить честную игру в забаву. Мэйбл никогда не видела камышниц, но сейчас смотрит на них, будто эти существа специально посланы ей добрым богом, чтобы было чем насладиться. Я уже знаю, что глубоко в мозгу молодой хищницы заложены сведения о тех видах птиц, которые служат ей пищей. Несколько дней назад я видела, как в книге, которую я, забыв закрыть, случайно оставила на полу, Мэйбл рассматривает небольшие картинки, изображающие куропаток. Заинтригованная, я подняла книгу и поднесла к ней ближе. Птица не сводила с картинки глаз, даже когда я двигала книгу в разные стороны. «Не может быть!» – подумала я. Картинка была нарисована чернилами – стилизованная и нечеткая: она передавала общий облик куропаток, но без деталей и цвета. Пролистав том, я показала ей другие изображения: зябликов, морских птиц, дроздов. Эти ее не заинтересовали. Потом показала фазана. Черные зрачки расширились, ястребуха наклонилась вперед и уставилась на фазана с

таким же интересом, с каким разглядывала куропатку. Поразительно! Поразительно, что она воспринимает двухмерные изображения, но еще более поразительно, что ее мозг расшифровал эти нечеткие черные линии, отнес их к категории *пернатой дичи* и объявил достойными интереса.

И вот, как нарочно, я слышу тихое клохтанье и тоненький писк, после чего голова Мэйбл – и моя тоже – мигом поворачивается, и мы обе видим всего метрах в трех от нас самку фазана и идущих за ней гуськом полуоперившихся птенцов. Они с писком пролезают под оградой и направляются по травке. Но неожиданно самка замечает Мэйбл и останавливается как вкопанная. Раньше ей не приходилось видеть ястреба-тетеревятника, но она сразу же чувствует опасность. Самка пригибается, чтобы взлететь, потом понимает, что не может оставить птенцов, думает сесть и притвориться камнем, но быстро осознает бесполезность этого маневра – ее оперение, словно сотканное из бежевых кружев, хорошо видно на освещенной солнцем траве, да и ястреб ее уже заметил – тогда она впадает в панику. Вытянув шею, распушив перья и разинув от ужаса клюв, она бежит через поле, не разбирая дороги. Птенцы несутся следом – шесть неуклюжих заводных динозавриков. Я озадачена – ведь там невозможно укрыться. Может, мамаша думает, что если ее цыплята окажутся далеко, среди камышниц, у них появится реальный, статистически оправданный шанс выжить?

Мэйбл! Боже мой, Мэйбл! Она бьется, пытаясь добраться до них, машет крыльями с такой яростью, что просто зависла в воздухе. Хлопающие крылья обдувают мне лицо, а рука вытянулась в сторону удирающих фазанов. Мэйбл запрыгивает на мой кулак с открытым от напряжения клювом и смотрит на меня злым, разъяренным взглядом. Потом опять бросается вперед. *Только не здесь! Не сейчас! Мэйбл, это невозможно. Я не могу дать тебе схватить даже одну птичку. Это против всяких правил – и человеческих, и божеских и... университетских.*

Стараюсь удержать ее на кулаке – это примерно то же самое, что балансировать с высоченной и шаткой стопкой драгоценных фарфоровых тарелок – догадываюсь повернуться на сто восемьдесят градусов, чтобы загородить от нее фазанов, и подчеркнуто вежливым тоном, который появляется у меня лишь в случае крайнего нервного напряжения, спрашиваю Кристину, «не затруднит ли ее прогнать фазанов обратно в кусты, и камышниц, пожалуй, тоже». Улыбнувшись, Кристина загоняет фазанов в садик за оградой и бежит через поле к камышницам. А Мэйбл, между тем, поднимается на цыпочки, подпрыгивает, изгибает шею, заглядывая мне через плечо, чтобы увидеть, куда они подевались. Я, в свою

очередь, пытаюсь перекрыть ей вид, но мне это не очень-то удается. Оглядываюсь и замечаю, как Кристина бежит по полю, размахивая руками, точно ветряная мельница, а перед ней в сторону рожицы, с распахнутыми крыльями стремглав несутся десятки камышниц. Они так похожи на маленьких мальчиков, которые изображают самолеты, что я не могу удержаться от смеха. Совершенно нелепая картина. Я изо всех сил сдерживаю самого смертоносного пернатого хищника в Англии, а моя подружка прогоняет дичь подальше от него. *Если кто-нибудь из знакомых сокольников про это узнает, он не будет со мной разговаривать до конца моих дней.*

Когда с крикетного поля устранены все соблазны, я, как обычно, начинаю подзывать Мэйбл. Она прекрасно долетает до моего кулака, покрывая расстояние в тридцать шагов. Но во второй и в третий раз сначала сильно бьет по перчатке обеими ногами, потом взмывает вверх, пытается повернуться в воздухе, начинает шарахаться туда-сюда, замирает и наконец оказывается на земле в нескольких метрах от меня. Уронив крылья, она тяжело дышит, и кажется, вот-вот взорвется. Теперь мне уже не до смеха. И я понимаю, почему аустрингеры на протяжении многих веков славились своим сквернословием. Я тоже не выдерживаю. Во всем моя вина. Знаю. И ненавижу себя. Надо успокоиться. Не выходит. *Черт, черт, черт!* Мне жарко, я жутко взволнована. Пальцами, перепачканными кроличьей кровью, откидываю с глаз волосы и ругаюсь на чем свет стоит. К тому же замечаю человека в белой рубашке и черной жилетке, который вслед за своей тенью движется по направлению к Кристине. Это один из привратников колледжа, и вид у него недовольный. В этом нет сомнения, если судить по тому, как напряжены его плечи. Он обращается к Кристине, но со своего места я не могу расслышать, о чем они говорят. Кристина машет рукой в мою сторону и, по-видимому, объясняет ему, что я не посторонний человек, а вполне достойный университетский преподаватель и в моем поведении нет ничего противозаконного.

Однако по виду мужчины не скажешь, что его удалось убедить.

Я подхожу ближе, и они замолкают. Привратник узнает меня. А я его.

– Здравствуйте! – весело говорю я и объясняю, чем занимаюсь с ястребом на священной университетской земле.

– Гм, – отзывается он, с подозрением оглядывая Мэйбл. – Вы и студентов собираетесь с ней ловить?

– Только разгильдяев, – говорю я и добавляю заговорщицким шепотом: – *Составьте списочек.*

Это правильный ответ. Привратник смеется. Ястреб его заинтересовал,

и ему хочется узнать о птице что-нибудь еще, но не сейчас, поскольку он на службе и долг зовет.

– Прошу прощения, – говорит он. Вновь выпрямляет спину и, прищурившись от яркого солнца, важно шагает к группе бедолаг-туристов, решивших устроить пикничок на краю поля для регби.

Я тренировала ее вечером. Я тренировала ее утром. Кормила кроликом в шкурке и кроликом без шкурки. Давала ей цыплят, предварительно выпотрошив, сняв с них кожу и вымочив в воде. Я снижала ее вес. Я позволяла ей набрать вес. Потом снова его снижала. Я надевала разную одежду. Я перепробовала все, чтобы справиться с проблемой, хотя была уверена, что сделать это невозможно, потому что проблема кроется во мне. Иногда Мэйбл летела прямо ко мне на кулак, иногда пролетала сверху, и никогда нельзя было сказать, как она себя поведет в очередной раз. Каждый полет становился чудовищной игрой случая, орлянкой, а на кону было нечто, очень напоминавшее мою душу. Я стала думать, что птица отворачивается от меня по той же самой причине, по какой от меня сбежал человек, в которого я влюбилась после папиной смерти. Как будто во мне есть что-то не то, что-то отталкивающее, заметное только ему и ястребу. Каждый вечер я делала записи в дневнике, заведенном после появления птицы. Писала кратко, без эмоций, сообщала подробности о погоде, о поведении Мэйбл, приводила цифры, касающиеся ее веса, силы ветра и пищевых калорий. Записи были похожи на отчеты о полетах самолетов. Такую сжатую информацию обычно передают с крыши министерства авиации.

«900,4 г, ветер не очень сильный, солнечно, 16.00, 32 м, четыре подзыва, быстрая реакция, последние два – перелет. Вымачивала цыплят».

Но постепенно они стали меняться.

«904,5 г, ясно, легкий ветерок, 16.30, три подзыва на 35 шагах, все – перелет. Ужас. Кролик.???!»

Я уже писала не только о ястребе.

«Тоска. Болит голова. Сегодня тяжело выходить. Может, я заболела? 904,5 г, кролик, три подзыва на 25 шагах, последний – перелет. Почему? Надо понять, что я делаю не так».

«Солнце, сильный ветер, 16.00, кролик. Но так же как вчера: на 20 шагах – ОК, на 25 – дважды перелет. 903, 07 г. Вечер ужасный, потому что пришлось встречаться со знакомыми и делать вид, что все хорошо. И без конца им это повторять. ШЛИ БЫ ОНИ ВСЕ КУДА ПОДАЛЬШЕ И ОСТАВИЛИ БЫ МЕНЯ В ПОКОЕ!»

Меня обуревала злорада, природа которой была мне не совсем понятна. Так злишься, когда что-то не складывается. Когда пытаешься засунуть в коробку какую-нибудь вещь, а коробка чуть меньше, чем надо. Ты все крутишь эту вещь, надеясь, что, может, она войдет хотя бы под углом. Но постепенно осознаешь, что скорее всего все-таки не войдет. И наконец понимаешь, что у тебя точно ничего не получится, да и с самого начала не могло получиться, но это не мешает тебе нещадно давить на гнущуюся штучковину в отместку за то, что она не влезает. Именно так и было со мной, только я была одновременно и коробкой, и не влезавшей в коробку вещью, и человеком с синяками и порезами на руках, который вновь и вновь пытается впихнуть вещь в коробку.

Внутри у меня скопилась ярость, и ее могло спровоцировать что угодно. Однажды утром в рабочий день под небом цвета мокрого цемента я с трудом выбралась в город, чтобы встретиться с коллегой из Узбекистана. Мы познакомились прошлой зимой во время моей научной командировки в Среднюю Азию. Тихий, аккуратный человек, очень приятный. Мы жили с ним вместе в палаточном лагере посреди замерзшей пустыни, ели фаршированную бараниной айву в придорожных забегаловках на Великом шелковом пути, стояли на берегу Сырдарьи. Недавно он приехал в Кембридж и захотел встретиться. Мы пришли в кафе и сели за столик. Мне он нравился. Я знала, что надо о чем-то говорить, но не могла вспомнить, как это делается. Выдавила несколько слов. Но они прозвучали фальшиво. Бесцветно улыбнувшись, я посмотрела в окно и отчаянно попыталась вспомнить, о чем обычно беседуют в таких случаях. Но там, за остекленным фасадом банка на другой стороне улицы, я увидела женщину в сером рабочем халате и чулках, которая, стоя на стуле, сдирала со стекла большой виниловый плакат с поющим жаворонком – рекламу какого-то финансового предложения. Жаворонку, как и предложению, пришел конец. Женщина вцепилась ногтями в клюв птицы и начала отдирать от стекла ее голову. Птица исчезала сантиметр за сантиметром – сначала она висела без головы, раскинув крылья, затем от стекла оторвали по очереди каждое крыло – их соскоблили ногтями и пластмассовым скребком – а вскоре исчезло и последнее перышко хвоста. Женщина скомкала жаворонка в

шарик и бросила на пол.

Я почувствовала, как во мне поднимается слепая, холодная, доходящая до дрожи ярость. Я ненавидела эту женщину. Хотелось броситься в банк, наорать на нее, поднять с пола скомканный шарик, который когда-то был жаворонком, и унести его домой. Разглядить. Спасти. Сидевший напротив узбекский коллега смотрел на меня с таким же выражением смущения и участия, какое было на лице официанта в день папиной смерти. От этого я еще больше разозлилась. Я злилась на женщину, которая содрала жаворонка со стекла, злилась на этого милого, ни в чем не повинного человека, который не дал к этому никакого повода. Пробормотав какое-то неубедительное объяснение, я сказала, что «мне очень тяжело после папиной смерти», «вы здесь ни при чем» и «извините, это ужасно, но мне надо идти». Перейдя улицу, я прошла мимо окна. Женщина опять стояла на стуле и наклеивала на стекло новый плакат: гигантскую стрелу, нацеленную в никуда. Я отвела глаза.

А потом я начала бить папину машину. Совершенно не нарочно. Просто так получалось. Врезалась в оградительные тумбы, давая задний ход, царапала крылья кузова о стены, снова и снова в отчаянии слышала скрежет металла, выходила из машины, тупо терла пальцами по новой вмятине, как будто это могло исправить дело, ведь краска-то была уже содрана и даже виднелся металл.

– Ты наказываешь отцовскую машину за то, что тебя покинул отец? – спросила меня одна подружка, увлекающаяся психоанализом и довольно бестактная.

Я задумалась, а потом ответила:

– Нет. – И даже смутилась, что не смогла сказать ничего интересного. – Но я не чувствую габаритов своей машины.

Это была правда. Я не могла удержать в голове ее размеры. И даже собственные размеры. Поэтому со мной все время что-то случалось. Я била чашки. Роняла тарелки. Спотыкалась. Сломала о косяк палец на ноге. Я стала неуклюжей, как в детстве. И только во время обучения Мэйбл вся моя неловкость улетучивалась. Мир с ястребом был защищен от любой неприятности, и в этом мире я ощущала каждую клеточку своего тела. Ночами мне снились тренировочные шнуры, бечевки и узлы, клубки шерсти и летящие к югу стаи гусей. И каждое утро я с облегчением шла на крикетное поле, потому что с ястребом на руке знала, кто я такая. И даже когда мне хотелось упасть на колени и плакать, потому что Мэйбл опять собиралась улететь от меня, я на нее не сердилась.

Глава 15

По ком звонит колокольчик



– Черт побери, Хелен, она спокойна, – говорит Стюарт. – Я слышу, как бьется у нее сердце. Она ничем не встревожена.

Наклонив голову над столом и обхватив сложенные крылья моей заклобученной птицы, Стюарт держит Мэйбл на кухонной диванной подушке твердо и нежно, точно это хрупкий стеклянный сосуд.

– Хорошо, – отвечаю я и осторожно отодвигаю в сторону кроющие перья, открыв таким образом основание хвоста. Стволы длинных перьев там, где они растут из тела, полые и прозрачные, и к двум из них я приклеиваю, а потом привязываю колокольчик, размером и формой напоминающий желудь. На это уходит совсем немного времени. Я слегка тяну за него, чтобы удостовериться, что он не отвалится, затем снова сажаю ястреба на руку. Птица взъерошивается, и в комнате сразу раздается громкий звон колокольчика. Но, кажется, Мэйбл даже не обращает на него внимания.

Колокольчики относятся к самым древним изобретениям сокольников. Много лет я покупала их в Пакистане – там они вручную выковываются из меди по старинным образцам, но у Мэйбл колокольчик американский – современный, небольшой и легкий, тоже сделанный вручную из сплава меди с никелем и цинком. Когда птица будет летать без привязи, колокольчик подскажет мне, где она. Традиционно колокольчики прикрепляются к ногам ястреба на тонких кожаных ремешках, но для ястреба-тетеревятника больше подходит колокольчик на хвосте, потому что у этой птицы есть неизменная привычка при приземлении трясти хвостом. Даже стоя спиной к дереву, где сидит тетеревятник, можно только по этому звону следить за перемещением птицы с ветки на ветку.

Но колокольчики не всегда помогают: их звон заглушается ветром и расстоянием. Кроме того, неподвижно сидящий ястреб не издает никаких

звуков. Поэтому, когда Мэйбл начнет летать без шнура, к ней будет прикреплен еще и миниатюрный радиопередатчик, а у меня в рюкзаке в черном матерчатом чехле будет лежать приемник. Однако и с этими двойными предосторожностями меня пугает мысль выпускать ее в свободный полет. От меня еще ни разу не улетал ястреб, и мне никогда не приходило в голову, что такое может случиться. Но я уверена, что, стоит только отпустить Мэйбл, как она умчится и исчезнет навсегда. Такой исход представляется еще более убедительным, когда несколько часов спустя мы приступаем к тренировке. На этот раз она даже не хватается пищу с перчатки, а просто летит мимо, не останавливаясь, пока я насильно не сажаю ее на землю.

В полном расстройстве я вновь несу птицу на край деревенского игрового поля. Заметив наше приближение, Стюарт ждет, а затем критически осматривает ястреба. Потирает сзади шею. Его лицо, за долгие годы ставшее загорелым и морщинистым от ветра и солнца, сейчас задумчиво и серьезно.

– Может, все дело в колокольчике? – спрашиваю я. – Он сбивает ее с толку?

Стюарт хмурится.

– К тому же и место здесь новое. Но дело не в этом, просто она еще не готова, Хелен. Пока не готова. – Он внимательно прощупывает птичью грудину. – Ей надо похудеть. Толстовата. Ты, кроме кролика, ничего ей не даешь?

Я с жалким видом киваю.

Стюарт смотрит на меня в раздумье.

– Вот что я тебе скажу, Хелен. Пойдем завтра вместе на холм. Я буду тренировать сокола. Выпустим твою птицу полетать на поле, подальше от улиц и домов. Ей нужен простор.

– Замечательная идея, Стюарт.

– Заеду за тобой в пять.

– Спасибо. Большое спасибо.

– Но ей надо немного похудеть, Хелен.

Мне предложили помощь, а я была не готова к собственной реакции на нее. Ведь я дрессировала десятки ястребов, учила сокольников делу начинающих, писала статьи, читала лекции об истории этого древнего занятия, но сейчас мне пришлось склонить голову перед Стюартом. Он знал, что делать. Он разбирался в тетеревятниках, а я нет. И я расслабилась, с облегчением поняв, что от меня больше не требуется быть экспертом. Стюарт стоял, вертя в руках сигарету, спокойный и доброжелательный, а я

чувствовала поддержку настоящего верного друга. И в этот момент на краю деревенского игрового поля я с благодарностью вновь стала ученицей, которая видит ястреба первый раз в жизни.

«Чтобы тебя любили, нужно доминировать», – записал Уайт в дневнике. Но у этой мысли есть продолжение, так им и не сформулированное: что, если ты доминируешь, а тебя все равно не любят? Уайт радовался: Тет пролетел на шнуре целых сто шагов и готов к свободному полету. Теперь сокольник с полным правом может сказать, что он обучил ястреба. Но к его триумфу примешивалось и весьма неприятное чувство. С того момента, как Уайту привезли ястреба, он впервые осознал, что открыт для критики. Учеником быть намного безопаснее. Когда учишься ремеслу, нет смысла особенно беспокоиться, хорошо у тебя получается или нет. Но когда ты уже добился успеха, научился что-то делать, об успокоенности не может быть и речи. Раз уж ты специалист, изволь соответствовать. В дневнике, где Уайт рассказывал о занятиях с Тетом, стали появляться упоминания возможных критиков, записи о том, как было бы желательно «избежать внушающих опасения ударов». Уайт счел своим долгом объяснить: его гордость от успеха – это не эгоизм, а «поистине крайнее удивление», вызванное тем, что он наконец научился «делать что-то правильно, прожив неправильно целых тридцать лет». Однако авторитарные личности, подавлявшие и пугавшие Уайта в течение всей его жизни, слились в единый образ старого сокольника с загнутыми кверху вощеными усами, который прочтет его книгу и назовет автора дураком. Уайт хотел объяснить этому человеку, что написанная им книга – это всего лишь работа ученика. Потому и слова в дневнике звучат как заклинание:

«Тщу себя надеждой, что книга эта окажется незамеченной теми аустрингерами, с одной стороны, и теми критиками – с другой, кто понимает, что безразличие и пренебрежение иногда бывают самым смертоносным оружием. Тщу себя надеждой, что некоторые поймут, что я лишь человек».

Он лишь человек. Успех стал для него бременем, которое он едва может вынести. У него внутри все кипит. Даже не отдавая себе отчета, Уайт начинает отказываться от собственного достижения – ему не выдержать успеха. Все просто.

Стюарт сворачивает на проселочную дорогу, ведущую из города на запад. Вечер теплый, но вокруг солнца все бело, словно в небе раскиданы клочки рваной бумаги, и это предвещает мороз. Я снимаю с Мэйбл клубок.

Ее почти бесцветные глаза глядят на холм, покрытый жнивьем и меловой валунной глиной, на склоны, прорезанные живыми изгородями, края которых завиваются, словно клочки тафты из переливчатого шелка. Птица видит засохшую ворсянку и проволочное ограждение. Поющих над головой жаворонков. Валяющийся у меня под ногами двенадцатимиллиметровый патрон от дробовика. *Красный*. Птица смотрит на него, потом поднимает взгляд и замечает что-то вдалеке, через три поля от нас, с радостью изумляясь такому огромному миру. Когда Стюарт берет ее на руку, она отшатывается, втянув голову в плечи и уставившись на него с почти комическим ужасом. Но вскоре расслабляется. Несмотря на всю странность этого незнакомца, Мэйбл чувствует его доброту, непринужденность и умение обращаться с птицами, и это действует на нее успокаивающе. Мы разматываем тренировочный шнур и начинаем подзывать ее через все поле. Конечно, летит она плохо. Я замечаю момент, когда по пути ко мне она внутренне вздрагивает, ее спокойствие и доверчивость исчезают, и я превращаюсь в ее глазах в страшное чудовище. И вновь, потянув за шнур, я сажаю ее на землю. Птичьи лапы погружаются в крошащуюся глину, и Мэйбл с изумлением смотрит, как они медленно исчезают в почве.

Со мной Стюарт ведет себя твердо. Говорит, что птица должна быть больше нацеленной на охоту. Мысль, которую мне трудно вынести. Заставляю его поклясться, что ночью моя питомица не умрет от голода.

– Конечно, не умрет, – отвечает он, и его голубые глаза сощуриваются не то в улыбке, не то в раздражении.

– Ты *уверен*? – делаю я жалкую попытку. – А вдруг я ее уморю!

Протянув руку, он щупает птичью грудину, грудную клетку, мышцы под крыльями.

– С ней *все в порядке*, Хелен.

– Честное слово?

– Да.

Тащусь к машине, глядя себе под ноги.

Вдруг Стюарт останавливается как вкопанный.

– Что случилось?

– Вот это да! – говорит он. – Ты только посмотри!

– Куда? – спрашиваю я, прикрывая ладонью глаза. – Я ничего не вижу.

– Смотри в сторону солнца.

– Смотрю.

– А теперь *вниз*.

И тут я замечаю, что голое поле, на котором мы тренировали Мэйбл,

сплошь покрыто осенней паутиной – миллионами блестящих нитей, причесанных ветром на каждом сантиметре почвы. Освещенный заходящим солнцем, этот трепещущий шелк волнуется, точно серебристая водная рябь, доходя до моих ног. Эта неземная красота – работа миллионов малюсеньких паучков, ищущих себе новый дом. Каждый из них сплел шелковую ниточку и выпустил ее в воздух, чтобы улететь из того места, где вылупился. Бесстрашные воздухоплаватели взмывают вверх, ветер несет их, разметает по окрестностям и бросает на землю. Я долго не могу оторвать от поля глаз. Вспоминается осенний вечер во время прошлогодней поездки в Узбекистан. Я сидела на земле у палатки, гадая, откуда идет жуткое зловоние – от разлагающегося трупа коровы или кое-чего похуже. Передо мной на много километров вперед простирались болота и пустыни, а еще дальше, исчезая в туманной дымке, возвышался Ферганский хребет. Вдруг я увидела странное явление: в воздухе зависло что-то непонятное, какие-то белые вопросительные знаки, которые удивительным образом не подчинялись законам физики. Ветра не было, однако они колыхались, опускались и поднимались со сверхъестественной медлительностью. Что это такое, черт побери? Я побежала к одной такой закорючке. Придвинулась к ней как можно ближе, так что она оказалась в нескольких сантиметрах от моего носа, но все равно не могла определить, что это такое. Длинной она была от моего запястья до кончика среднего пальца, белая и извивающаяся, как макаронина. Из чего она сделана – непонятно. На ум пришли манна, сода, пепел и аэрозольный серпантин. Но когда я вгляделась очень-очень внимательно, а закорючка очень-очень медленно поползла вверх, в основании этого белого пенистого завитка я различила почти невидимую нить. И в самом низу этой нити сидел малюсенький паучок.

На следующий день я оставила Мэйбл дома и поехала на поезде в Лондон. Мне не хотелось ее оставлять и не хотелось ехать. После смерти папы город жил в моей памяти, как бледный, болезненный призрак под громоздящимися тучами. Но теперь, поворачивая за угол Флит-стрит, я обнаружила, что он уже не такой пустынный. Это был мрачный, непостижимый муравейник, построенный из мусора и стекла, с банкирами и трейдерами, которые снуют по глубоко прорезанным в муравейнике улицам. Подоконники, заграждения, проезды. Забитые водосточные желоба, противоприсадные шипы, тротуары, испещренные пятнами затоптанной жвачки. И неожиданно – церковь Сент-Брайд, забранная оградой и стоящая на возвышении из камня с зеленоватыми вкраплениями.

У двери меня ждали фоторедактор из папиной газеты, мама и брат. Редактора я раньше не видела. Жесткий взгляд голубых глаз, лицо кулачного бойца, крепкое рукопожатие, костюм в тонкую полоску. Встречу устроил он: газета заказала поминальную службу по отцу, и мы пришли обсудить ее со священником. Пройдя в комнату для собраний прихожан, мы решали, какие выбрать псалмы, отрывки из Евангелия и песнопения, кому выслать приглашения, кто будет говорить. Я сказала, что хотела бы выступить. Мы побеседовали еще немного. Мама в сером свитере и розовой жилетке сидела очень прямо – аккуратно причесанные волосы, бледное, напряженное лицо. *Мамочка*. Джеймс казался еще бледнее. Он быстро улыбнулся мне одними губами. В глазах у меня защипало. Джеймс сказал священнику: «Я работаю дизайнером и мог бы помочь в проведении службы, как вы думаете?» Священник кивнул и подтолкнул через стол в нашу сторону несколько отпечатанных буклетов. «Эти остались после прошлых поминальных служб, – сказал он, непроизвольно склонив голову с заботливым сочувствием. – Может, они вам пригодятся». Я взяла ближайший. С обложки мне улыбался незнакомец средних лет с изображенной на галстук фортепьянной клавиатурой. Я долго разглядывала его лицо, с силой прижав подушечку пальца к уголку жесткой обложки, чтобы этот маленький очаг боли отвлек меня от той боли, что скрывалась в сердце.

Когда мы собрались уходить, священник вручил каждому из нас свою визитную карточку. Визитная карточка. *Абсурд*. Галстук. Неадекватность. *Всего. Всего этого*. Я снова оглядела комнату. Светодиодные ленты и доски объявлений, вешалки и факсы. Дневники и расписания. Кабинет смерти. Почувствовала, что вот-вот расхохочусь. Попыталась сдержаться. Получилось что-то вроде натужного кашля. Такое со мной уже случалось. Сидя в вольтеровских креслах похоронного бюро перед небольшой вазой с розами оранжево-розоватого цвета, мы с мамой должны были выбрать для папы гроб. Тусклое освещение. Тесная комната. Гнетущая тишина. Гробовщик дал нам ламинированную папку, и она раскрылась на странице, где рекламировались гробы, раскрашенные в цвета футбольных команд, гробы с фотографически точными изображениями «Спитфайров», полей для гольфа, саксофонов и поездов. Помню, мы тогда рассмеялись точно таким же смехом. Перед лицом смерти наши мелкие жизненные радости, вроде картинок на гробах и галстука с клавиатурой, становятся нелепыми, а визитная карточка превращает поминальную службу в обыденность. Мы рассмеялись, потому что невозможно было вплести эти символы жизни в факт смерти. И нынче мне тоже не оставалось ничего другого.

По дороге домой меня заполонило обыкновенное человеческое горе. Мне не хватало папы. Очень не хватало. Поезд сделал поворот, и на окно упали солнечные лучи, загородив мелькающие поля сеткой серебристого света. От этого сияния я закрыла глаза и вспомнила шелковую паучью паутинку. Ведь я прошла по ней, ничего не заметив. Даже понятия не имела, что она там есть. И мне подумалось, что, быть может, пустота и неправота мира – это лишь иллюзия, а на самом деле в мире существуют реальные, правильные, прекрасные вещи, пусть я их и не вижу, но, если мне повезет и я окажусь там, где нужно, у меня наконец откроются глаза. Должно быть, это солнце на стекле, память о серебристом поле, мой смех и доброта утренней встречи ослабили броню молчания, которую я носила уже не один месяц: больше я не испытывала злобы.

В тот вечер, когда мы ехали к холму, я тихо сказала Стюарту:

– Стюарт, у меня все получается как-то не так. Наверное, я немного не в себе.

– Ты потеряла отца, Хелен, – ответил он.

– Я обучаю ястреба-тетеревятника. Это довольно нервная работа.

– Ты потеряла отца. А с обучением все в порядке. Может, ты сама и не видишь, но мне-то уж поверь. Скоро твоя птица будет летать без привязи. Осталось совсем немного, Хелен. Не мучай себя.

Со Стюартом я поделилась не всем. Не призналась, что у меня не оплачены счета и банк присылает строгие письма, что мои ночи превратились в кошмар, а по утрам я рыдаю. Но кое-что я все-таки сказала. Потом я перевела взгляд на Мэйбл. Ее голова поникла, и под клобучком птица казалась невыразимо печальной. Я погладила ее неровные, в змеиных чешуйках пальцы. Она спала. Я тихонько прикоснулась к клобучку, и моя рука ощутила тяжесть ее склоненной во сне головы. «Может, попросить Стюарта отвезти нас домой?» – подумала я. На меня навалилась ужасная усталость, и, казалось, нет никакого смысла заниматься дрессировкой. Но когда, поднявшись на холм, я сняла клобучок, Стюарт сразу обратил внимание на неожиданно напряженную позу Мэйбл, распушившиеся блеклые перышки вокруг пальцев, приподнятый хохолок, властную балансирующую хватку и, приподняв брови, спросил:

– Сколько она весит?

– Четыреста восемьдесят граммов.

– Ты только погляди! Это же совсем другая птица!

Так и было. Я начала с подзывов. Не надеялась, что Мэйбл откликнется, но все равно подзывала. И она полетела. Полетела, как будто

решила сдержать обещание. С расстояния в пятьдесят шагов она помчалась ко мне, хлопая крыльями, над землей, покрытой кремневой галькой, ударила лапами в перчатку и осталась сидеть на руке. Я передала ее Стюарту и снова позвала. Трижды она уверенно летела на мою руку на всю длину шнура. У нее не возникало никакого сомнения или испуга. Мэйбл летела ко мне, как к себе домой.

– Ты нашла ее полетный вес, – похвалил меня Стюарт. – Еще несколько дней – и можно будет отпускать.

Конечно, он был прав. В течение многих недель я неверно определяла полетный вес Мэйбл. Но внимание осиротевшего человека к собственной персоне слишком велико. Я решила, что птица летит ко мне, потому что я смогла признаться Стюарту в своем подавленном состоянии. И мне сразу стало легче. По этой же причине ястреб перестал меня бояться. «Я должна попытаться стать счастливее, – сказала я себе. – Ради Мэйбл».

Глава 16

Дождь



Уайт мастерит ловушку. Дело это нелегкое. Но ему интересно проверить правильность древнего способа. Он очистил ясеневый прут от коры и согнул его в дугу. Приделал кожаные петли, покрыл почти трехметровой сетью с узелками, какую используют, чтобы птицы не клевали клубнику на грядках, и таким образом сделал ловушку, которую использовали еще старые сокольники. В качестве манка он привязал черного дрозда и теперь думает поймать ястреба в лесу «Три парка». По крайней мере попытается. В первый раз он увидел ястребов месяц назад и до сих пор не может забыть. На тетеревятников они не походили – маленькие, быстрые, узкокрылые. Высший пилотаж. Они летели с идеальным креном вокруг дерева, почти соприкасаясь кончиками крыльев, в точности как самолет вокруг ориентирных вышек во время воздушных состязаний в Хэтфилде. Мечта авиатора, мечта о будущем. Уайт тянется за катушкой бечевки: с ее помощью он набросит на ястреба сеть, которая не даст птице подняться с земли. Уайт вспоминает свой давний кошмарный сон. Будто бы, убегая в ужасе от банды головорезов, он прыгает в аэроплан и взмывает в воздух, к своему спасению. Но там его подстерегает опасность – телеграфные провода, перекрывающие путь к свободе. Уайт не знает точно, каких птиц собирается ловить. Но это явно не пустельга. Поймать сапсана тоже надежды мало. Скорее всего придется рассчитывать на ястребов-перепелятников.

Однако птицы, которых Уайт заметил в лесу, не ястребы-перепелятники. Это чеглоки. Небольшие мигрирующие соколы с темно-рыжими «штанами» и тонкими белыми бровями. В тридцатых годах, в отличие от нынешних времен, они встречались крайне редко. Чеглоки ловят мелких птичек и насекомых на лету, так что едва ли Уайту удалось

бы поймать чеглока на манок в виде черного дрозда, привязанного к земле. Но Уайт считал, что видел в лесу ястребов-перепелятников, и поэтому построил для себя укрытие из веток, а метрах в четырех-пяти от него установил ловушку, замаскировав ее землей и листьями. Он отдавал себе отчет, что забросил Тета. Перепелятники стали его новым безумным увлечением, его «сумасшедшим эльдорадо». Себе он объяснял, что якобы ловит птицу для своего бывшего ученика Питера Лоу, который потерял ручного ястреба-перепелятника. Другое объяснение сводилось к тому, что обучение Тета оказалось слишком легким делом, так что теперь ему надо попробовать свои силы в решении более сложной задачи.

Сейчас я думаю, что попытка раздобыть новых ястребов была для Уайта последним испытанием его привязанности к Тету. Он вел себя, как трус: наконец ему удалось добиться чьей-то любви, но он побоялся ей довериться и предпочел найти другое увлечение. Но надо сказать, что в детстве я не могла понять его поступка. «ПОЧЕМУ? – восклицала я. – Почему он забросил тетеревятника? Я бы так НИКОГДА не поступила». Мама протирала зеркало в ванной, и мне было видно отражение ее лица, а за ним – моего собственного, бледного и возмущенного. Тогда я впервые читала книгу Уайта и как раз дошла до перепелятников. Я так расстроилась, что просто не могла читать дальше, и, выскочив из постели, отправилась к маме за поддержкой.

– Ты говоришь про ту книгу о ястребе-тетеревятнике, о которой уже мне рассказывала?

– Да! Он уже обучил тетеревятника летать без привязи и вдруг начал делать ловушки, чтобы поймать перепелятников. Уходит из дома и бросает тетеревятника одного. Это же глупо!

Мама долго молчала.

– Может, он устал от тетеревятника? – наконец предположила она. Теперь она терла раковину.

Это уже звучало совершенно бессмысленно.

– Разве можно устать от ястреба?

Заметив, что я расстроена, мама положила тряпку и обняла меня.

– Не знаю, Хелен. Может, он просто недалекий человек.

Небольшая хищная голова в пятнышках, полосках и пестринках, как у кошки, с удивлением вертится в разные стороны. Обычно все бывает не так. Острый черный клюв открывается и закрывается. Он голоден. Прыгает по ограде вокруг колодца, крепко цепляясь когтями за край. Осыпаются кусочки ржавчины. Хочется есть. Он прыгает дальше, глядя

вниз на длинный тренировочный шнур, но так и не находит на его конце человека, который всегда там стоит.

Где тот человек? Тету нужен был обзор, и он взлетел на ближайшее дерево. Одна ветка росла как раз над ним. Он подлетел к ней. Но ястребы не любят сидеть низко, если есть возможность подняться повыше, поэтому он запрыгнул на ветку, вскарабкался на следующую, потом еще выше, еще и еще, словно по лестнице, таща за собой шнур. Вскоре он уже сидел на самой верхушке дуба, куда никто не мог залезть, кроме него, и мир вокруг был как на ладони – небо, пестревшее голубями, спускавшиеся в сторону Стоу поля, крыша дворца и мерцающие на солнце пруды, все обелиски, храмы и классические аллеи, все, доступное глазу, что было встроено человеком в природный ландшафт двести лет назад. Маленькое ястребиное личико было опущено вниз, и ястреб осматривал открывшийся вид – великолепный вид, – как будто его и создали лишь ради этой красоты.

Уайт оставил Тета на ограде всего на минутку. Он услышал звук фермерской машины и побежал через поле рассказать миссис Уилер о своем новом радиоприемнике. Вернувшись, он обнаружил, что Тет сидит не на ограде колодца, а на макушке дерева, похожий на еле заметную тень на фоне неба, а бечевка запуталась среди мелких веточек и сучьев под ним. Уайт принялся свистеть, размахивать кормом, но ястреб не шевелился. В панике Уайт потянул за шнур, но птица сразу начала биться и хлопать крыльями, отчего запуталась еще больше. Уайт забеспокоился, что тренировочный шнур не выдержит. «Бечевка оказалась непрочной, – писал он, – и уже дважды рвалась». Ястребу было некуда деться. Не зная, что предпринять, Уайт позвал на помощь. Но когда явился фермерский сын в белой рубашке и с лестницей, ястреб начал биться еще сильнее. Вскоре он уже висел вниз головой, точно кокон на истрепанной веревке, и, пытаясь освободиться, ломал себе перья. В конце концов Тет понял, что бороться бесполезно – изможденный, неподвижный, он походил на огромную пернатую муху, застрявшую в просмоленной спутанной паутине. Прошло полтора часа, прежде чем Уайт высвободил опутенки с помощью шуруп-крюка, прикрепленного к концу удочки, на которую обычно ловил лосося, стащил птицу на землю и посадил себе на руку. «Ах ты, треклятый маленький негодник!» – зашипел Уайт на Тета. А тот злобно посмотрел на него. «Как будто я во всем виноват», – удивлялся Уайт.

Всего несколько дней, и я отпущу ее в свободный полет. Всего несколько дней. Но тут начинаются летние грозы, и холодная вода льет потоками, бьется в асфальт, закидывает крышу мелкими веточками и

листьями. Погода – хуже не придумаешь. Поэтому вместо того, чтобы идти на холм, мы с Мэйбл тренируемся в парке. Я привязываю вертлюг к шнуру и тяну птицу на землю. Она прыжком садится на траву, пятится и, злобно нахохлившись, смотрит на меня снизу вверх. Тогда я кладу кусочек пищи на перчатку и поднимаю руку, а Мэйбл взлетает вертикально вверх, чтобы склевать еду. Мы проделываем такой трюк снова и снова. Подлеты снизу вверх давно практикуются сокольниками для развития птичьих мышц в относительно закрытых пространствах. Для ястреба это хорошее упражнение, к тому же приятное. Но и довольно сложное: Мэйбл – птица на редкость быстрая. Мы с ней далеко продвинулись с тех пор, как гуляли в сумерках по кембриджским улицам. Но в наших упражнениях есть что-то от уличного представления, привлекающее зевак. Вот и сегодня вечером люди остановились полукругом метрах в шести от нас. Мать девочки наклонилась к дочери и, указывая на ястреба, шепчет: «Смотри, какая царственная птица». Мэйбл совсем не царственная, она заглатывает куски цыпленка, которому от роду один день, со странным, захлебывающимся писком. Рядом с матерью и дочкой стоит водитель автобуса, направлявшийся в депо, два подростка в капюшонах и девушка, которая фотографирует нас на мобильник. Но мне они не мешают, потому что я сосредоточена на одном: *трава, перчатка; трава, перчатка; трава, перчатка, трава.* Этот ритм вторит ударам сердца. Толпа постепенно расходится.

Потом я слегла с температурой. Болезнь уничтожает все цели, в том числе и все закупки для Мэйбл. Я кормлю птицу на диване, сажаю обратно на присаду и смотрю, как она медленно уносится в те края, где обитают сытые ястребы. Это очень далеко. Машу рукой перед ее лицом, но, похоже, она меня даже не видит. Ее глаза кажутся настолько лишенными всяких мыслей и эмоций, как будто это два металлических диска или кружочки, вырезанные из неба. *О чем она думает? Что ей видится?* Интересно было бы знать. Опускаю веки и пытаюсь догадаться. Кровь – это точно. Дым, ветки, мокрые перья. Снег. Сосновые иголки. Еще кровь. Меня трясет. Проходят дни, но лихорадка не отпускает. Дождь тоже не прекращается, и в доме становится сыро. Протечки расплзаются по стенам в холле и гостиной, как огромные пятна крови. В доме пахнет стоячей водой из угольного подвала, ястребиным пометом и грязью. Нет никакого движения, никакого улучшения, никаких перемен. До болезни, собираясь съезжать, я складывала вещи в коробки, хотя, признаться, до сих пор не знаю, где буду жить, когда лишусь этого дома. В пустой комнате наверху в приступе горького отчаяния я мастерю укрытие из старой картонной коробки для

одежды и забираюсь внутрь. Темно. Меня никто не видит. *Никто не знает, где я. Теперь мне не страшно.* Сворачиваюсь комочком, чтобы меня не нашли. Даже больная я понимаю, что такое поведение, мягко говоря, странно. «Я не сумасшедшая, – говорю я себе. – Просто заболела. Вот и все».

Глава 17

Жара



За дождливыми днями следуют жаркие – бесконечная бессонница, пустые ночи. Еще только три часа, а с улицы снова и снова раздается хриплый театральный шепот какой-то женщины: «Уильям, Уильям!» Не понимаю, зачем шептать, если ты колотишь в дверь этого Уильяма с таким грохотом, что перебудила всю улицу. Ясно, что уснуть не удастся, поэтому я иду вниз – пробираюсь на цыпочках мимо спящего ястреба и выхожу на улицу. Там, сев на перевернутый цветочный горшок, закуриваю сигарету. Густая чернота, ясные звезды – таким небо бывает в конце лета. Последние два дня Мэйбл летала прекрасно. За пятьдесят шагов моментально подлетала на мою поднятую руку. Теперь все быстро приближается к решающей точке. Точке в смысле времени. Точке в смысле цели. Точке в смысле острия, от которого больно. Отпустить ястреба в свободный полет, не сдерживаемый шнуром, когда ничто не мешает этому стремительному полету, кроме возникших между нами связей – не физических, а тех, что основаны на привычке, чувстве голода, товариществе, дружбе. На том, что старые сокольники называли бы любовью. Отпускать ястреба всегда страшно. Тут-то и проверяются эти связи. Но особенно трудно решиться, когда потеряна вера в окружающий мир и сердце превратилось в сгоревшие угольки.

Когда наступает более приличное время, я плетусь в город выпить кофе. За ночь парк разгромили. Разбушевавшиеся пьяные юнцы выдрали из клумб большие охапки цветов. Все саженцы лип вдоль тропинки выдраны и разломаны пополам. Глядя на кучу увядших мятых ноготков, я думаю, что, может, они приживутся, если их опять посадить. Но, похоже, корни высохли, да и листья уже свернулись, так что я иду дальше в кафе, сажусь за столик у окна с газетой и чашкой кофе. В газете статья об изменении климата. Беспрецедентное летнее таяние снегов в Арктике. Открылся

Северо-Западный проход. Тает вечная мерзлота. Гибнут экосистемы. Новости ужасные и очень важные. Но я не могу сосредоточиться на статье: все время отрываюсь, потому что за окном тянется какая-то очередь. Она не похожа на очередь за билетами или очередь в аэропорту. Таких очередей я вообще никогда не видела. Женщина с идеально прямыми стриженными седыми волосами и плотно сжатыми губами держит папку с бумагами. И человек рядом с ней стоит с такой же папкой. Оба смотрят в пространство и не говорят ни слова. Сначала за их молчанием я не замечаю паники, но постепенно понимаю, что это именно паника. Когда женщина проходит мимо моего столика, я спрашиваю баристу Дагмару, не знает ли она, что там происходит. Дагмара пожимает плечами: «Я спросила одного. Говорит, банк обанкротился. «Северная скала». И все хотят снять деньги». Нахмурившись, рассматриваю неподвижную вереницу людей. Что-то в них напоминает мне Мэйбл, когда она прикрывает крыльями свою пищу. *Мое. Мое, мое, мое.* Раньше мне не приходилось видеть обанкротившийся банк. Это что-то из историй про Дикий Запад или сообщения в серых растрепанных газетах веймарского Берлина. Когда я училась на последнем курсе университета, нам говорили, что история кончилась – и мы верили. С падением Берлинской стены то, из чего делалась история, прекратило свое существование. Не было больше холодной войны. Да и вообще никаких войн. И все же вот оно – все опять разваливается на части. Конец. Распад. Природные системы, банковские системы, ухоженные заботливыми садовниками муниципальные парки. Семьи, сердца, жизни. Далекie войны и разломанные пополам маленькие деревца. И я чувствую в этой людской очереди яростный собственнический инстинкт, скрытый ужас при мысли, что бастионы, защищающие их от смерти, могут разрушиться. Деньги. Безопасность. Узлы и связи. Конец вещей. Сидя в кафе над чашкой остывающего кофе, я впервые серьезно задумываюсь о том, что же я делаю. Что собираюсь делать со своим ястребом. Убивать. Нести смерть.

Я многие годы охотилась с ястребами, но тогда смерть для меня ничего не значила. Наверное, я, в сущности, все еще оставалась ребенком. Мне даже в голову не приходило, что то, чем я занимаюсь, жестоко. Я была зрителем, а не убийцей. Дикие ястребы охотятся – вот и мой тоже. Казалось, в нравственном отношении, между ними нет никакой значимой разницы. И охота для меня означала наслаждение ястребиным полетом, а не смертью, которую он несет с собой. Но я радовалась, когда мой ястреб ловил своих жертв, – отчасти за ястреба, а отчасти потому, что еще маленькой девочкой включила себя в тот фантастический мир викторианских сокольников в твидовых пиджаках, где грубая смерть всегда

была обставлена ритуальными формальностями. В те годы, наблюдая, как кто-нибудь из тех людей с ястребом-тетеревятником на руке кладет в сумку мертвого фазана, я ощущала в его действиях легкую непринужденность, на протяжении веков свидетельствующую о социальном превосходстве и уверенности охотника.

А профессиональные названия, которые я нашла в книгах и выучила наизусть, отдаляли меня от идеи смерти. Обученные ястребы ловят не животных. Они ловят добычу. Другое поразительное слово – дичь. Я тихо сидела, смотрела на очередь и размышляла. Буду ли я охотиться с этим ястребом? Конечно, буду. Дрессировать ястреба-тетеревятника, а потом не давать ему охотиться – это все равно, что воспитывать ребенка и не давать ему играть. Но птица была нужна мне по другой причине. Для меня она являлась средоточием света, жизни и надежности в этом мире. Каждая ее частичка кипела жизнью, и на расстоянии казалось, что вокруг нее струйки пара волнами поднимаются вверх, и поэтому все ее окружение виделось немного размытым, она же выделялась своей пронзительной телесной конкретностью. Ястреб был огнем, сжигающим мою боль. У птицы не могло быть ни сожалений, ни скорби. Ни прошлого, ни будущего. Она жила лишь настоящим, и в этом заключалось мое спасение. Ее полосатые хлопающие перья помогли мне убежать от смерти. Но я забыла, что загадка, именуемая смертью, крылась в самом ястребе. И в этом же ястребе попыталась найти укрытие и я.

«Я остаюсь для него врагом, которого он едва терпит, а он для меня всегда вестник смерти, – писал Уайт о Тете в своей тетрадке. – Смерть будет последним, с чем я не смогу справиться». Уайт перестал заниматься ястребом, и тот снова одичал, стал для него смертью, потому что смерть не победишь. Шесть недель он боролся с птицей, и борьба эта напоминала схватку Иакова с ангелом. «Я жил для этого ястреба, – в отчаянии писал он. – Сам наполовину превратился в птицу, ради его будущего переключил свою любовь, интересы, весь уклад жизни, оставляя в залог судьбе самое дорогое, не раздумывая, как делают супруги или заботливые родные. Если ястреб умрет, все мое теперешнее «я» умрет вместе с ним. Сегодня он вел себя со мной так, словно я опасный и грубый враг, которого он раньше не видел».

Наверное, последний удар Уайт получил просто от изнурения. Ястреб победил. Уайт больше не мог бороться. Но, думаю, за этим стояло нечто большее, гораздо большее. Размышляя о трагедии с Тетом, я вспоминаю маленького мальчика в далекой Индии, который стоит перед игрушечным деревянным замком – подарком отца ко дню рождения. Замок большой, в

него даже можно забраться, и отец прикрепил к стене с бойницами настоящий пистолетный ствол. Оттуда должен прогреметь салют в честь дня рождения мальчика, но мальчик смотрит на ствол с ужасом. Отец велел встать напротив замка, и ребенок понимает, что его ждет казнь. Сделать ничего нельзя. Мальчик бессилен. Он тихо и безутешно плачет, зная, что сейчас отец его застрелит, что ему суждено умереть.

Каково это жить в мире, где ты плачешь из-за того, что, как тебе кажется, отец убьет тебя в день рождения, в мире, где тебя бьют каждый день без всяких на то причин? Мир, где ты шлешь письмо матери в Индию, вложив в него свою фотографию, а она в ответном письме пишет, что твои губы «становятся слишком чувственными» и тебе надо сжимать их покрепче и, возможно, даже слегка придерживать зубами? Мне трудно представить детство Уайта, полное ужаса и позора, но я могу понять, что оно сформировало его взгляд на мир – мир, в котором царствует жестокость и правят диктаторы и безумцы. Я вижу, как этот беспомощный ребенок перед игрушечным замком так никогда и не перестал верить в собственную казнь.

Ибо не только боязнь успеха заставила Уайта отказаться от занятий с ястребом. В основе всей этой долгой истории лежало «вынужденное повторение» – термин Фрейда для обозначения необходимости заново переживать болезненный опыт, чтобы его преодолеть. Но с ястребом такое повторное переживание становилось трагедией. «Он сходил с ума от страха, будучи, как все люди-хищники, по своей натуре глубоко пугливым», – писал Уайт о Тете. Что же сделал Уайт? Он взял птицу, дикую и свободную, невинную и полную жизни, и начал с ней бороться. Ценой его победы было бы превращение ястреба в собственную покорную тень с изломанными перьями и тусклым взглядом. Тетеревятнику положено летать, делая виражи над темными долинами и немецкими соснами, убивать и раздирать на части добычу и быть самим собой – частью дикой природы. Уайт полагал, что может приручить ястреба, не сломив его духа. Но он не пошел дальше бесконечных попыток. Уайт вспоминает, как ястреб запутался в ветвях дерева и висел там замотанный, бессильный, не в состоянии двинуться.

Это было сделано не нарочно. Все было сделано не нарочно. Но катастрофа оказалась неизбежной. Уайт видел в ястребе самого себя, «юношу, сведенного с ума неуклюжестью, лишениями, преследованиями». Однако он с ужасом понял, что в конце концов сам стал гонителем, несмотря на то, что сотни раз твердил себе об обратном. Ястреб был мальчиком, стоявшим у игрушечного замка. А Уайт превратился в отца. Он

превратился в собственного отца. В диктатора, а не в ястреба. Так великая трагедия шла к своему завершению, и последний удар, конечно, нанесли Уайту обычные чувства.

Низкие тучи быстро бегут над «райдингами». Льет дождь. Укрывшись от дождя и ветра, коровы лежат под деревьями. У них темные и мокрые бока, пар от дыхания поднимается в воздух. Уайт идет в сарай, где в тени на присаде привязан Тет. В душе у Уайта все сильнее чувство вины. Ястреб сидит там, куда его посадили. Он пленник. Поэтому Уайт ставит на землю у двери дугообразную присаду, привязывает к вертлюгу Тета тридцатиметровую бечевку – непрочную, которая уже дважды рвалась, опасную, плохого качества, а другой ее конец – к присаде в сарае. Таким образом, говорит себе Уайт, ястреб сможет вылетать наружу и возвращаться обратно, когда захочет. Довольный, что предоставил птице больше свободы, Уайт возвращается домой.

Дождь не прекращается. В такой день не пойдешь ловить ястребов. Это день для отдыха. Он посвятит его Тету. Будет прогуливаться с ним по кухне, кормить кусочками вкусного мяса, заставит его снова полюбить хозяина. Тет любит музыку – он включит ему песни по радио. Но радио не ловит. Тогда Уайт едет на велосипеде к Тому и просит разрешения позвонить по телефону в магазин. Заказывает новую батарейку. Потом возвращается домой. Дождь и грачи. Человек на велосипеде под пронизывающим ветром решил, что сегодня он должен заняться мелкими делами. Большие – слишком сложны. Пожалуй, он перекрасит деревянную дверь с косяком в коридоре, а потом, может, заодно и кухонную дверь. Закончив дверь в коридоре, он оглядывает ее критическим глазом. Выглядит неплохо. Теперь кухонная. «Синяя краска», – решает он. Его отец любил яркие, контрастные цвета. Уайт знает, что унаследовал этот порок. Он идет в сарай за краской. Тет бросается от него в сторону, взлетает на стропила, а потом вылетает в открытую дверь. Выйдя из сарая с банкой краски в руках, Уайт все еще надеется увидеть ястреба на присаде. Но присада пуста. Тета нет. Его ястреб улетел. Тет исчез, и на земле валяется один лишь оборванный кусок бечевки.

**Часть
вторая**



Глава 18

Свободный полет



Сегодня вечером. Погода в самый раз, как и вес моего ястреба. Я мотаюсь по дому, в нетерпении ожидая этого события и заполняя время мелкими повседневными делами. Радостно насвистывая, отскабливаю помет от искусственной кожи на полу, мою и сушу волосы. Но меня словно колет изнутри невидимая иголка, и постепенно волнение прорывается наружу. Сначала я без особой причины ругаюсь с мамой по телефону, потом, когда приезжает Кристина посмотреть на тренировку, я грублю ей уж и вовсе без всякого повода. Забирая с кухни свой охотничий жилет, я слышу, как Кристина что-то говорит о *пробке*, но пропускаю ее слова мимо ушей. А прислушаться стоило. Оказывается, на трассе A14 неподалеку от города произошла жуткая автокатастрофа. Стюарт в своем «лендровере» застрял, остановившись у столба на двухуровневой развязке. В небе среди клубов дыма ревели медицинские вертолеты. Стюарт позвонил. Сказал, что опаздывает из-за аварии, и все.

– Сейчас поеду на холм, – добавил он. – Ты там будешь?

– Да, – ответила я. – Увидимся через двадцать минут.

Однако катастрофа была настолько ужасная, что пришлось перекрыть не только главную дорогу, но и соседние. И в час пик весь поток транспорта Кембриджшира перенаправили через центр города. Спустя сорок минут мы отъехали от дома всего на четверть мили. Меня трясет от отчаяния. Бедная Кристина молча сидит сзади. Мэйбл бьется. Это просто невыносимо. Опять она бьется. Я кричу на нее. Птица, впрочем, не понимает, что крик адресован ей, и все же я ненавижу себя за этот срыв. Снова я виновата, и кроме того авария, вызвавшая такой коллапс, наверняка, действительно страшная. Мы сидим в напряжении, словно засунутые в стеклянный куб. Глубоко вздохнув, гляжу в окно. Какой прекрасный вечер! И от этого становится еще хуже. Слежу за скворцами,

летающими вокруг торгового центра, смотрю, как медленно заходит солнце и по его краям в спокойном воздухе возникает меховая опушка цвета голубиной грудки – от нежно-серого до бледно-розового. Включаю радио узнать о ситуации на дороге. Выключаю. Мэйбл снова бьется – она не привыкла ездить с постоянными остановками, когда мотор то и дело замолкает. Всякий раз, как она начинает биться, я испытываю еще больший стресс. Звоню по мобильнику Стюарту. Он уже ждет. У меня внутри все кипит. Едем в час по чайной ложке. Вдруг замечаю, что бензин почти на нуле – еще одна «приятная» новость. А время-то идет.

Когда мы добираемся до холма, я уже почти в ступоре. На вершине стоит «лендровер» Стюатра. Мы идем к нему. Темнеет. За те три минуты, что мы поднимаемся на холм, Мэйбл демонстрирует явное желание летать, и я начинаю приходить в себя. Но стоит Мэйбл увидеть нейлонового змея, которого запускает Стюарт, чтобы научить своего сокола летать еще выше, – стоит ей один лишь раз увидеть порхающий пестрый треугольник, как она переводит взгляд на меня и начинает биться. *Биться, биться, биться.*

Стюарт уговаривает меня не возвращаться домой. «Мы что-нибудь для нее придумаем, – говорит он. – Она утихомирится». Мэйбл и правда ведет себя немного тише. Я тоже успокаиваюсь. Пытаюсь расслабить сведенные плечи и глубоко втягиваю свежий воздух. Надо снять напряжение. Обычно в такой обстановке ястреба в свободный полет не отпускают. Было бы правильнее подзвать ее на кулак на тренировочном шнуре, потом отвязать и дать ей подлететь пару раз без него. И только после этого я стала бы напускать ее на добычу. Но в этом деле я полагаюсь на профессионализм Стюарта: он знает, как тренировать ястребов-тетеревятников, потому что много ими занимался.

Время идет. Сгущаются сумерки. Горизонт затянут дымом. Кособокий желтый месяц плавает, как будто не в фокусе, в небесной чашке Петри. Становится темнее. Порхают летучие мыши. Вокруг деревьев собирается тьма. У меня в кармане лежат вертлюг и должик Мэйбл. Я сменила ее опутенки на новые – тонкие, специально предназначенные для полета: они не зацепятся за сучья и ветки – и крепко держу их между пальцами в перчатке. Следуя указаниям Стюарта, я отошла подальше и теперь нахожусь на треугольном участке неровной почвы рядом с рощицей. Там плотно растет чертополох, и мы с Мэйбл идем, цепляясь за его высохшие головки. От волнения я не могу говорить. Меня раздражает происходящее, но я бессильна что-то изменить. Темно. Какого черта я тут делаю? У ястреба огромные зрачки, и глаза кажутся почти совсем черными. Все это

невероятно глупо. *Я хочу домой.* Но Стюарт, продвигаясь в мою сторону, начинает бить палкой по земле, шуршать в траве и чертополохе, чтобы вспугнуть спрятавшихся кроликов или фазанов и заставить их бежать к нам. Мэйбл должна их увидеть. *Все это нелепо. Я не хочу тут находиться и не понимаю, почему я должна его слушаться. Так я вообще могу потерять ястреба. Надо было...* Позади, чуть сбоку, заметно какое-то движение. Мэйбл смотрит туда, видит бегущее существо и сразу же бросается в его сторону. *Боже мой!* Я отпускаю ее. И тут же раскаиваюсь, что отпустила. Неожиданно птица чувствует, что свободна. Несколько секунд она летит, делая мощные взмахи крыльями, набрасывается на то место, где кто-то бежал, но где уже никого нет, а потом начинает кружить, поднимаясь вверх, словно ночная бабочка, гигантская ночная бабочка-ястреб. Она набирает высоту. Вокруг тихо, как бывает только ночью. Я вижу, как вытянутая голова Мэйбл поворачивается и смотрит на меня. На повороте ее хвост, изогнувшись, раскрывается веером. У меня почти помрачение рассудка. Чем дальше Мэйбл, тем мне больнее. А она все кружит и глядит на меня. Похоже, она сомневается, стоит ли ей возвращаться. Рядом со мной стоит Стюарт, немного поодаль Кристина. Я кричу и свищу птице. Темнота, кружение, неясные очертания – ничего этого она раньше не знала. Мэйбл пытается сообразить, что делать. Все ей внове – и местность, и угол наклона между нею наверху и землей внизу, где ее ждут рука и сердце Хелен.

В конце концов она усаживается спиной ко мне на верхушку молодой березы, и верхушка низко сгибается под тяжестью птицы. Мне видны лишь очертания птицы, угловатый абрис ее плеч, и я чувствую, что в этой непонятной ситуации она оживилась. Зову ее. Она спрыгивает со своей неудобной присады и летит сквозь темноту на мой поднятый кулак. Выглядит это довольно странно. Но, немного порвав перчатку, Мэйбл лишь отталкивается от нее и вновь начинает кружить. Наконец опять усаживается, но уже глубже в роще, хотя, к счастью, на этот раз лицом ко мне. Сквозь мрак и густую листву мне видны ее желтые ноздри и отчасти поза – поза пригнувшейся хищницы. Я знаю, что она за мной наблюдает. Поэтому поднимаю вверх кулак с цыпленком, потом кладу сверху еще одного и еще. Свищу. Зову: «Иди сюда, Мэйбл!» – живо и требовательно похлопывая по руке в перчатке.

И тогда место и время сплетаются в одно, вступив в прямую зависимость друг от друга. Получается такая тригонометрия: траектория планирования ястреба на мой кулак и преднамеренность этого действия, которую, несомненно, тоже можно вычислить математически. Мое

испуганное сердце колотится, а похолодевшая душа уподобляется воде, остывшей до четырех градусов и потому ставшей тяжелее льда и опустившейся на дно океана.

И вдруг птица вновь на моем кулаке. Такое ощущение, что меня окунули в холодную воду. Не могу поверить, что Мэйбл вернулась. Я чувствую себя начинающей, дурочкой, ученицей, совсем как Уайт. Идиоткой. «Ничего, – говорит Стюарт. Он понимает, что я с трудом держу себя в руках. И в темноте я замечаю его белозубую улыбку. – Птица перевозбудилась. Да и темно становится. Но она вернулась, так ведь? Значит, день закончился хорошо». Я едва могу говорить. Хриплю что-то в ответ. В моих жилах бесится адреналин, и, идя к машине, я сомневаюсь, что смогу доехать до дома.

Вокруг темно и сплошная вода. Уайт промок до нитки. Тета нигде не видно. Уайт прикрепляет кусочки кроличьего мяса во всех местах, где бывал ястреб. Они сродни молитвам, разноцветным ленточкам, которые язычники привязывают зимой к веточкам деревьев. Руки Уайта кажутся совсем белыми на фоне блестящей зелени и выветренной коры дубов, на которых нет его птицы. Крольчатина кончилась. Приманить Тета нечем. Только печень осталась. Надо бы попросить миссис Уилер купить для него в Бакингеме кусок мяса. Уайт прислушивается, стоя у двери фермерского дома. «Собирающиеся в стаю грачи или одинокая ворона, если она сидит на сухом суку, тревожно елозит и каркает, почти наверняка указывают, что улетевший ястреб где-то недалеко», – читал Уайт у Блейна. Но ничего похожего он не видит. Потом вдруг раздается одинокое и громкое карканье. *Вот оно!* Шагах в двухстах от него вокруг верхушки дерева кружится ворона, посылающая проклятия птице, сидящей внизу. Это Тет. Он устроился на самой высокой ветке и издалика кажется совсем маленьким. Знакомая фигура с округлыми плечами, нахохлившись, еле держится под сильным ветром. Уайт бежит к дереву, останавливается под ним и начинает размахивать платком и как приманкой куском печени. А вода тем временем затопляет раскинувшиеся поодаль поля. Дождь льет на лужайки, аллеи, храмы и обелиски Стоу, а Тет сидит на дереве, надменный, нерешительный и совершенно промокший, потому что из-за постоянного поглаживания Уайта с его перьев сошел жировой защитный слой. Ветер треплет сук, на котором сидит ястреб. Птице неудобно. Очень неудобно. И Тет расправляет крылья, намереваясь слететь вниз к человеку с кормом в руке. Он оставляет сук, разворачивается в воздухе и начинает спуск. Сердце Уайта бьется сильнее. Ястреб подлетает все ближе. Но тут сильнейший порыв ветра

подхватывает его под крылья, толкает назад, и ястреб, который еще не научился летать в бурю, уносится вместе с ветром и исчезает из виду.

В жизни человека бывает такой период, когда кажется, что в вашу жизнь постоянно входит что-то новое. Но потом в один прекрасный день наступает прозрение, и вы понимаете, что так будет далеко не всегда. Вы замечаете, что жизнь превращается в существование, полное пустот. Лишений. Потерь. Совсем недавно нечто было вполне реальным – и вот его уже нет. А еще вы понимаете, что надо выстраивать свое бытие среди этих утрат, хотя можно протянуть руку туда, где находились ваши пропажи, и почувствовать напряженную, сияющую беззвучность пространства, заполненного воспоминаниями.

В детстве мне повезло. До того момента, как однажды зимой я увидела смерть фазана в кустах живой изгороди, все, что я знала о смерти, было почерпнуто из книг – особенно из одной книги. И сейчас я смотрела на целую полку своих старых книг. Еще утром я забила машину коробками, усадила Мэйбл на присаду, устроенную на пассажирском кресле, и поехала к родителям на выходные. *К родителям.* Наверное, надо было сказать: к маме. Я оказалась у нее, потому что собралась переезжать. Один мой хороший друг предложил мне пожить в его доме, потому что он со всей семьей отправился на несколько месяцев в Китай. Я была им невероятно благодарна, но все равно меня крайне удручала мысль, что придется расстаться с моим прекрасным университетским домом. Коробки я сложила в гараже и теперь сидела с мамой на кухне, а Мэйбл бездельничала, загорала и чистила перышки на солнечной лужайке. Мы пили чай, предавались воспоминаниям, говорили о папе и о прошлых временах. Много смеялись. Я была рада увидеться с мамой. Но мне было нелегко. Мы сидели на стульях, на которых должен был бы сидеть отец, пили из чашек, из которых он пил, а когда я увидела его аккуратный почерк на записке, пришпиленной к двери черного хода, мне стало совсем худо. Совсем. Я убежала в свою бывшую комнату и села, обхватив колени, на маленькую кровать. Боль, похожая на существо с миллионом мелких зубов и когтей, раздирала мне грудь.

Я взглянула на верхнюю книжную полку. Там, пыльные и нечитанные годами, стояли книги о животных из моего детства. Как я их любила! Сколько в них было картин дикой природы, приключений, возможности скрыться от обыденности! Но одновременно я их и ненавидела. Потому что они всегда заканчивались плохо. Выдру Тарку из романа Генри Уильямсона загрызли собаки. Соколы умерли от отравления пестицидами. Человек с

лопатой забил до смерти выдру из «Круга чистой воды», в повести Стейнбека стервятники выклевали глаза рыжему пони, молодого оленя в книге Марджори Роулингс «Олененок» застрелили, пес в «Старом брехуне» Фреца Гипсона умер. Как и паучиха в «Паутинке Шарлотты» Элвина Б. Уайта, и мой любимый кролик в «Обитателях холмов» Ричарда Адамса. Помню свой нарастающий страх по мере того, как в каждой новой книге про животных становилось все меньше непрочитанных страниц. Я предвидела, что случится в конце. И никогда не ошибалась. Поэтому, наверное, меня, восьмилетнюю девочку, ничуть не удивило, что Тет оторвался и пропал среди дождя и ветра. Я встретила такой конец с грустным смирением. Но он все равно был ужасен.

Впрочем, тогда я еще не дрессировала ястребов. И не знала, что такое утрата. Чувства Уайта были мне незнакомы. Теперь все иначе. Сидя на кровати, я ощущала такую тяжесть, точно целая гора навалилась на грудь. Впервые я осознала ту огромную пустоту, которая заполнила его ужаснувшееся сердце. «Удар был настолько оглушительный, настолько окончательный после шести недель неизменной веры, что оказался вне моего понимания. Такой будет смерть – нечто слишком огромное, а потому не способное вызвать сильную боль или даже обычное огорчение».

Сердце Уайта разорвано на части. Голубь в его руке застыл от ужаса. Вместо птицы он держит покрытый перьями железный комочек. Красный птичий глаз ничего не выражает, маленький клюв часто дышит. Собравшись с силами, Уайт бросает голубя в воздух в сторону сидящего на дереве ястреба. Голубь, которого он принес, чтобы ловить других ястребов в лесу – такова ирония судьбы, – поднимается все выше, таща за собой шнур. Тет, наклонившись, следит за голубем, точно гигантская хищная бабочка, потом отлетает и садится на другое дерево. Уайт тянет голубя вниз, на землю, подбирает, идет за Тетом, снова подкидывает голубя. Он ловит Тета на приманку, как рыболов щуку. Такое он проделывал уже несколько раз, и с каждым разом Тет спускается все ближе к голубю и к рукам ждущего его хозяина. Уайт наклоняется, чтобы поднять птицу с земли – голубь измучен, крылья распластаны, маховые перья такие мокрые, что напоминают ободранные карандаши. Уайт понимает, что эта перепуганная птица уже практически не может летать. Понимает, что, если он еще раз подбросит ее в воздух, то ястреб ее схватит. Один только раз. Но он не в состоянии это сделать. Он *знает* голубя. Он его приручил. Птица доверчиво сидела у него на пальце. Она была другом. А теперь ее мир разрушен. И это он, Уайт, разрушает ее мир. Какая изуверская жестокость! Больше нет сил продолжать. Он вспоминает пассаж из книги Блейна, где

говорится о поимке спящих ястребов, прижимает к себе промокшего голубя и оставляет Тета одного под сумеречным небом. Затем возвращается с лестницей, веревкой, фонарем и удочкой для лосося, с помощью которой уже однажды снимал с дерева ястреба. Уайт стоит под деревом, дрожа и надеясь на успех, когда к нему на помощь подбегает Грэм Уилер, паренек Уилеров. Тет тут же взлетает с дерева и исчезает в темноте.

На протяжении последующих дней Уайт ходит по «райдингам» и видит Тета – иногда тот парит высоко над деревьями, описывая все более расширяющиеся круги. Душа Уайта все так же привязана к ястребу. Он видит, что Тет счастлив. «Он достоин быть свободным», – думает Уайт и желает ему счастья в дикой природе. Но Тета ждет смерть, и Уайт это знает: опутенки и вертлюг, проклятая амуниция его прошлого рабства, зацепятся за ветки, птица станет рваться, запутается еще больше, повиснет в воздухе и умрет с голоду. Если судьбе будет угодно вернуть ястреба, Уайт клянется, что будет относиться к нему иначе – не как к рабу, а как к другу. Он переживает горькое и глубокое раскаяние. Без Тета ему одиноко. Уайт неточно цитирует строки Блейка:

Любовь коварна и блюдет
Лишь выгоду свою,
Она вас в цепи закует,
Построит ад в раю!^[19]

В тот же день ближе к вечеру, взяв с собой Мэйбл, я шла по узкой дорожке к ферме неподалеку. Три года назад мне разрешали охотиться здесь с ястребами. А сейчас разрешат? Может быть, и нет. Но мне все равно. Было что-то прекрасное в том, что я тайком от всех собираюсь совершить этот проступок, почти преступление. Рассматриваю поля в бинокль. Нет ни тракторов, ни работников. Ни людей с собаками. Никто не захотел пойти прогуляться вечером. И тогда мы – Мэйбл и я – стали пробираться к тому перелеску на возвышенности, где раньше водились кролики. Крадучись, мы обошли густые кусты терновника. И вот – пожалуйста! Шагах в тридцати от нас, чуть в стороне от опушки леса возникают три знакомых силуэта, пригнувшиеся и жующие траву. Кроличьи уши просвечивают на солнце. А рядом с кроликами медленно вышагивает самец фазана.

Горе подтолкнуло меня к ястребиной охоте, но теперь горе исчезло. Исчезло все, кроме этой тихой лесной идиллии. В которую я собиралась

впустить хаос и убийство. Я пробиралась по опушке, пригнувшись и затаив дыхание. Мое внимание было обострено до предела. Я превратилась в существо, наделенное лишь зрением и волей. Приподняв крылья, Мэйбл с горящими глазами вытягивала шею, точно рептилия. Казалось, у меня на руке сидит незаконнорожденный отпрыск пылающего факела и автоматической винтовки. Под ногами стелилась мягкая трава. Отведя в сторону руку, чтобы удержать равновесие, я с Мэйбл прокрадывалась к последнему повороту. И там, скрытая мелким кустарником, я медленно вытянула вперед руку в перчатке.

Мэйбл сорвалась с кулака с отдачей, как от винтовки «ли-энфилд». Я отступила в сторону и стала наблюдать. Действие разворачивалось с такой стремительностью, что было похоже на серию картинок из комикса: щелк, щелк, щелк. Кадр первый: ястреб-тетеревятник срывается с кулака – полосатые перья, когти. Кадр второй: ястреб-тетеревятник опустился на землю, под ним примятая трава. Шоколадного цвета крылья бьют что есть силы, птица горбится. Кадр третий: кролики удирают. Кадр четвертый: фазан тоже удирает, пригнувшись, к спасительному краю леса.

Спасительному, да не очень. Доли секунды – и тактический компьютер ястреба принял решение. Она развернулась с легкостью гоночного автомобиля и полетела, набирая скорость. Просто сложила крылья и исчезла. Погрузилась в черную дыру леса под низкой ветвью лиственницы. Никого не осталось. Ни кроликов, ни фазана, ни ястреба. Только черная дыра на опушке. Все произошло почти бесшумно. Слышалось лишь испуганное фазанье кудахтанье: «кок-кок-кок».

Я вбежала в лес, и меня бросило в дрожь. Мы начали охоту в мягкой, нежно обволакивающей дымке солнечного осеннего вечера. Вялая трава, луговые коричневые бабочки, приятный, ласкающий глаза свет. В лесной чаще температура была ниже градусов на пять, света тоже поубавилось. Стало темно. И холодно. Снаружи – английский вечер конца лета. Здесь – Норвегия. Вот-вот увижу летящие сквозь иголки снежинки. Мне стало немного не по себе. Я огляделась. Никого. Моей Мэйбл нигде не видно. Что теперь делать?

Я не двигалась и прислушивалась в надежде разобрать в темноте хоть какой-нибудь звук. От такого напряженного вслушивания воздух превратился в скопище мельчайших частиц: звук уже был не звуком, а продольными волнами, идущими сквозь триллионы воздушных молекул. Но я не уловила ни единого колебания. Среди стволов лиственницы стояла глухая, мертвая тишина. Но вдруг слева от меня – далеко-далеко – я различила какую-то возню, хруст ломающихся веток и отчетливый звон

колокольчиков. Не разбирая дороги, я ринулась на этот звук сквозь кусты. Еще мне почудился писк. Может, она поймала кролика? Снова тишина. Только мое тяжелое дыхание и треск ломающихся веток упавшего дерева, которое оказалось у меня на пути.

Мэйбл я увидела раньше, чем услышала. Она выскочила из зарослей колючего кустарника, под которым скрывалась кроличья нора, подлетела, широко расправив грудь, и уселась мне на кулак. За исключением желтоватой восковицы и лап Мэйбл, все вокруг было черно-белое. Черный терновник, черные иглы, белая грудь ястреба, черные каплевидные перья, черные когти. Черные ноздри. Белые хвостовые перья, испачканные мелом там, где кролики вырыли нору. Когда птица оказалась на моем кулаке, я увидела, что все пальцы у нее в меловой грязи. И моя перчатка, пока птица кормилась, тоже испачкалась – на ней появились мелкие белые значки, похожие на буквы полузабытых слов, которые постепенно размазывались, стирались и снова наносились ястребиными когтями.

Давно я не охотилась с ястребом, но помнила, что обычно моя охота проходила иначе. В любом случае, она никогда не была такой, как в тот вечер. Меня поразило, до чего же изменилось мое собственное восприятие происходящего – мир растворился и стал ничем, хотя при этом оставался до боли реальным и осязаемым. Каждая секунда тянулась медленно, растягивалась, вырывая нас из времени: когда, направляясь домой, я вышла на дорогу, меня удивило, что солнце опустилось так низко. Мы провели в лесу меньше часа, а мне показалось, что прошли годы.

Профессор Том Кейд, сокольник и ученый, однажды назвал соколиную охоту «наблюдением за птицами, осуществляемым с повышенной интенсивностью». Хорошее определение, подумала я. И точное. Но теперь я поняла, что он ошибался. То, что сейчас со мной произошло, никак не походило на наблюдение за птицами. Скорее это напоминало азартную игру, хотя ставки в ней куда более кровавые. По сути дела, ты сознательно отказываешься от контроля над ситуацией. Сначала ты во что-то вкладываешь свое сердце, умение, да и саму душу – это может быть что угодно: воспитание ястреба, изучение участвующих в бегах лошадей или комбинаций карт, а потом сам отвергаешь возможность управлять происходящим. Это захватывает. Карты раскинуты, лошадь бежит, ястреб взлетает с кулака – и тебе остается надеяться только на удачу, ибо ты не можешь повлиять на результат. Однако все, что ты делал до этого момента, убеждает тебя, что удача близко. Ястреб вполне может поймать добычу, не исключено, что тебе выпадут хорошие карты, а лошадь придет первой.

Странно было бы задерживаться на небольшом островке сомнения. Тебе хорошо, потому что ты полностью отдал себя во власть этого мира. Ты испытываешь редкое наслаждение. Уходишь в него с головой. И на переломных моментах жизни ждешь этих инъекций судьбы. Вот где приманка, вот почему, оказавшись бессильными от боли или горя, мы забываемся в наркотиках, азартных играх, пьянстве – в пристрастиях, которые надевают ошейник на разбитую душу и одергивают ее, как собаку. В тот день я нашла свой наркотик. В определенном смысле он был таким же разрушительным, как шприц с героином. Я убежала туда, откуда мне очень не хотелось возвращаться.

Глава 19

Вымирание



У сокольников есть специальное выражение для обозначения ястребов, готовых к убийству. Они говорят, что птица в *яраке*. В книгах утверждается, что это выражение происходит от персидского слова «яраки», означающего: «мощь», «сила», «храбрость». Позже я обнаружила забавную информацию, что по-турецки это название старинного оружия, а в сленге значит «пенис», так что нет никакого сомнения, что соколиная охота – мужское дело. Сейчас я снова в Кембридже. И каждый день, поднимаясь с Мэйбл по каменистой дорожке на холм, наблюдаю, как птица входит в *ярак*. Я немного тревожусь, потому что это выглядит так, словно в нее постепенно вселяется дьявол. Хохолок приподнимается, Мэйбл отклоняется назад, распушив перья на животе и опустив плечи, пальцы крепко захватывают перчатку. Ее манера меняется от «я всего боюсь» до «я все вижу» и «мне принадлежит этот мир».

В таком состоянии она предельно напряжена, точно сжатая пружина – ястреб в предвкушении убийства. Она на взводе и бросается на все, что движется, даже на то, что ей наверняка не удастся поймать: на стайки ласточек, на летящих вдали голубей, даже на кота с фермы. Но я крепко держу ее за опутенки и не отпускаю. А когда прямо у меня из-под ног выскакивает самка фазана – я даю Мэйбл свободу. Она с яростью мчится за своей добычей. Однако у фазана начальное преимущество – он стартовал раньше. Через пятьдесят шагов Мэйбл замедляет полет, разворачивается и возвращается ко мне, спланировав над живой изгородью и мягко приземлившись на мой кулак. В другой день она бросается вниз с холма в погоню за кроликом и почти настигает его, но кролик вдруг останавливается как вкопанный, и ястреб, промахнувшись, падает на землю. Кролик уворачивается, бежит назад по собственным следам вверх по холму и скрывается в норе. Мэйбл взмывает в воздух, собираясь

продолжить преследование, но кролика уже не видно. Расстроенная, она опускается на траву.

Я тоже расстроена. Дело не в том, что я жажду крови. Но я не хочу, чтобы Мэйбл потеряла веру в себя. В природе молодые ястребы-тетеревятники часами сидят, спрятавшись среди деревьев, и ждут подходящей возможности напасть: появления вороненка или крольчонка. Но сейчас сентябрь: легкая добыча уже выросла. У многих тетеревятников есть помощники – собака находит для них дичь, хорек выгоняет из нор кроликов, но у меня нет ни того, ни другого. Я могу только ходить вместе с ястребом и надеяться, что нам попадется кто-нибудь подходящий. Но я становлюсь для нее обузой, потому что чувства ястреба гораздо острее моих. Мы идем по балке под живой изгородью, где водятся кролики, крысы и бог знает, что еще. Все скрыто колючими кустами ежевики и терновника, на стеблях которых, будто экзотические фрукты, торчат галлы – наросты орехотворки розанной с густыми волосками зеленого, розового и пунцового цвета. Мэйбл рвется с моего кулака к кустарнику. Не знаю, что она там увидела, поэтому не отпускаю. А потом ругаю себя и свои жалкие человеческие чувства. Что-то ведь там было. Мышь? Фазан? Кролик? Тычу палкой в траву, но никто не показывается. Поздно. Кто бы там ни прятался, он убежал. Мы идем дальше. Мэйбл выглядит уже не воинственно, а скорее злобно и сурово. «Как, черт возьми, мне ловить добычу, – наверное, думает она, – если со мной увязалась эта идиотка?»

После последней попытки я возвращаюсь домой выжатая, как лимон: отвратительный, тяжелый день, полный раздражения, противостояния, ненависти. На холме я встретила Стюарта и Мэнди. «Хочешь, пуцу для тебя собак, – предложил он. – Посмотрим, может, они найдут ей добычу». Но Мэйбл заупрямилась. Она билась, пищала, свирепо смотрела на собак. Она их ненавидела, она ненавидела все вокруг. Я тоже. Покормив Мэйбл, я поехала с ней домой. Там я вытащила из шкафа свою одежду, намереваясь переодеться, превратившись в довольного жизнью, цивилизованного человека, который, к примеру, посещает выставки в художественных галереях. Вычесываю репы из волос, умываюсь, напяливаю юбку, спускаю закатанные рукава кашемирового джемпера, наношу тонкую черную линию на каждое веко. Тональный крем. Тушь. Немного гигиенической помады, чтобы освежить обветренные губы, пара блестящих сапожек на каблуке. Беспokoюсь, смогу ли я в них бегать, потому что в последнее время мне приходится много бегать. Оцениваю результат, глядя в зеркало. Хорошая маскировка. Меня радует, что она вполне убедительна. Однако начинает

темнеть, я опаздываю. Осталось двадцать минут до открытия выставки в художественной галерее. Мне предстоит рассказывать о ней через несколько недель, но для этого надо все же посетить этот чертов вернисаж. По дороге, ведя машину, борюсь со сном, и к тому моменту, как добираюсь до входа в галерею, у меня подкашиваются колени.

Я ожидаю увидеть зал с картинами и скульптурой. Но когда открываю дверь, у меня в мозгу все переворачивается вверх тормашками. Передо мной домик для наблюдения за птицами, построенный в натуральную величину из неотесанной сосны. Как гласит надпись, это точная копия такого же домика в Калифорнии. Но когда обнаруживаешь его в галерее, испытываешь замешательство, подобное тому, как если открыть холодильник и увидеть внутри целый дом. В домике, устроенном на выставке, темно, и множество людей смотрят в окошко на одной из боковых стен. Я тоже смотрю. *Ах, вот оно что!* Теперь понятно, в чем дело. Художник здорово придумал: он снял вид из реального домика, а теперь показывает этот фильм на экране, помещенном перед окошком. Мы глядим на парящего в небе калифорнийского кондора, огромную пепельно-черную птицу семейства американских грифов, падальщика, представителя почти вымершего вида. Причины его вымирания – истребление человеком, исчезновение привычной среды обитания и отравление содержащими свинец останками животных. К концу восьмидесятых годов в живых оставалось всего двадцать семь птиц, и в отчаянной попытке спасти кондоров от окончательной гибели их отловили и поселили в неволе, чтобы выведенных птенцов можно было потом использовать для восстановления популяции в дикой природе. У проекта нашлись противники. Они искренне верили, что если птиц поселить в неволе, они точно погибнут. Кондоры рождены для свободы, утверждали эти люди. Пойманный кондор больше уже не кондор.

Некоторое время я наблюдаю за птицей. И мне становится не по себе. В голове то и дело возникают картинки реального неба и реальных ястребов. Вспоминаю живых кондоров, которых я видела несколько лет назад в центрах по разведению животных в неволе – огромных птиц с неряшливо болтающимися перьями и индюшачьими шеями, смысленных и любопытных. Пернатые хрюшки в черных боа. Ценные? Да. Но и очень непростые, реальные, необыкновенные, поразительные. Кондор на экране в галерее был совсем на них не похож. «Ты совсем ничего не соображаешь, Хелен, – думаю я. – В этом-то вся суть выставки. Вся суть здесь, перед тобой».

Задумываюсь, какими мы представляем себе диких животных. И как

они исчезают – не только из дикой природы, но и из нашей повседневной жизни, подмененные книжными или экранными образами. Чем более редкими они становятся, тем меньше наполнены для нас смыслом. В конце концов, редкость становится их единственным качеством. Кондор – символ вымирания. Последний представитель своего вида – больше мы о нем почти ничего не знаем. Именно так и сокращается наше представление о мире. Как вы можете кого-то любить, как вы можете бороться за сохранение того или иного животного, если оно означает для вас только одно – исчезновение? Между моей грубой, кровожадной жизнью с Мэйбл и сдержанным, отстраненным восприятием природы современного человека лежит целая пропасть. То, что я держу ястреба, некоторые мои знакомые, насколько мне известно, считают сомнительным с нравственной точки зрения, но я не могла бы так хорошо понимать и любить ястребов, если бы видела их только на экране. Я сделала ястреба частью жизни человека, а человека – частью жизни ястреба. И поэтому ястреб стал для меня в миллион раз интереснее и удивительнее. Помню, как я искренне поразились, когда Мэйбл вдруг стала играть со мной в бумажный телескоп. Она реальная птица. И может противостоять тем посторонним смыслам, которые люди пытаются в нее вложить. А кондор? Он не может сопротивляться. Я слежу за растворяющимся, ускользающим образом на экране в галерее. Это лишь тень, символ утраты и надежды, это вовсе не птица.

Другой экспонат идеально прост. Птица, лежащая на спине в стеклянном футляре посреди пустого зала. При виде нее все мои красноречивые рассуждения бледнеют и исчезают. Это попугай, голубой ара. В дикой природе не осталось ни одного, и последние содержащиеся в неволе птицы находятся под постоянным наблюдением тех, кто отчаянно пытается сохранить этот вид. Выставленный в качестве экспоната попугай давно мертв. Он набит ватой, и к засохшей лапе со скрюченными пальцами привязан маленький ярлычок. У попугая темно-синие перья цвета вечернего моря. Пожалуй, мне никогда еще не приходилось быть свидетелем такого одиночества. Но, наклонившись над его освещенной тушкой в стеклянном гробу, я думаю совсем не о вымирании видов. Мне вспоминается Белоснежка. Вспоминается Ленин в тускло освещенном мавзолее. Вспоминается тот день, когда меня провели в больничную палату, где лежал умерший отец.

«Это не он, – как безумная, думала я, когда женщина ушла, закрыв за собой дверь. – Его здесь нет». Кто-то нарядил в больничную пижаму восковую куклу, похожую на моего отца, и накрыл ее узорчатым одеялом.

Зачем они это сделали? Какой смысл? Ерунда какая-то. Я отступила на шаг. Но вдруг увидела у него на руке незаживший порез, и остановилась. Я понимала, что надо что-то сказать. Но стояла и молчала. Физически не могла говорить. Как будто мне в горло засунули кулак, который ловил там слова и не выпускал. У меня началась паника. Почему я не могу ничего сказать? *Мне надо ему сказать.* Потом полились слезы. Но это были не обычные слезы. Влага лилась потоками по щекам и капала на больничный пол. Вместе со слезами пришли слова. Тогда я наклонилась над кроватью и заговорила с папой, которого там не было. Я обращалась к нему серьезно и продуманно. Сказала, что люблю его и скучаю, что мне всегда будет его не хватать. Я говорила, объясняла что-то, чего сейчас даже не вспомню, но что тогда казалось безусловно и исключительно важным. Потом наступила тишина. Я ждала. Не знаю, чего. Пока не поняла, что жду ответа. И тогда поняла, что все кончено. Я взяла папу за руку в последний раз, быстро сжала ее на прощание и тихо вышла из палаты.

На следующий день на холме Мэйбл, по-моему, наконец начинает понимать, для чего создана. Она охотится на фазана. Фазан бросается в колючие заросли под высокой живой изгородью. Мэйбл садится сверху на кусты и внимательно смотрит вниз. Ее оперение кажется ярким на фоне темной земли уходящего вниз склона. Я бегу к Мэйбл. Кажется, я помню, куда спрятался фазан, но пытаюсь убедить себя, что там его никогда не было. И все же я знаю: фазан где-то там. К каблукам липнет схваченная морозом глина, так что бежать быстро не получается. Глина повсюду. Мешает даже воздух вокруг, тоже скованный холодом. Мэйбл ждет, что я вспугну фазана. Знать бы, где именно он притаился. Вот я уже у изгороди, ищу фазана, мысленно проигрывая возможные варианты сценария под названием: «Что будет дальше?». Их количество быстро сокращается и скоро дойдет до нулевой отметки – когда фазан взлетит. Ни Стюарта, ни Мэнди не замечаю, хотя знаю, что они неподалеку. С треском продираюсь сквозь колючки и торчащие ветки, смутно ощущая, как меня колют и царапают шипы. Ястреба не вижу, потому что ищу фазана. Мне приходится представлять себе, что делает Мэйбл, ставя себя на ее место – получается, что я одновременно и ястреб на кустах, и охотник под ними. Такое странное раздвоение заставляет меня чувствовать себя человеком, идущим под самим собой, а иногда и от самого себя. Затем на мгновение все превращается в пунктирные линии – и я, и фазан, и ястреб. Мы становимся данными в задачке по тригонометрии, где каждый обозначен своей буквой, выписанной изящным курсивом. Сейчас я настолько вжилась в свою

питомицу и в фазана с его возможными перемещениями относительно нее, что мое сознание полностью высвобождается, разделившись: сначала оно переходит в глядящую вниз Мэйбл, потом в фазана, глядящего вверх из колючих кустов, а та часть, что остается во мне, заставляет меня скользить над землей, как бы ничего не касаясь. Разве я могу спугнуть фазана, если меня здесь нет? Время растягивается и замедляется. Вдруг на меня накатывает паника, приступ страха: я задумываюсь об уничтожении живого и моем месте в этом мире. Но вот из кустов вылетает испуганный фазан – бледное, квохтающее существо, мышцы и перья. Ястреб набрасывается на него с верхушки изгороди. И все линии, соединяющие сердце, голову и будущие возможности, линии, которые вместе с тем связывают меня с ястребом, фазаном, жизнью и смертью, неожиданно обретают прочность и сплетаются воедино в птице со взъерошенными перьями и вцепившимися в жертву когтями, которая стоит в грязи посреди небольшого поля, посреди небольшого графства, в небольшой стране в начале зимы.

Я смотрю на ястреба с мертвым фазаном в когтях, а он смотрит на меня. Я поражена. Не знаю, что я надеялась ощутить. Жажду крови? Жестокость? Нет. Ничего похожего. Я вся исцарапана колючками, которые цеплялись, пока я лазала по кустам живой изгороди. И почему-то болит сердце. В воздухе ползет, переливаясь, туман. Сухой. Сухой, как тальк. Гляжу на ястреба, фазана, снова на ястреба. И все меняется. Ястреб перестает быть носителем ужасной смерти и становится ребенком. Я потрясена до глубины души. Мэйбл и вправду ребенок. Ястребенок, который только что осознал, кто он такой. Для чего он создан. Наклоняюсь и бессознательно, как мать, помогающая ребенку есть, принимаюсь ошипывать фазана вместе с Мэйбл. Для Мэйбл. А когда она начинает есть, сажусь на корточки и наблюдаю – наблюдаю, как она ест. Фазаньи перышки, подхваченные ветром, несутся вдоль живой изгороди и застревают в паутине и колючих ветках. Ярко-алая кровь на пальцах ястреба сворачивается и засыхает. Время идет. Благословенный солнечный свет. Шевельнув стебли чертополоха, замирает ветер. Я начинаю плакать. Беззвучно. По лицу катятся слезы. По фазану, по ястребу, по папе, по его терпению, по той маленькой девочке, которая стояла у забора и ждала появления ястребов.

Глава 20

В укрытии



Уайт выбегает из дома. Почтальон сказал, что в соседнем лесу беспокойно галдят грачи. Уайт, задыхаясь, несется к лесу. Но Тета нет. Конечно, его там нет. Ястребов-перепелятников тоже не видно. Ему иногда мерещится их крик, но, возможно, это совы. Теперь он живет в окружении слухов. Слухи о ястребах – как слухи о войне. Уайт смотрит на небо. Повсюду он расставил ловушки и целыми днями сидит в лесу – от рассвета до заката, дрожа и ежась в своем укрытии. Все без толку. Покупает егерский капкан с металлическими зубцами, который обычно ставят на высокий шест. Спиливает зубцы, чтобы не сломать ястребу ноги, и прокладывает войлок по краю «челюстей» капкана, защелкивающегося с помощью пружины. Потом он делает еще один капкан, сокольниковый, по книжной инструкции: петля из бечевки прокладывается вокруг кольца из торчащих вверх перьев, а в центре кольца – привязанный черный дрозд. Сам он спрячется, держа конец бечевки и, когда ястреб набросится на дрозда, потянет за нее – бечевка проскользнет вверх по перьям и обхватит ноги ястреба. Ловушка сработает, если Уайту удастся поймать дрозда в качестве приманки. Но дрозд не ловится. Уайт в отчаянии. Он начинает писать письмо: «Дорогой гер Валлер...» Пишет по-английски, потому что немецкий знает плохо. Просит человека, приславшего ему Тета, раздобыть для него еще одного ястреба. Уайт понимает, что в это время года трудно достать птенца, а неопытные молодые птицы – те, что были пойманы, когда уже встали на крыло, – немногочисленны и редки. Но в конце письма все же выражает надежду, что получит нового ястреба. Добравшись до Бакингема, он отправляет свое послание в Берлин. А потом ждет ответа, ждет появления перепелятников, ждет наказания и страдает под тяжестью своих грехов. Но ответного письма из Берлина все нет.

Моя работа закончилась. Пора было переезжать. Я и так испытывала эмоциональный стресс, но мысль о переезде довела мое нервное расстройство до невероятных масштабов. Новый дом в пригороде совсем не походил на мой прежний городской дом: он был огромный и современный, с большой гостиной, в которой могла спать Мэйбл, и с лужайками, где она могла греться на солнышке. Я забила морозильник ястребиным кормом и коробками с замороженной пиццей. Затащила пластиковые мешки со своей одеждой наверх и свалила их в кучу у двери в спальню. Снова пошел дождь, мелкий и противный, и первый день я провела, развалившись на диване с блокнотом на коленях. Я никак не могла написать речь, посвященную памяти отца. «У меня пять минут, – тупо повторяла я про себя. – Пять минут, чтобы рассказать про папину жизнь».

В доме было полно игрушек: буквари и пазлы, плюшевые зверюшки в коробках, нарисованные фломастером картинки и другие, блестящие, прикрепленные кнопками к стенам кухни. Это был дом, где жила семья, но сейчас семья уехала. Пустота, которую я ощущала, жила во мне самой, но в своем безумии я решила, что дом меня не принимает, что он скучает по отсутствующей семье и оплакивает утрату. Я все больше оставалась с Мэйбл на улице, мне все труднее было возвращаться домой, потому что на улице дом не нужен. На улице я вообще забывала, что я человек. Все, что видел ястреб, казалось грубым и настоящим, нарисованным в мельчайших деталях, а остальное скатывалось в небытие. Окрестный пейзаж обретал в моем сознании смыслы, которые довели над всем остальным – как свет, как подарок. Это состояние невозможно передать словами: так предчувствуешь опасность или ощущаешь, как кто-то читает вместе с тобой, заглядывая через плечо. Все стало сложнее, но, как ни странно, и проще. Ряды живой изгороди, которые когда-то были боярышником, терновником, кленами и ясенями, теперь слились в одно и лишились названий. Созданные из того же, что и я, они превратились в неодушевленных людей, не менее и не более значимых, чем ястреб, чем я, чем все остальное на холме. Иногда звонил мобильник, и я отвечала. С жутким усилием надо было вырывать себя из сияющего ореола, объявшего землю, – землю, прорезанную линиями ястребиной охотничьей стратегии. Обычно звонила мама. Она была вынуждена все повторять дважды, словно учила меня, как вернуться из этой странной онтологии живых изгородей к более привычному человеческому бытию.

– Алло! – говорила она.

Молчание.

– Алло?

На моем кулаке сидела Мэйбл, раскрыв веером хвост и опустив крылья, и смотрела сквозь меня и телефон на разные предметы, поочередно привлекавшие ее внимание. *Поле – забор – дрозд-рябинник – крыло – промельк – фазан – перо на тропинке – солнце на проволоке – двенадцать лесных голубей – расстояние в полмили – тик-тик-тик* и мамин голос:

– Как у тебя дела?

– Прекрасно, мама. А у тебя?

– Нормально. Ты говорила с Джеймсом?

По сравнению с постоянным трескучим перечислением у меня в голове мамин голос звучал тихо и неторопливо, так что я не могла по-настоящему разобрать ее слова. К тому же в полумиле от нас сидели двенадцать лесных голубей, и Мэйбл смотрела на них. Я тоже. Я не слышала мамину боль. И не чувствовала свою.

Сегодня мы пришли на новое место – на поле по другую сторону города, где полно кроликов. Мэйбл потребовалось меньше минуты, чтобы схватить одного, спрятавшегося глубоко в зарослях крапивы. Ястребы не приносят добычу хозяину: нужно подбежать к птице, подождать, пока она полакомится, затем посадить ее на кулак и дать в награду еще корма. Я подбежала к Мэйбл, наклонилась, раздвинула колючие стебли, взяла птицу, вцепившуюся в кролика, и перенесла их на траву. Шкурка мертвого кролика собирается складками между цепкими птичьими когтями, но, когда Мэйбл добирается до кроличьей груди, кровь начинает обильно течь из раны, и я не могу отвести глаз от жуткого, заворачивающего кларета, который льется, образуя лужицу и при соприкосновении с воздухом превращаясь в желе, словно это живое существо. Но кролик и был живым существом. Мне надо сесть и подумать. Здесь кроется великая тайна. Чувствую, как что-то распирает и мою грудь, пробивает себе путь, требует ответа. Но на размышления нет времени: птицу надо посадить на перчатку, иначе она обьестся и завтра не станет охотиться. Пришла пора старинной уловки сокольников: как не дать ястребу почувствовать, что его лишили охотничьего трофея. Сначала я отрезаю заднюю ногу кролика и прячу ее за спиной, затем рву траву и складываю ее в стожок. Потом протягиваю птице на перчатке кроличью ногу, а оставшегося кролика засыпаю травой. Глядя вниз, ястреб видит траву, а подняв глаза, – еду. Тогда птица запрыгивает прямо ко мне на кулак и ест.

Я засовываю остатки кролика в задний карман жилетки, и в это время раздается шум. Поначалу это низкое доплеровское рокотание. Оно замирает, потом возникает снова. Двигатели. Большие двигатели. Звук все

громче. Он нарастает, превращаясь в грохот океанских волн, и из-за деревьев появляется бомбардировщик – «летающая крепость» времен Второй мировой войны. Лесные голуби в ужасе кидаются с верхушек дубов в разные стороны. Квохчут фазаны, мелькают тени, кролики удирают в норы. Меня так и тянет куда-нибудь спрятаться. Но Мэйбл кидает на это чудище один-единственный безразличный взгляд и продолжает есть. Поразительно. Почему ястреб не чувствует угрозы в этом громадном, невероятно тяжелом китообразном самолете? Прямо над нашими головами, страшно низко, пролетает бомбардировщик ВВС США, покрашенный, как в военные время, в темно-зеленый цвет, и, когда он делает разворот в золотистом от солнца воздухе, я замечаю у него на брюхе бомбовый отсек и пулеметную турель. Размеры самолета, низкое гудение четырех двигателей компании «Пратт энд Уитни» создают ощущение, что это живое существо, какое-то животное – и я, ошеломленная, замираю. Сажу на корточках, не отрывая от него глаз и забыв свой страх. В голове возникают две строчки:

Задумайся над этим, в наше время
Как его видит ястреб иль авиатор в шлеме...

Поэт Уистен Оден написал эти строки в 1930 году, и я не вспоминала их много лет. Иметь возможность видеть то, что открывается ястребу или пилоту, значит подняться над беспорядочной повседневностью человеческой жизни свободным и сильным, и с высоты полета обозревать мир под собой. Получить выгодное преимущество там, наверху, откуда на землю может сойти смерть. Ощущение безопасности. Я представляю себе американских летчиков, управляющих таким бомбардировщиком семьдесят лет назад: как они забирались в тесную коробку, которая называлась кабиной. На них была специальная утепленная форма, но она все равно плохо грела, они вдыхали кислород через резиновые шланги, покрытые кристалликами льда, так что на большой высоте, чтобы получить достаточно кислорода, им приходилось их сгибать и разминать пальцами. Они спали на узких койках в чужой стране дождей и туманов, молча одевались и шли на утренний инструктаж, а потом бежали к своим самолетам, переводили рычаг дросселя в переднее положение, напрягали грудные мускулы, когда пропеллеры начинали вращаться, поднимались вверх сквозь облака, постоянно следя за приборами, показывающими давление и обороты двигателя, а штурманы докладывали им в градусах о направлении полета. Потом за несколько часов они успевали слетать в

Германию и обратно, сбросив там свой страшный груз сквозь воздух, наполненный рвущимися снарядами. Одному из четырех не удалось выполнить свой долг до конца. Несмотря на открывающийся сверху обзор, небо нельзя было назвать безопасным местом. Конец этих летчиков был ужасным. То, что они делали, было невообразимым кошмаром. Ведь война шла не только в воздухе.

Ястреб на моем кулаке. Восемьсот пятьдесят граммов смерти в одежде из перьев; существо, чей мир расчерчен на участки и направления полета, ведущего к чьей-то гибели. Птица доедает остатки кролика, чистит клюв, оставляя на перчатке пушинки белого меха. Потом встряхивается, укладывает перья и смотрит вверх в пустое небо, где только что пролетел бомбардировщик. И меня словно что-то толкнуло. Как там дальше сказано у Одена?

Взгляни туда, в разрыв случайный облаков...

Гляжу. Вот оно. Я его чувствую. Это настойчивое душевное напряжение, которое приходит вместе с появлением ястреба в моей жизни, мое давнишнее желание обладать ястребиным зрением. Жить спокойно и одиноко, смотреть на мир с высоты, оставаться там, быть наблюдателем – неуязвимым, отстраненным, абсолютным. Мои глаза влажнеют. «Моя мечта исполнилась, – думаю я. – Но, похоже, спокойствия мне не дожждаться».

На ту войну пришлось папино детство. Первые четыре года жизни он вместе с семьей следил за бомбардировщиками, летящими боевым строем: ночью их освещали огни прожекторов, а днем за ними тянулся вьющийся рваный шлейф конденсационного следа. Что он чувствовал, когда видел проплывающие над головой маленькие кресты? Ты понимаешь, что кто-то хочет тебя убить. А кто-то тебя защищает. И это знание, по терминологии того времени, имело повышенную «валентность опасности». Твоя жизнь зависела от этих маленьких мигрирующих аппаратов. Как и все твои друзья, ты мастеришь модели самолетов, тратишь карманные деньги на журнал «Воздушный наблюдатель»^[20]. Запоминаешь расположение двигателей, изучаешь очертания хвоста, форму самолета, звук двигателя, фюзеляж. Отец не на шутку увлекся. Подсчеты, идентификация, классификация и детальная регистрация проделывались им с присущей ребенку жадной все познать и освоить. Став старше, он отправлялся на велосипеде на отдаленные аэродромы с бутылкой лимонада «Тайзер», простеньким фотоаппаратом «Брауни», блокнотом и карандашом.

Фарнборо, Нортхолт, Блэкбуш. Маленький мальчик ждал часами, стоя за ограждением и глядя сквозь проволоку.

«Наверное, страсть к наблюдению я унаследовала от папы», – неторопливо размышляла я. С папиной привычкой вглядываться в небо при малейшем шуме самолетного двигателя и рассматривать в бинокль самые далекие конденсационные следы самолета, думаю, было неизбежно, что я еще совсем маленькой девочкой захочу ему подражать, поняв, что смотреть на тех, кто умеет летать, – это способ увидеть мир. Только в моем случае речь шла не о самолетах, а о птицах.

Теперь я поняла, что мы смотрели на одно и то же или по крайней мере на вещи, которые, по замыслу истории, должны быть сходными. На заре военной авиации хищные птицы воспринимались как военные самолеты из плоти и крови: существа с идеальной аэродинамикой и способностью уничтожать. Ястребы летают, охотятся и убивают. Самолеты делают то же самое. Это сходство было подхвачено военной пропагандой, изображавшей воздушные бои чем-то естественным, подобным соколиной охоте. Средневековый романтический ореол тоже сыграл свою роль, и вскоре ястребы и самолеты тесно переплелись в представлениях о войне и о национальной обороне. Удивительный тому пример – фильм «Кентерберийские рассказы» Пауэлла и Прессбергера, вышедший на экраны в 1944 году. В начальных его сценах группа чосеровских паломников пересекает известковые холмы по дороге в Кентербери. Рыцарь снимает с сокола клубочек и пускает птицу в полет. Камера поначалу следит за порхающим соколом – потом происходит быстрая смена кадра – и силуэт сокола превращается пикирующий «Спитфайр». Нам снова показывают лицо рыцаря. Это тот же человек, только теперь на нем военная каска и он смотрит вверх, на «Спитфайр». Цепочка таких кадров призвана поддержать миф о том, что с течением веков сущность британского народа не изменилась, и одновременно продемонстрировать, как убедительно ловчая птица может свести воедино романтическое Средневековье и жестокие технологии современной войны.

Сидя в траве и слушая отдаленный рокот двигателей под туманным октябрьским небом, я думала об отце: как в моем сне он стоял на развалинах после бомбежки. Стоял и ждал, точно так же, как когда-то, когда был мальчиком. Он был терпелив – и самолеты прилетели. Я вспомнила одну историю, рассказанную им нам однажды в субботу нам за завтраком. Хорошую историю. В каком-то смысле папу можно было даже назвать героем. Я почувствовала, как на меня нахлынуло чувство благодарности. Несколько недель я волновалась: все никак не могла

придумать, что буду говорить в своей речи, посвященной памяти отца, но теперь знала, что исходить надо из этой истории. «Спасибо, папа», – прошептала я.

В небольшой серой тетрадке Уайта со змеей на обложке описываются ночные кошмары. Но и самолеты тоже. Они надвигаются на него – «серебристо-золотые сквозь голубую дымку», он ныряет под воду, ищет погреб, чтобы укрыться, но они всегда его находят, всегда знают, где он. Они сбрасывают фугасы и рассеивают отравляющие газы, опускаются ниже, чтобы его уничтожить. Это кошмары мальчика, который рос, брошенный на милость жестоких властолюбцев: отца, учителей, старшеклассников, а теперь еще диктаторов, втягивающих мир в войну. В книге «В Англии мои кости» Уайт объясняет, что научился летать, потому что боялся самолетов. Быть может, дело было не только в боязни упасть; быть может, его уроки управления самолетом были попыткой обуздать страх преследования, научившись смотреть на мир глазами пилота. И точно так же, как Уайт боролся с боязнью летать на самолете, он боролся с Тетом. Потому что Тет был темным, аморальным детищем древних германских лесов. Убийцей. В нем жила сила диктатора. Он существовал по законам Гитлера и Муссолини, был живым воплощением жестокости и абсурдности фашизма. «Он был хеттом, – позже писал Уайт, – поклонявшимся Молоху. Приносил жертвы, грабил города, предавал мечу дев и детей». Только сейчас мне стало понятно, что «Ястреба-тетеревятника» можно читать по-другому: как книгу о войне. Это понял Зигфрид Сассун^[21], почувствовавший, какая битва разворачивалась на ее страницах. Когда книга вышла, Уайт послал экземпляр Сассуну, но тот признался, что не смог ее прочесть. Начал, но отложил. «Теперь я избегаю всего ужасного, – объяснил он, – а то, что я прочел, было мучительным».

Политические взгляды Уайта складывались на редкость хаотично. Он ненавидел капитализм и, хотя в школе Стоу заигрывал с коммунизмом, положительно оценивая его революционный пыл, впоследствии стал его опасаться, так как, случись революция, ему пришлось бы лишиться своей индивидуальности, а это все, что у него было. Уайт задумался, не стать ли ему фашистом. Колебался. Он терпеть не мог национализм, но уж точно не верил, что все люди равны. Гитлер ему не нравился. Но и Британское правительство тоже не нравилось. Ему было присуще детское представление об апокалиптическом искуплении: он полагал, что война, если начнется, принесет с собой разрушение, смерть и гибель цивилизации. Но такая война нужна, коль скоро мы воспрянем из руин умудренными.

Человек должен выбирать. Демократию или фашизм. Рациональное или иррациональное. Кровь или мир. Людей или кроликов. Уайт решил убивать кроликов, а не людей, и вести собственную войну с ястребом. Борясь с Тетом, он сражался с диктатором внутри себя. Ястреб был для него полезен, потому что Уайт считал, что война происходит из-за подавления обществом природных человеческих побуждений. Поскольку ястреб не умел притворяться, он служил «тонизирующим средством для скрытой дикости человеческого сердца».

Таким образом, Уайт сражался здесь и сейчас – на кухне и в сарае, в саду и в лесу. В разных местах на оспариваемой территории разворачивалась их битва. Разглядев в себе диктатора, Уайт почувствовал вкус поражения и сделал все, чтобы потерять ястреба, оттолкнуть его от себя. Затем наступила новая стадия войны: он начал прятаться в лесных укрытиях. Сидя там, он надеялся поймать ястребов – птиц, что летали, как аэропланы из его снов.

Много лет назад, в счастливые и беззаботные времена, когда он жил в Сент-Леонардсе, родители однажды взяли его с собой на экскурсию в пещеры Гастингса, и гид привел их в удивительные поземные залы, выдолбленные в песчанике контрабандистами. Они произвели на мальчика неизгладимое впечатление. «В определенный момент нашего путешествия под землей, – писал Уайт, – когда мы, дети, няни и обычные туристы, стояли молча, в полной тишине среди поглощающего звук песка, гид потушил свечу – и все оказались в абсолютнейшей темноте». Это воспоминание было для него очень важным. Мальчик, который никогда не чувствовал себя в безопасности, воспринял черную темень пещеры как своего рода спасение и постоянно возвращался к ней в своем воображении. Ему снились туннели, пещеры, святилища. Свой домик в лесу он называл барсучьей норой. В книге «Под землей» он придумал подземный бункер, где спаслась компания охотников, когда наступил конец света. А в «Царице воздуха и тьмы», второй книге «Короля былого и грядущего», он повествовал о многовековом заточении Мерлина в пещере холма. «Славно будет слегка передохнуть несколько столетий», – заявил волшебник пораженному королю.

Страсть Уайта к тайным темным местам можно было бы объяснить его стремлением вернуться в материнскую утробу. Но для Уайта это была не утроба презираемой матери, а подземные укрытия. Там он был в безопасности – спрятан от зорких глаз преследователей.

Он сам соорудил себе могилу. Этакое подобие каркаса рыбачьей лодки

из тонких ясеневых жердей, покрытых влажным одеялом, на котором зеленеют стебельки травы и горчицы. Уайт разбросал семена по шерсти и дождался, пока они прорастут. В то утро он трудился, напоминая черепаху в нависающем надо лбом и плечами панцире. Он вынес свою «лодку» в лес, сверху покрыл ее одеялом и улегся на землю внутри каркаса. У него нет табака. Курить нельзя. Едва получается двигаться. Он лежит уже не один час, дрожа от холода, в ожидании ястребов, которые так и не прилетят. Это бдение, тяжкое испытание, напоминает те долгие ночи, которые он провел с Тетом. Над «райдингами» снова гроза. Небо, как ржавая вода, а деревья, как чернильные пятна. Крупные капли барабанят по одеялу и забираются под одежду. Все тело распарилось – Уайт вспотел, а шерстяное одеяло промокло. Поднимающийся ветер несет запах заряженного электричеством воздуха. Теперь Уайт пребывает гораздо ближе к тем давно умершим людям, которые в состоянии его понять. Как и они, он укрыт в могиле. Мимо проходят браконьеры, и Уайт лежит, затаив дыхание. Эти люди знают лес как свои пять пальцев, они нутром чувствуют, что делается вокруг них. И они его не замечают. Он стал невидимым. Это почти чудо. Телесные страдания – ничто по сравнению с радостью, которую он испытывает, освободившись от боли, сопряженной с существованием у всех на виду.

Глава 21

Страх



Когда я стояла рядом с Мэйбл, склонившись над ее добычей, мне в голову всегда приходила одна и та же мысль: как я могу этим заниматься? Как я вообще могу охотиться? Я ненавижу убийство. Не могу наступать на паучков, спасаю мух, из-за чего надо мной все смеются. Сейчас я впервые поняла, что во мне проснулась жажда крови. Стоило мне лишь начать смотреть на мир глазами ястреба, как все объяснилось. Объяснилось и стало абсолютно очевидным. Заметив в небе птиц, я поворачивала голову и следила за ними с каким-то вожделением.

Ястребиная охота завела меня на самый край моей человеческой природы. А потом еще дальше, туда, где я уже переставала быть человеком. Ястреб летел, следом бежала я, земля и воздух виделись мне в мельчайшем узоре четко очерченных кривых, достаточных, чтобы отрешиться от всего, в том числе прошлого и будущего. Единственное, что имело значение, – это ближайшие тридцать секунд. Я чувствовала легкие порывы осеннего ветерка, огибавшие покатую вершину холма, понимала, что нужно держаться левее и проскочить с подветренной стороны в то место, где водятся кролики. Я карабкалась, шла, бежала. Прижималась к земле. Приглядывалась. Я научилась видеть вещи, которых раньше не видела. Вокруг меня жил целый мир. И его смысл был понятен. Но я знала лишь то, что знает ястреб, и влекло меня по земле то же, что и ястреба: голод, страсть, увлеченность, жажда найти, долететь и убить.

Всякий раз, как ястреб ловил какого-нибудь зверька, я переставала быть животным и снова становилась человеком. Передо мной была великая тайна, которая снова и снова озадачивала меня. Как останавливается сердце. Кролик, распростертый на куче листьев и зажатый в восьми цепких когтях, и ястребуха, расправившая над ним крылья, с раскрытым хвостом, горящими глазами и приподнятыми перьями на затылке – напряженная,

склонившаяся над жертвой хищница. Я дотрагивалась до выпуклых мышц кролика, потом прижимала его голову ладонью у затылка, где мягкий рыжевато-коричневый мех, а другой рукой с силой дергала за задние лапки, чтобы сломать ему шею. Кролик успевал лишь несколько раз брыкнуть в ответ, и его глаза покрывались пеленой. Нужно было проверить, умер зверек или нет, поэтому я тихонько проводила пальцем по зрачку. Этой жизни пришел конец. Конец. Конец. Но другого выхода не было. Если бы я не убила кролика, ястребуха, сидя на нем, принялась бы за еду, и кролик умер бы во время пиршества. Так приканчивают свою добычу ястребы-тетеревятники. Граница между жизнью и смертью пролегает где-то посреди их трапезы. Я не могла допустить таких мучений. Охота превращает тебя в животное, но гибель животного вновь делает тебя человеком. Стоя на коленях рядом с ястребом и его жертвой, я чувствовала огромную ответственность, которая колотилась в моей груди и вырывалась наружу, раздувшись до размеров какого-нибудь гигантского собора.

Много лет я пыталась объяснить людям, что скорее буду есть пойманную ястребом пищу, чем мясо животных, которые прожили свою жизнь в темноте и тесноте хлева или клетки. Кролик скачет по полю, водит носом, принюхиваясь к запаху крапивы и корешков, а через мгновение он уже удирает, его хватают, и вот он мертв. Я говорила, что ястребиная охота не травмирует животное: оно либо поймано, либо убежало. И еще я говорила, что от охотничьих трофеев не остается отходов: все, что поймал ястреб, съедается либо им, либо мной. И если вы едите мясо, то это самый лучший способ его добывать.

Но сейчас все эти доводы казались мне жалкими и бессмысленными. Они не имели никакого отношения к реальному положению дел – когда ты стоишь рядом с ястребом и пойманным кроликом, который выворачивается, брыкается и умирает. Мир берет меня за горло. Вечная главная загадка: смерть, уход. «Но как ты могла?» – спрашивали меня. Кто-то придумал, что после смерти отца я таким образом по кусочкам уничтожала мир. «Ты видела в кроликах себя?» – интересовался другой. Нет. «Так ты совершала самоубийство?» Нет. «Тебе было жаль?» Да. Но я не жалела, что убила животное. Я просто жалела животное. Мне было его жаль. Но не потому, что я считала себя лучше. Моя жалость не была покровительственной. Ее вызвала бы любая смерть. Меня радовал успех Мэйбл и печалила смерть конкретного кролика. Стоя на коленях перед его тушкой, я всеми порами ощущала мир вокруг себя. Колючие капли дождя за воротником. Боль в колене. Царапины на ногах и руках, полученные, пока я пробиралась сквозь живую изгородь, – я почувствовала их только сейчас. И остро, не

выражаемое словами ощущение собственной смертности. *Да, я тоже умру.*

Я узнала недолгое бремя ответственности, которое заставляло меня опуститься на колени и нанести зажатому в лапах Мэйбл кролику *сoup de grece*^[22]. Какая-то часть меня действовала, а какую-то приходилось отодвинуть подальше. Есть такое старинное выражение: «скрепя сердце». Так вот, я поняла, что действовать «скрепя сердце» вовсе не означает быть бесчувственной. Кролик, конечно, был важен. И я вовсе не считала его жизнь пустяком. Я несла ответственность за смерть животных. Впервые в жизни я перестала быть наблюдателем. Я отвечала перед собой, перед миром и перед всем сущим на земле. Но только когда убивала. Дни были очень темные.

Потом они стали еще темнее. Однажды я ехала домой и заметила группу людей: они остановились рядом с кроликом, который лежал, как комочек, в траве на обочине по другую сторону дороги. Люди явно переживали и участливо склонялись над кроликом. Припарковавшись чуть дальше, я стала ждать. Мне не хотелось разговаривать, но забота этих прохожих меня тронула. Они понимали, что кролику плохо, и хотели как-нибудь помочь, но никто не знал, что с ним случилось, и потому не осмеливался подойти ближе. Минуты тянулись, но люди лишь смотрели на зверька: они не могли вмешаться, но и не решались уйти. Потом побрели дальше. Когда они скрылись из виду, я вышла из машины и подошла к этому комочку шерсти. Кролик был совсем маленький. Он исхудал, голова была покрыта какими-то шишками, распухшие глаза в волдырях залеплены грязью. Кролик ничего не видел. «Бедняга, – сказала я, – не повезло тебе». Я наклонилась и, скрепя сердце, прекратила его мучения.

У кролика был миксоматоз. Эта болезнь появилась в Англии в 1952 году, и вирус – изначально южноамериканский, но специально завезенный в Австралию и Европу – за два года убил девяносто пять процентов британской кроличьей популяции. По полям и дорогам валялись десятки миллионов промокших под дождем трупиков. Исчезновение кроликов имело громадное воздействие на природу страны: в местах, где они обычно ели травку, теперь рос густой кустарник, а популяции хищников сократились в разы. С течением времени кролики восстановили свою популяцию, но так и не достигли количества, считавшегося некогда нормой. И хотя вирус миксоматоза в наше время уже не такой опасный, иногда все же случаются вспышки этого заболевания.

Малыш-кролик все не шел у меня из головы. Словно это был призрак, явившийся из далекого прошлого, из тех лет, когда я была ребенком, а

природа переживала тяжелые времена. Умирали не только кролики. Из-за сельскохозяйственных пестицидов стремительно сокращалась популяция ястребов. Превратившиеся в скелеты вяза вырубались и сжигались. Исчезли выдры, в реках текла отравленная вода, в загрязненных нефтью морях погибали кайры. На землю напал мор. И мы были следующие. Я точно знала. Все мы. Мне было доподлинно известно, что однажды прозвучит вой сирены, потом на горизонте дважды вспыхнет яркий свет, я выгляну и увижу вдалеке облако-гриб, а потом ветер принесет радиоактивные частицы. Такую невидимую пыль. И тогда все умрут. Или же мы вернемся в каменный век, будем ходить в лохмотьях и жить, укрывшись среди развалин и тлеющих костров. Но даже эта призрачная надежда на спасение была однажды развеяна. «Мы собираемся строить в саду подземное укрытие от ядерного взрыва?» – спросила я родителей, придя из школы. Они переглянулись. Я решила, что они не поняли, поэтому уточнила: «В брошюре говорится, что мы должны построить укрытие под лестницей, но под нашей лестницей для вас, меня и Джеймса не хватит места». Родители долго молчали, а потом ласково сказали, что наш дом находится совсем рядом с важными военными объектами. «Нет смысла беспокоиться, – добавили они. – Радиоактивных частиц не будет. Если случится война, мы об этом даже не узнаем. Просто мгновенно испаримся». Едва ли нужно говорить, что это объяснение меня не успокоило. Я нацарапала свое имя на кусочках шифера и закопала их в саду как можно глубже. Может, они переживут апокалипсис?

Археология печали всегда в беспорядке. Ты копаешь землю, и лопата вдруг поднимает на поверхность давно забытые вещи. На свет божий извлекается нечто удивительное: не просто воспоминания, но образ мыслей, эмоции, твой прежний взгляд на мир. Кролик и был таким призраком апокалипсиса из моего детства, но на той же неделе возник еще один. На этот раз им оказалась книга. Я сняла ее с полки у знакомых: новое издание книги Дж. А. Бейкера «Сапсан», история о человеке, который в конце шестидесятых годов с редким увлечением наблюдает за зимующими сапсанами, которые обитают в Эссексе. Много лет я ее не перечитывала, но помнила, что в ней автор на редкость поэтично воспеваает природу. Однако, начав вновь читать, я обнаружила, что мое первое впечатление было обманчивым. «Эта книга, – содрогнувшись, подумала я, – происходит отсюда же, откуда и больной кролик». В авторской манере я заметила пугающую жажду смерти и уничтожения – жажду, замаскированную под элегию, обращенную к птицам в отравленных людьми небесах, к соколам, проносящимся, как яркие молнии, и своим желтовато-серым оперением

похожим на солнечный отблеск. Еще не успев исчезнуть, они уже превратились в воспоминания.

Меня испугало то, что стояло за повествованием Бейкера. Такого чувства не вызывал у меня даже Уайт. Несмотря на ужасную историю с Тетом, несмотря на тягу к жестокости и кошмарные политические взгляды, Уайт упорно боролся со смертью. Он любил маленькие прелести этого мира и, зная, что близится война, жил, надеясь на чудо. В книге Бейкера не было никаких надежд. Он полагал, что миру пришел конец, и соколы стали символами гибели: нашей, своей и его собственной. Бейкер не боролся. Он был готов разделить участь соколов. Больше ему ничего не оставалось – только последовать за ними. Сапсаны притягивали его точно так же, как чайки и зуйки из его книги, которые беспомощно вспархивали навстречу смертоносному удару сокола, так же, как клювики-компасы всех маленьких пичуг в живых изгородях, которые в страхе тянулись к магниту в виде парящего в небе сапсана. В книге Бейкера не встретишь ни названий мест, ни имен людей. Они ни к чему. Теперь мне это стало гораздо понятнее, потому что я уже знала, что значит сила притяжения ястреба и как быстро в его сияющем ореоле может исчезнуть мир. Но ястребы Бейкера были тождественны смерти. Взволнованная, я все же надеялась – очень надеялась, – что мой тождествен жизни.

Я никогда не верила в соколов Бейкера, потому что знала реальных птиц еще до того, как прочла его книгу: веселых, дружелюбных, чистивших перышки на загородной лужайке у друзей-сокольников. Но большинство моих приятелей, увлекающихся ловчими птицами, прочли эту книгу до того, как увидели живого сокола, и теперь они уже не могут смотреть на сапсанов, не воскрешая в памяти образы небесной дали, вымирания и смерти. Дикие животные создаются историями людей. Будучи ребенком, я ненавидела то, что думал Уайт о своем тетеревятнике. Но ястребиный призрак Тета все равно вставал за живым узорчатым оперением моей птицы. А за ним возникали призраки еще более мрачные.

Несколько лет назад я была в гостях у одного своего знакомого, в то время президента Клуба британских сокольников. Мы пили чай с печеньем и болтали. Поговорили об истории соколиной охоты, об истории клуба, а потом он сказал:

– Пойдем, что-то покажу.

Мой собеседник открыл буфет, и там, в глубине, наполовину заставленный разными полезными в хозяйстве вещами, стоял он.

– О боже! – воскликнула я. – Гордон, это то, что я думаю?

Взглянув на меня, Гордон кивнул.

– Пакость какая, – сказал он. – Противно держать его в доме.

Я нагнулась и вытащила бронзового сокола на вертикальном пьедестале – тяжелого, стилизованного, с чуть потертыми крыльями.

– Черт возьми, Гордон. У меня прямо мурашки по коже.

– У меня тоже, – ответил он.

Статуэтка была очень ценная и изящная, но нам обоим хотелось, чтобы ее не было вовсе.

В 1937 году Гилберт Блейн и Джек Маврогордато были приглашены в Германию на Международную охотничью выставку. Они отправились в Берлин с экспонатами британских сокольников: чучелами соколов на присадах, сокольничим снаряжением, фотографиями, книгами и картинами. Подозреваю, что решение об их поездке, принятое в последнюю минуту, было отчасти дипломатическим прикрытием: вместе с ними поехал министр иностранных дел, проводивший миротворческую политику, лорд Галифакс, которого пригласили на выставку для тайных переговоров с Гитлером.

Во всей Германии насчитывалось не больше пятидесяти сокольников, однако в Третьем рейхе идею соколиной охоты активно поднимали на щит. На обложке выставочного каталога стилизованный обнаженный сверхчеловек держал на кулаке золотого ястреба. Национальная ассоциация сокольников *Deutscher Falkenorden* пользовалась покровительством государства, а незадолго до описываемых событий в лесу Риддагсхаузен было построено огромное, наполовину обшитое деревом здание Государственного сокольничего центра *Reichsfalkenhof*. На берлинской выставке Блейн и Маврогордато бродили по залам, густо увешанным оленьими рогами и украшенным красными знаменами со свастиками. Им понравились рассаженные по залам немецкие ястребы, соколы и орлы, но значительно меньше их восхитили демонстрации охоты на открытом воздухе. Они смотрели, как балобан хватает привязанного голубя, а орла напускают на совершенно ручного кролика – бедняга сидел и мирно пощипывал травку, пока не угодил в орлиные когти.

Только две страны привезли в Берлин свои экспонаты. Германия получила первый приз, а Клубу британских сокольников досталось второе место. Сокол, которого я извлекла из буфета Гордона, и был той самой наградой. После закрытия выставки его послал в британский клуб Герман Геринг. Геринг – правая рука Гитлера, главнокомандующий «Люфтваффе», егермейстер (главный лесничий) рейха, человек, который когда-то поджег рейхстаг. Он обожал охоту с ловчими птицами. И не только потому, что считал ее романтической забавой древних тевтонских рыцарей. Ястребы

сами по себе были природной элитой, идеальным естественным воплощением нацистской идеологии: живые символы мощи, кровожадности и насилия, они охотились на тех, кто слабее, и не испытывали в связи с этим никакой вины. В изображении любимой птицы Геринга, белого кречета, стоящего на скале, видны все непеременимые атрибуты нацистской изобразительной манеры: купаясь в лучах утреннего света и полураскрыв крылья, кречет холодным взглядом смотрит вдаль. У Геринга был еще и ястреб-тетеревятник. Несколько лет назад в американском архиве я видела его чучело, водруженное на ветку дерева: крупный ястреб с оперением взрослой птицы, в тех же опутенках и с теми же колокольчиками. Его высохшие пальцы крепко держались за пыльную ветку. Чучело было прекрасное. Кто-то очень постарался, чтобы ястреб выглядел как живой. Я всмотрелась в его стеклянные глаза, и меня передернуло. Что, если этот ястреб был в родстве с Тетом? Это вполне вероятно, потому что человеком, который нарисовал кречета Геринга, возглавлял немецкую ассоциацию сокольников, организовал им государственную поддержку и создал Государственный сокольниковый центр, был Ренц Валлер. Именно он прислал Уайту Тета, и именно ему писал Уайт, прося прислать нового ястреба. Валлер ответил несколько недель спустя, заверив Уайта, что попытается «доставить другой дикий ястреб».

Новый ястреб! Уайт в восторге отвинтил колпачок у вечного пера и на внутренней стороне обложки последнего издания «Трактата» Берта составил «План обучения дикого молодого ястреба». Он подробно и весьма авторитетно расписал последовательность занятий с птицей: «Наблюдать за ней всю ночь, постоянно заставляя ее двигаться. Найти помощника, чтобы можно было чередоваться». Но новому ястребу не суждено было попасть к Уайту. За день до доставки птицы Уайта срочно госпитализировали с аппендицитом – как будто его организм восстал против вероятности еще одной утомительной баталии. Одна лишь мысль о ноже хирурга внушала Уайту неподдельный ужас. «В каком-то странном смысле я почувствовал, что стал чище, – писал он Джону Мору после операции. – Думаю, я все-таки храбр и умею владеть собой». Уайт пережил кризис и вернулся в свою хижину. Некоторое время он ухаживал за ночной сиделкой Стеллой, которая заботилась о нем в больнице, но потом решил, что они не пара, и, заметив, что он действительно стал ей небезразличен, жестоко ее отверг.

Зима выдалась долгой и сумрачной. Было что-то мистическое в медленном переходе от снегопада к оттепели, потом опять к снегопаду, а от него к грязи, невзгодам и болезням, как будто, переживая зиму, Уайт переживал века. Вместе с весной к нему вернулась надежда. Он притащил

в дом сироток: неоперившихся голубей, неясить по имени Архимед и парочку новорожденных барсуков. В апреле он отправился в Кройдон за новым ястребом. Он назвал птицу Подружка. Птица была в чудовищном состоянии. Капкан сломал ей половину хвостовых перьев и большую часть первостепенных маховых левого крыла. Уайт напряженно исследовал рисунки в книгах по соколиному делу, потом подрезал перья канюка до нужного размера и приклеил, а потом еще и пришил эти «протезы» к обрубкам ее крыла и хвоста. Он знал, что такая операция считается у сокольников наивысшим искусством. Но толку все равно не было. Во время дрессировки птица билась, хлопая крыльями, на протяжении восьми недель и в результате снова осталась без хвоста и без половины крыла. Она еле-еле могла взлететь.

Но все-таки полетела. Полетела без привязи. Уайт отпустил ее с колотящимся сердцем. Наконец-то он будет охотиться с ястребом, которого сам обучил. Его ослепительные мечты о независимости, его тяга к невинной жестокости – теперь и то и другое были ему доступны. Но на обучение ушло много времени, и он понимал, что Подружку скоро придется оставить дома для линьки. Ястребы сбрасывают перья и отращивают новые раз в году. В этот период они не летают, их принято держать в просторном помещении и кормить *ad libitum*^[23]. Но Уайту нужно было воочию убедиться в своем успехе. И однажды вечером на «райдингах», после нескольких дней безрезультатного хождения, он напустил своего ободранного ястреба на кролика. Подружка полетела с трудом, присаживаясь, – а в какой-то момент скорее даже бежала, чем летела, – но все-таки ухватила кролика за голову. Уайт бросился к ней, вытащил охотничий нож и пригвоздил к земле кроличий череп. Желание, которое никогда не возникало в нем, пока он ухаживал за ночной сиделкой, темной волной вырвалось наружу. «Подумайте о вожделении, – писал он, вспоминая убийство кролика. – Вот она, настоящая жажда крови».

Глава 22

Яблочный праздник



О боже! Что я здесь делаю? Сажу на белом пластиковом стуле в тени ярмарочного шатра. В нескольких метрах от меня примостилась Мэйбл, похожая на падающую на воду тень. Ее крылья плотно сложены, точно две острые сабли, а глаза от ужаса кажутся огромными. Я понимаю, что она чувствует. «Слишком много народа, – думаю я, нервно елозя на стуле. – Слишком много народа».

– Знаешь что, Хелен, – сказал мне Стюарт, – наш домовладелец попросил принести нескольких ловчих птиц на ферму, когда там будут устраивать Яблочный праздник.

– Яблочный праздник?

Стюарт объяснил, что речь идет о небольшой деревенской ярмарке, которая устраивается по давней традиции, чтобы отпраздновать успехи фермеров и отведать местных блюд. «Птицам не придется летать, они просто посидят на свежем воздухе под шатром, чтобы посетители ярмарки могли на них посмотреть. Я возьму своего сокола. Грег – рыжеголового сапсана, Алан – нескольких орлов. А ты сможешь прийти с Мэйбл?

– Да, конечно, – ответила я. – Никаких проблем.

Я вполне могла пойти. Господи, да я же когда-то работала в сокольничем центре! И целые месяцы ничем больше не занималась – только показывала посетителям ястребов. Но по мере приближения дня ярмарки я волновалась все больше. *Справится ли Мэйбл?* Два месяца назад она была бомбоустойчивой и толпоустойчивой. Но тетеревятники не похожи на остальных ястребов: чтобы оставаться ручными, им требуется постоянная носка на людях. Теперь, когда мы живем в малонаселенном пригороде, мы неделями не видим посторонних. И она забыла, что значит не бояться человека. Я, кстати, тоже. Я так сильно стиснула зубы при виде толпы, что почувствовала, как заныла челюсть.

Через двадцать минут Мэйбл уже поднимает одну ногу, и это выглядит довольно комично. Она недостаточно расслабилась, чтобы распушить перья, и все еще напоминает мокрого пестрого тюленя. Но все-таки слегка успокоилась и выглядит, как человек, который ведет машину, положив руку на рычаг коробки передач. Рядом с другими птицами она кажется маленькой и жалкой. Слева от нее – беркут, громадина, у которого перья на груди лежат, как кольчуга, а лапы с когтями размером с человеческую руку. Справа – самец боевого орла, черно-белое чудовище с пронзительными белыми глазами, способный убить антилопу. Он огромен: крупнее, чем те собаки, что проходят мимо сетчатого ограждения перед шатром, и он следит за ними, приподняв хохолок, похожий на лепестки черной хризантемы, и не торопясь обдумывает возможности убийства.

Стюарт принес своего сокола, Грег – рыжеголового сапсана, небольшого красивого сокола с оперением серовато-голубого и медно-желтого цвета и тонкими золотистыми пальцами. Сапсан чистит перышки, а его хозяин сидит, положив ногу на ногу и болтая со зрителями. На локте его красного кашемирового свитера зияет большая дыра. Алан, владелец беркута, пьет чай из пластиковой чашечки, положив руку на высокую присаду сокола-балобана, а тот смотрит на него игриво и дружелюбно.

Мне не сидится на месте, и я отправляюсь погулять по ярмарке. Она небольшая, но на ней множество удивительных вещей. Сквозь высохшие листья каштана поднимается, завиваясь, дымок от барбекю, жарящегося на металлической бочке. Под деревом разливают в чашки яблочный сок из старинного деревянного пресса. Раздавленная окисленная мякоть падает в кучи рядом, и человек, загружающий яблоки в пресс, что-то кричит грубоватому садоводу у соседней палатки, где продаются саженцы. Я нахожу палатку с тортами и кексами, гримировочную палатку, палатку-виварий со змеями, пауками и палочниками размером с ладонь. У фургона с мороженым поставлен целый прилавок для продавцов оранжевых тыкв. Мальчик, согнувшись, смотрит на кролика, сидящего в клетке с надписью «Меня зовут Флопси». «Привет, Флопси!» – говорит мальчик и прижимает к проволоке руку. Я захожу в белый шатер и внутри, в зеленоватом сумраке, вижу столы, на которых разложены сотни видов яблок. Одни величиной с куриное яйцо, другие – те, что непременно требуют варки – гигантские, разросшиеся до таких размеров, что их можно держать только обеими руками. Каждый вид положен в отдельный деревянный ящик с ярлыком. Медленно прохожу мимо яблок, наслаждаясь их мельчайшими различиями. Нежно-оранжевые, с тигровыми пятнами, в розовую полоску. «Чарлз Росс. Беркшир, до 1890 г. Двойное использование». Мелкие, с красновато-

коричневыми, под цвет коры, отметинами на бледно-зеленом фоне. «Коронация. Суссекс, 1902 г. Десертные». Миниатюрные зеленые, похожие на гальку, темно-розовые с той стороны, что была на солнце. «Радость Чиверза. Кембриджшир, 1920 г. Десертные». Огромное яблоко, темно-желтое, с выступающими пятнами ярко-красного цвета «Идеал Писгуда. Линкольншир, 1853. Двойное использование».

Яблоки меня развеселили. Торговые ряды тоже. Я решила, что ярмарка – это замечательно. Иду назад на свое место и вместе с Мэйбл успокаиваюсь. Жадно съедаю бургер, болтаю с друзьями-сокольниками. Мы рассказываем друг другу разные истории, анекдоты. Старые печали отступают. В мельчайших подробностях мы обсуждаем качества, способности и особенности охоты различных птиц. Я вдруг понимаю, как сильно изменилась соколиная охота со времен Блейна и Уайта. В ту эпоху она была занятием для избранных, аристократический спорт офицеров и джентльменов. В Германии охота с ловчими птицами давала пищу отвратительным рассказам о мифическом арийском прошлом немецкой нации. А сегодня мы сидим здесь – все совершенно разные: плотник и он же бывший байкер, смотритель зоопарка и он же бывший военный, еще два смотрителя зоопарка, электрик, а рядом с ним забросивший науку историк. Четверо мужчин, две женщины, два орла, три сокола и ястреб-тетеревиатник. Я пью сидр из горлышка и понимаю, что именно о такой компании мечтала всю жизнь.

– Извините, это ястреб-тетеревиатник?

Мужчина лет сорока, в очках. Коренастый, веселый. Держит за руку егозу-малыша.

– Подожди, Том, – просит он. – Сейчас купим тебе мороженое. Только я хочу сначала немножко поговорить с этой дамой.

Я улыбаюсь. Мне известно, что значит удерживать создание, которому не терпится быть совсем в другом месте. И тут – совсем чуть-чуть – мое сердце сжимается.

Ни отца, ни друга, ни ребенка, ни работы, ни дома.

«Не раскисай, Хелен», – мысленно шиплю я самой себе.

– Это ваш? – спрашивает он. – Ух ты, какой!

Я рассказываю ему про ястребов-тетеревиатников. Он слушает. Потом его лицо делается серьезным и печальным.

– Как вам повезло! – говорит он. – Я всегда хотел заниматься соколиной охотой. Всю жизнь. У меня и книжки есть, все есть... но никак не найти времени, – он задумывается. – Может, когда-нибудь... – Он прижимает к себе Тома. – Ну что, пошли, – говорит он, и они направляются

к фургону с мороженым.

Белесый воздух и боль в костях. У меня снова мигрень. Глотаю таблетку с кодеином и парацетамолом. Голова не проходит. За окном туманно-серый свет, словно к стеклу приклеили кальку. Снова ложусь в постель. «Надо вывезти на охоту ястреба, – думаю я, проснувшись. – Надо вывезти на охоту ястреба». Но мне так тяжело двигаться, что я тайно надеюсь, вдруг сегодня у Мэйбл неподходящий для охоты вес или на дворе плохая погода. Но на этот раз предлога остаться в постели не находится: и птица, и погода в норме.

Мы выезжаем в необычный безветренный солнечный день, когда все вокруг напоминает мне полые металлические объекты, покрашенные эмалевой краской. Облака, гирлянды листьев, дома. Все как будто склепано вместе в одной плоскости, как театральный задник. В воздухе запах древесного дыма. Я невероятно устала. Паркуюсь на травке у поля, меняю Мэйбл опутенки, снимаю клубочек, и она тут же входит в ярак. Она узнает местность: здесь – мы, там – кролики. Птица взлетает, и сразу же стихает моя головная боль и улетучивается усталость. Ее полет с каждым днем становится все изящнее. И я не устаю поражаться ее скорости. Глядя, как она удаляется от меня, сгорбившись, словно покрытая чешуей, и несется к далекой цели, я могу поклясться, что окружающий мир замедляет свое движение. Такое впечатление, что она мчится с идеально выверенной скоростью, а бегущие кролики, падающие листья, голубь над головой – все это замедляется, точно их погрузили в какую-то жидкость.

Меня потрясает, как она внимательна. Я начинаю верить в существование того, что Барри Лопес назвал «диалогом смерти». Так обмениваются взглядами северный олень и стая волков: их бессловесные переговоры завершаются принятием решения, стать ли им добычей и охотниками или пойти каждому своей дорогой. Интересно, мой ястреб ведет себя так же? Вот он уже снова у меня на кулаке. Я направляюсь к трем кроликам, которые сидят на траве совсем рядом, не более чем в десяти шагах от нас. Подхожу еще ближе. Осталось пять шагов! Мэйбл несомненно в яраке, но на кроликов даже не смотрит. Она вглядывается в дальний конец поля. Что-то там есть, но лететь туда целых шесть-семь секунд. «Мэйбл, – шепчу я, – посмотри!» и пытаюсь так повернуть руку, чтобы она увидела кроликов, жующих травку прямо у нас под носом. Один из них даже скачет. *Ну вот же они.* Никакого впечатления. Я ничего не понимаю. Опять, изогнув шею, птица всматривается во что-то на той стороне поля. И в следующее мгновение на моей руке уже никого нет.

Мэйбл улетела. Она несется очень низко и очень быстро, облетая сверху, как будто поднимаясь и опускаясь в танце, кустики невысокой крапивы. Одного кролика ей схватить не удастся, и тогда, произведя молниеносные вычисления и переключив внимание, она набрасывается на другого. Наверное, с этими двумя она как раз и вела «диалог смерти».

Бегу к тому месту, где Мэйбл кинулась на жертву, но не нахожу свою птицу. *Где она?* Кругом крапива, но это всего лишь вновь отросшие маленькие стебельки, не больше восьми сантиметров высотой. *Где мой ястреб?* Стою, затаив дыхание. Тишина. Но вот до меня доносится еле слышное звяканье колокольчиков. Наконец я замечаю ее голову, позмеиную высывающуюся из крапивы. *Какого чер...* Кажется, птицу прибили, раздавили, как будто сила гравитации вдруг увеличилась раз в десять. Крылья растопырены, перья от напряжения торчат вверх. Ага, теперь понятно. Она раскрыла крылья, чтобы удержаться на поверхности, потому что ей все-таки удалось вцепиться в кролика, но тот ускользнул в нору. И теперь она изо всех сил старается, чтобы он не утянул ее за собой. Клюв разинут. Я сую руку в нору, протискиваюсь вдоль ее невероятно длинных лап и нащупываю кроличью ногу. Мэйбл его почти поймала. Хватаю ногу и соображаю, как же вытащить добычу из норы. Тяну, но кролик брыкается. Ястреб пищит. Тогда я начинаю тянуть под другим углом, потихоньку, как злобный ярмарочный фокусник, извлекаю кролика из норы и бросаю на траву. Мэйбл начинает топтать свою жертву ногами, пританцовывает, потом отпускает заднюю кроличью ногу и хватается за голову. Кролик не шевелится. Мэйбл в такой ярости, что не перестает его топтать, даже когда он уже мертв. Наконец она принимается выщипывать кроличий мех. Несколько минут выдирает клочки, и мягкие серые пушинки толстым слоем ложатся вокруг нас.

Диалог смерти. Мысленно я все время возвращалась к этому определению. Оно приходило мне на ум в самые неподходящие моменты – когда я принимала ванну, чесала нос, тянулась за кружкой с горячим чаем. Мое подсознание пыталось мне что-то сказать, и, хотя оно кричало довольно громко, я ничего не слышала. Дела шли плохо. Очень плохо. Однажды Мэйбл прыгнула с присады мне на кулак, неожиданно выбросила вперед одну ногу и вонзила четыре когтя в мою голую правую руку. Я замерла. На кухонный пол закапала кровь. Я не могла ничего сделать. Слишком крепко она вцепилась. Пришлось ждать, пока она соизволит меня отпустить. Я ощущала ее страшную силу, но мне казалось, что боль, хотя и мучительную, испытываю не я, а кто-то другой. «Почему

Мэйбл схватила меня? – в панике задавалась я вопросом после того, как птица отпустила мою руку и продолжала вести себя как ни в чем не бывало. – Ведь раньше она не проявляла агрессии». Я точно не сделала ничего такого, что могло бы ее спровоцировать. Может, ее слишком тянет охотиться? Сломались весы? Четверть часа я возилась со столбиками двухпенсовых монеток, чтобы проверить, верно ли они показывают вес. Оказалось, что весы в порядке. Но вот со мной явно что-то было не так. И дело не только в ране, которую нанес мне ястреб. Я стала страшно нервной. Когда почтальон стучал в дверь, я в ужасе подпрыгивала. Отшатывалась, если звонил телефон. Перестала видиться с людьми. Отложила выступление в галерее. Заперла входную дверь. На холме я старалась не встречаться с теми, кто приехал туда погулять, пряталась за живыми изгородями при виде выезжающих на дорогу сельскохозяйственных машин. Иногда я лежала в постели с какой-то загадочной болью, и ее единственной понятной причиной мне представлялась смертельная болезнь.

Можно было бы объяснить, что со мной происходит, обратившись к книгам и статьям. Можно было бы почитать Фрейда или Кляйн^[24]. Можно было бы изучить сколько угодно теорий о привязанности, утрате и горе. Но все эти объяснения существуют в мире, в котором нет места ястребу. И поэтому они не помогают. Это все равно что описывать любовные чувства, потрясая результатами МРТ-сканирования головного мозга влюбленного человека.

Датский антрополог Ране Виллерслев целый год жил среди юкагиров в Северо-Восточной Сибири и был поражен, как местные охотники воспринимают отношения между животным и человеком. Охотники, по его словам, считают, что «люди и животные могут превращаться друг в друга, на время переселяясь в чужое тело». Если ты охотишься на лося, то надеваешь лосиную шкуру, ходишь, как лось, и перенимаешь его сознание. Когда ты так делаешь, лось принимает тебя за своего и выходит навстречу. Однако, продолжает Виллерслев, юкагирские охотники считают такие превращения очень опасными, потому что можно утратить «изначальную идентичность своего вида и подвергнуться незаметной трансформации». Превращение в животное может нанести вред человеческой душе. Виллерслев пересказывает историю об одном охотнике, который много часов преследовал северного оленя и в конце концов оказался в незнакомом селении, где какие-то незнакомые женщины угостили его лишайником и он стал все забывать. Он помнил, что у него есть жена, но не мог назвать ее имя. В полном замешательстве он уснул, и лишь когда ему приснилось, что

он находится в окружении северных оленей и они просят его уйти, охотник сообразил, что с ним произошло.

Когда я прочла этот рассказ, у меня по спине пробежали мурашки, потому что я узнала в охотнике себя. Я сознательно превратилась в ястреба – переняла все качества тетеревины, описанные в книгах. Нервная, вечно настороже, точно параноик, склонная к приступам страха и ярости, я ела с жадностью или вообще не ела, избегала общества других людей, пряталась от всех, впадала в странные состояния, когда уже сама не понимала, кто я и что я. День за днем охотясь с Мэйбл, я позаимствовала у нее – в своем воображении, конечно, а как иначе? – не свойственную человеческому глазу перспективу, животное восприятие мира. Я привнесла в свое сознание что-то близкое к сумасшествию и даже не понимала, что сделала. Маленькой девочкой я думала, что превратиться в ястреба можно только по волшебству. А прочитанная мною история из книги «Меч в камне» способствовала возникновению идеи о полезности такого превращения: это был жизненный урок для ребенка, которому суждено стать королем. Но сейчас этот урок меня убивал. В жизни все оказалось совершенно иначе.

За два дня до поминальной службы по отцу на холме во время нашей охоты произошел необычный случай. Мы поднимались вдоль живой изгороди по краю сжатого поля. В кустах мы обе заметили фазана – услышали его квохтанье и шелест, когда он прошмыгнул, точно крыса, мимо сырой, поросшей крапивой канавы. Мэйбл рванула вверх и уселась над живой изгородью, но повернулась в другую сторону, так что мне ее не было видно. Мы обе были возбуждены. Я полезла в кустарник, предвидя, что теперь в любую секунду, шурша лоснящимися перьями, фазан может выскочить мне навстречу. Потом я высунулась и сразу услышала в воздухе свист, после которого, к своему крайнему изумлению, почувствовала сильнейший удар по голове. Я отпрянула. На меня напала моя птица! В глазах потемнело, потом из них посыпались искры. Возникло странное проприоцептивное чувство, что мне на голову надет терновый венец – непривычный нимб боли. Мэйбл оттолкнулась от меня, оставив восемь следов когтей, вновь уселась на дерево и, изогнувшись, стала всматриваться в заросли в поисках фазана, который сделал то, что великолепно умеют делать все фазаны, – удрал. Я отрешенно покачала головой. *Она решила, что это фазан. Она не поняла, что это я прячусь.* В ушах странно загудело, но вскоре, когда за дело взялись эндорфины, боль немного утихла. Я протянула руку, посвистела и, когда Мэйбл вернулась, машинально пошла с ней дальше вдоль живой изгороди. Мы продвигались

вперед, освещенные солнцем, и я почувствовала приятную нежную ауру окутавшего нас золотистого тепла. Голова немного кружилась, ноги не очень слушались. «Почему мне все кажется таким странным и откуда такая резь в глазах? – недоумевала я. – И с чего это ястреб хлопает крыльями прямо у меня под носом?»

Сообразила я не сразу. Но когда потерла глаза, моя рука оказалась – по-шекспировски театрально – вся испачкана кровью. Я сняла очки, они тоже были в крови. Кровь стекала по лбу в левый глаз и, конечно, привлекала внимание голодного ястреба.

«Бог мой! – подумала я. – Прямо как у Эдгара По».

Рукавом и пучком мокрой травы я стерла кровь – там, где ее было больше всего. К счастью этого оказалось достаточно, чтобы ястреб-тетеревиатник передумал меня есть. Нащупала след от когтя – глубокий порез длиной чуть больше сантиметра прямо между глаз. Ага, шестая чакра, средоточие скрытого знания, теперь окрашенное в красное «бинди»^[25] аустрингера. Я зажала ранку, чтобы остановить кровь.

Потом мы продолжали охотиться, и я, спотыкаясь, бегала по полям в тумане болезненной эйфории. Солнце село за облачную пелену серого вещества головного мозга, превратившись в светящийся диск, который сиял мне сквозь наполненный тальком воздух, и оно было в точности такого же цвета, как глаз Мэйбл. Я подняла руку с птицей повыше, чтобы сравнить их, и была потрясена сходством солнца и ястребиного глаза. Когда мы забрались на вершину холма, ноги отказались мне служить. «Хватит, – сказали они. – Хватит ходить. Присядь и немного вздремни».

Поэтому я уселась прямо в жнивье и, слабо соображая, могла лишь поражаться красоте окружающего мира. Из низин поднимался туман. Над головой тучами пронеслись стайки золотистых ржанок. Под ногами на фоне сухих срезанных стеблей голубели свежие листочки рапса. А в небе полыхали отсветы пропавшего за вершинами холмов солнца. Заводили свои песни сверчки. Прямо над нами к месту своего ночлега летели грачи, напоминая движущиеся созвездия маленьких черных звезд. И, быть может, удар по голове, полученный от ястреба, всколыхнул у меня в сознании что-то человеческое, потому что, вернувшись домой, я села на диван, залепила ранку кругляшком пластыря и всего за двадцать минут написала траурную речь для папиной поминальной службы.

Глава 23

Поминальная служба



Я сидела в поезде, зажав в руках папку с речью, и от радиатора было жарко ногам. За окошком чувствовалось морозное дыхание зимы. Бумажно-белые небеса. Сверкающие льдом деревья. Пустые поля, словно с подсветкой, которые становились все уже и короче по мере разрастания города. Потом я со своей папкой оказалась в церкви и глядела на сотни ног на черно-белом полу, на сотни плеч, галстуков и острых воротничков, на края юбок и гулко цокающие черные каблочки. Забеспокоилась, что, наверное, оделась недостаточно хорошо. Черное хлопчатобумажное платье, купленное в магазине «Дебенхем». Может, оно не годится для такого случая? Почему я не пошла и не купила что-нибудь более подходящее? Что-нибудь дорогое, элегантное, с четко обрисованными контурами. Лишь через несколько секунд я поняла, что мои переживания совсем не связаны с одеждой. Я села на скамью между мамой и братом, взяла их за руки, и голова закружилась от любви и печали. Рядом сидели моя тетя и девушка брата с родителями. Мы были одной семьей. Правда, одной семьей. Я оглянулась посмотреть, кто будет выступать. Вот Рон Морганс и Аластер Кемпбелл – они работали с папой много лет. А дальше Джереми Селуин, тоже фотограф, кусая губы, следит, как церковь заполняется народом.

Сжимая речь в руке, я подошла к кафедре. Я прочла столько лекций, провела столько семинаров. Конечно, выступить мне будет нетрудно. Но оказывается, я ошиблась. Меня охватил страх. Чтобы удержаться на ногах, пришлось ухватиться за края деревянной кафедры. «Как быть? Не надо смотреть на публику, – подсказывал внутренний голос. – Представь себе, что в церкви никого нет».

Но вдруг вклинился другой голос: «Посмотри на собравшихся».

И я посмотрела. Сотни лиц. Папины коллеги, друзья. Страх тут же исчез. Больше мне нечего было бояться. И я начала говорить. Стала

рассказывать о папе. Немного о его детстве. Потом сказала, что он был удивительным отцом. Напомнила о его нелепой привычке ходить исключительно в костюмах, хотя иногда он делал себе поблажки и по выходным не надевал галстук. Рассказала, как во время нашей поездки в Корнуолл, когда папа собирался фотографировать полное солнечное затмение, мы стояли на берегу под темнеющим небом и к нам подошел человек в длинном белом одеянии и с серебряной диадемой на голове. Он заявил, что является реинкарнацией короля Артура.

– Чего это вы вырядились в костюм? – удивленно спросил он отца.

– Видите ли, – ответил тот, – никогда не знаешь, кого встретишь.

А потом я рассказала историю, которую, как надеялась, поймут все собравшиеся.

Отец, еще совсем мальчик, стоит у забора и смотрит в небо. Перед ним аэродром Биггин-Хилл, и папа наблюдает за самолетами ВВС Великобритании. Ему лет девять? Десять? Он фотографирует висящим на шее дешевеньким «Брауни» каждый садящийся и взлетающий самолет, а после записывает номер в тетрадь со спиральным корешком. Становится поздно. Пора уходить. Но вдруг мальчик слышит совершенно незнакомый звук, гул какого-то неизвестного двигателя, и – да, вот оно! – вот мгновение, о котором он мечтал. Он вглядывается в небо и видит посадочные огни... чего? Что это такое? *Он не знает, что это за летательный аппарат.* Такого нет ни в одной из книг. Он делает снимок и записывает номер в тетрадь. Это гость из будущего: новый американский самолет. Для юного воздушного наблюдателя пятидесятых годов это то же самое, что увидеть воочию Святой Грааль.

Когда я писала свою речь, все еще немного оглушенная нападением Мэйбл, моя рука потянулась к телефону: я хотела позвонить, чтобы узнать у папы, какой же модели был тот самолет. И тогда на мгновение весь мир вновь стал для меня черной дырой.

На плечо мальчику легла рука и чей-то голос сказал: «Пойдем-ка со мной, приятель». Его притащили в помещение охраны и втолкнули в дверь. Из-за стола поднялся хмурый человек с усами, похожий на сержанта-майора, наорал на него, выдрал страничку из тетради, скомкал ее и выбросил в корзину для бумаг. Снова принялся орать, открыл крышку фотоаппарата, засветил пленку, выдернул серпантин прозрачного ацетата и швырнул туда же, в корзину. «Я ревел, как белуга, – вспоминал папа. – А

они приказали: «Иди домой и забудь, что ты здесь был. Ты ничего не видел». Меня выпихнули за ограждение, и я стоял с тетрадкой и фотоаппаратом весь в слезах. Но потом перестал плакать, потому что кое-что придумал. Что-то из «Дика Бартона»^[26] или «Орла». Может, когда писал, я достаточно сильно надавил на карандаш?» Папа заштриховал грифелем следующую страницу, и на сером фоне проявились белые буквы с вырванной страницы – номер секретного самолета. Отец рассказывал, что сразу же утер слезы, радостный вскочил на велосипед и помчался домой.

Я села оглушенная. Солнечный свет из окна. Что-то происходило: одно, другое. До боли прекрасное пение хора. Молитвы каноника. Траурные речи, в которых превозносилось папино профессиональное мастерство. Аластер Кемпбелл вышел к кафедре и прочел стихотворение Вордсворта «Сонет, написанный на Вестминстерском мосту», предварив его небольшой речью, в которой он особенно подчеркнул, что мой отец был «хорошим человеком». Это меня сломало. Я не ожидала такого. Именно такого. Все пели псалом «Иерусалим», и я заставляла себя раскрывать рот, но ничего не могла выдать, кроме обрывочного шепота. Потом, когда мы уже стояли во дворе под деревьями, ко мне приблизился молоденький паренек в лиловом вязаном джемпере, с запотевшими очками на носу и, ужасно волнуясь, сказал: «Вы меня не знаете. Я тут ни с кем не знаком. Одни знаменитости. Но я хочу сказать, что... знаете... я сам теперь фотограф. Работаю, зарабатываю. Я переехал в Лондон, чтобы стать фотографом, хотя толком не понимал, за что взялся. И однажды, когда я фотографировал по работе, мы встретились с вашим отцом и разговорились. Он дал мне столько дельных советов. Очень помог. Его никто не заставлял, он сам. Просто спас меня. Он был потрясающий...» Парень не знал, как закончить, и, смутившись, замолк. Я шагнула к нему и обняла, потому что у меня тоже не было слов. Подходили еще люди и говорили о папе. Собралась вся «старая гвардия», фотографы шестидесятых. Наконец я смогла посмотреть на авторов, чьи имена мне так часто случалось видеть в подписях под фотографиями. Они сказали, что им понравился мой рассказ. Им приятно было услышать, что отец – прирожденный журналист. Что мальчик в коротких штанишках уже тогда ничуть не отличался от человека, которого они знали, человека, который всегда сделает снимок, всегда вырвет свою историю из пасти неудачи.

После церкви поминки продолжились в Пресс-клубе. Выпивали. Наливали снова и снова. Люди становились все более общительными, спешили рассказать мне каждый свое. Чем больше они пили, тем путаннее

звучали их рассказы, а объятия и поцелуи не всегда достигали цели.

– Еще рюмочку? – спросил меня один газетчик.

– Что-нибудь безалкогольное, – попросила я.

Он ушел и вернулся с огромным бокалом вина.

– Э-э, мне хотелось бы чего-нибудь безалкогольного, – в замешательстве повторила я.

– Я вам и принес. Разве это алкоголь?

Я уходила с поющим сердцем. Мне казалось, что наша семья увеличилась человек на двести и что все будет хорошо. «Да благослови тебя Бог, отец! – думала я. – Я всегда считала, что ты человек-легенда, а теперь знаю, что так оно и есть».

В поезде по дороге домой я все время думала о папе и о той ужасной ошибке, которую совершила. Мне казалось, что мое горе пройдет, если я убегу от мира людей в мир дикой природы. Так многие поступают. Я читала об этом в книгах. Скитания авторов часто были вызваны пережитым горем или тоской. Некоторые обрекли себя на поиски животных, которых почти невозможно найти. Кто-то разыскивал белых гусей, кто-то – снежных барсов. Кого-то привлекала земля – ее тропы, горы, побережья и лощины. Одни искали дикую природу далеко от дома, другие – совсем рядом. «Природа зеленых, безмятежных лесов исцеляет и успокаивает все страдания, – писал Джон Мьюир^[27]. – У земли нет печалей, которые она не могла бы исцелить».

Теперь я знала цену этим словам: заманчивая, но опасная ложь. Я злилась на саму себя и на свою бессознательную уверенность, что именно так могу исцелиться. Руки нам даны, чтобы протягивать их другим. Они не предназначены лишь для того, чтобы служить присадой для ястребов. И дикая природа – не панацея для человеческой души, слишком многое может разьесть душу так, что от нее ничего не останется.

К тому времени, как я приехала домой, мне стало ясно, почему Мэйбл ведет себя так странно. Мы охотились с ней на холме несколько недель, и благодаря этому ее мышцы окрепли, птица стала тяжелее. И хотя она охотилась, в последнюю неделю корма ей было явно недостаточно. Она не наедалась. Голод заставил ее нападать.

Как я ругала себя, когда еще в поезде поняла свою первую крупную ошибку! Но второе открытие заставило меня себя возненавидеть. Я была настолько слепой, настолько несчастной, что не видела, что моя птица тоже несчастна. Я вообще ее не видела. Мне пришел на память мужчина, в которого я влюбилась, когда умер отец. Я его почти не знала, но меня это не

остановило. Я использовала его, чтобы справиться со своей утратой, пыталась превратить его в того, в ком нуждалась. Ничего удивительного, что он сбежал. А теперь я наступаю на те же грабли. Скрывшись от мира, чтобы стать ястребом, я в своем горе лишь сделала ястреба собственным зеркальным отражением.

Серым прохладным вечером следующего дня, расслабившись от того, что в моем мире произошли глобальные изменения, настоящий тектонический сдвиг, я скормила Мэйбл целого голубя. Мы сидели на стуле под яблоней и слушали, как в кустах живой изгороди поют черные дрозды. Дом больше не казался мне неприветливым. Квадрат мягкого света от кухонного окна падал в сад. На лужайке постепенно выросла тронутая морозом куча голубиных перьев. Потом Мэйбл принялась за еду. Она проглотила все, до последнего кусочка. Когда все было съедено, ее зоб так наполнился, что она едва держалась на ногах.

Пока она выщипывала у голубя перья, мне открылось кое-что еще, как будто с выщипыванием перьев открывались и нечто иное. Мне вспомнились мои весенние сны, в которых ястреб улетал от меня, исчезая в небе. И мне так хотелось последовать за ним, улететь и пропасть. Долгое время я думала, что я тоже ястреб-тетеревятник – одна из тех непослушных птиц, которые умеют переноситься в другой мир и которые когда-то зимой улетели от хозяев и сидели высоко на деревьях. Но я не была ястребом, сколько бы ни старалась низвести себя до птичьего уровня, сколько бы ни теряла свою сущность среди крови, листвы и полей. Я была одной из тех, кто стоял под деревом поздним вечером, подняв от сырости и холода воротник, и терпеливо ждал возвращения своего ястреба.

Теперь Мэйбл пробивала клювом хрупкую грудную клетку голубя и тянула за межреберную мембрану. *Щелк.* Я вспомнила отца: как он заштриховывал карандашом страницу с проступающими на ней призрачными знаками. *Щелк.* Вспомнила Уайта и задумалась о причинах, по которым его книга все это время не давала мне покоя. *Щелк.* Сломано еще одно ребро. Дело было не только в том, что в его книге я увидела – в туманной ретроспекции – собственное бегство в дикую природу, но и в том, что из всех прочитанных в детстве книг это была единственная, где животное не погибло.

Тет не умер. Он всего лишь пропал. Несмотря на уверенность Уайта, что его ястреб погиб, всегда, до самого конца книги и даже после, у меня сохранялась надежда, что он может вернуться. В глубине моего детского сознания ястреб все еще был там, среди лесов, его желтые пальцы цепко держались за шершавый сук, а белесые глаза пристально смотрели на меня

из темного переплетения ветвей в огромном море ста тысяч деревьев.

Мелани Кляйн писала, что детское сознание проходит через такие стадии, которые можно назвать оплакиванием, и это детское оплакивание воскресает, когда во взрослой жизни человек вновь испытывает горе. Она полагала, что взрослые пытаются справиться с новыми потерями так, как они это делали раньше. Я вспомнила пустельгу, которую изобразила шестилетней девочкой, с четко прорисованными опутенками, с узелками и линиями, выразившими отчаянное стремление удержать птицу.

Тет все еще был там, в лесу – в темном лесу, где место всем нашим утратам. Мне хотелось перейти границы знакомого мира, проскользнуть в тот лес и найти потерянного Уайтом ястреба. Какой-то частицей своего сознания – совсем маленькой, но существовавшей давным-давно – я понимала это и потому не действовала по обычным правилам, а подчинялась логике мифов и снов. И еще я надеялась, что где-то в том мире пребывает мой отец. Он умер так внезапно. У меня не было времени подготовиться к его смерти, и невозможно было до конца ее осознать. Для меня она стала утратой, потерей. А значит, отец был там, все еще там, в чаще леса, вместе с остальными, кто умер или пропал. Теперь я знаю, откуда брались мои весенние сны, в которых ястреб сквозь щель в небесах проскальзывал в иной мир. Мне тогда хотелось улететь вместе с ним и найти папу. Найти и привести домой.

Глава 24

Лечение



Иногда, когда встает заря, она лишь освещает плачевные обстоятельства моей жизни. Каждое утро я просыпаюсь в пять, и у меня еще есть секунд тридцать, прежде чем на меня накатится отчаяние. Отец мне больше не снится, люди мне вообще больше не снятся. Зима. Я брожу по замерзшему песку, мимо бассейнов, в воде которых отражается туман. В них полно перелетных птиц, застрявших здесь из-за погоды, и им никак не улететь на зимовку в теплые края. Иногда мне снится, что я лазаю по деревьям, они ломаются, я падаю, порой во сне я плыву в утлых суденышках, которые переворачиваются в замерзшем море. Жалостливые сны. Чтобы их понять, мне не надо идти к психоаналитику. Я и так знаю, что теперь я не верю никому и ничему. Еще я знаю, что жить довольно долгое время, не веря никому и ничему, очень тяжело. Это все равно что жить без сна. В конце концов человек умирает.

Вечерами я играю с Мэйбл. Я сделала ей игрушки из писчей бумаги, салфеток и картона. Она наклоняет голову, распушает перышки на подбородке, пищит, берет клювом игрушки, бросает их и начинает прихорашиваться. Я кидаю ей скомканные бумажные шарики, она их ловит и, мотнув головой, швыряет мне обратно. Потом наклоняется и ждет моего броска. Какая-никакая, но все же игра. Когда я рассказала Стюарту про наше развлечение, он не поверил. С тетеревятниками никто не играет. Это не практикуется. Но мне игра помогает как-то справиться со своей подавленностью. Чтобы общаться, у других охотников есть не только ястребы, но и люди. Для них тетеревятники – это лишь малая часть дикой природы, противовес быту. И только в лесах, охотясь с ястребами, они предаются стремлению к одиночеству и кровожадности, таящемся в их душе. Но потом возвращаются домой, ужинают, смотрят телевизор, играют с детьми, спят с любимыми, просыпаются, заваривают чай и идут на

работу. Соколыники говорят, что человеку нужно и то, и другое.

Но у меня нет и того, и другого. У меня есть лишь дикая природа. И она мне больше не нужна. Быт меня не угнетает. Его просто нет. И сейчас мне не требуется ощущать свою сопричастность призраку темных северных лесов, существу со зловещим взглядом и смертоносными когтями. Руки даны человеку, чтобы протянуть их другому, чтобы обнять другого. Но не сворачивать шею кроликам, не вытаскивать спутанные кишки на подстилку из палых листьев, когда ястреб наклоняет голову, чтобы напиться крови из груди добычи. Смотрю на все это, и мне горько. Мы существуем в вечном настоящем. Кролик перестает дышать, ястреб ест, листья падают, в небе плывут облака. Мимо полей проезжает машина, в ней спокойно сидят люди, которые направляются куда-то, закутанные в жизнь, как в шубу. Шорох шин постепенно стихает. Вдали кивает головой цапля. Я смотрю, как ястреб выщипывает, кромсает и выдирает мясо из передней лапки кролика. Мне его жаль. Он родился, рос на воле, ел траву и одуванчики, чесал лапой мордочку, прыгал по полю. У него были свои дети-крольчата. Он не знал одиночества, потому что жил рядом с другими представителями своего племени. А сейчас превратился в аккуратные порции еды для ястреба, проводящего вечера за телевизором на полу гостиной. Черт возьми, все это непостижимо! Проезжает еще одна машина. Лица пассажиров оборачиваются, чтобы рассмотреть меня, склоненную над ястребом и кроликом. Я напоминаю себе живую картину у придорожной часовни. Только непонятно, кому в этой часовне поклоняться. Я – придорожный призрак. Несу смерть окружающим... Кажется, я перестаю понимать, что говорю.

А был ли вообще в моих словах смысл? Уайт полагал, что обучение ястреба сродни психоанализу. Что обучение ястреба-тетеревятника сродни обучению личности – не человеческой, а ястребиной. Теперь я вижу, что во мне больше от кролика, чем от ястреба. Жить с тетеревятником – это все равно что поклоняться айсбергу или груде осыпавшихся камней, продуваемой январским ветром. Осколок льда, попав в глаз, постепенно леденит его все больше. Я люблю Мэйбл, но то, что происходит между нами, лишено человеческой природы. Возникает холодность, которая позволяет следователям затыкать человеку рот тряпкой, вливать воду ему в легкие и не считать это пыткой. А что происходит с сердцем? Вы отстраняетесь от самого себя, словно ваша душа – это мигрирующее животное, отошедшее в сторону от страшной картины и пристально глядящее в небо. Ястреб-тетеревятник ловит кролика. Я убиваю кролика. Но в моем сердце нет кровожадности. Да и сердца как будто нет. Я смотрю

на все, словно палач, приведший в исполнение тысячу смертных приговоров, словно происходящее – неизбежное зло нашей жизни. *Но ведь это не так. Дай бог, чтобы это было не так.*

Мне стало страшно за саму себя. И я иду к врачу. Иду на прием без всякой надежды на исцеление, но ничего другого мне не придумать. Врача я раньше не видела. Он сидит за деревянным столом – невысокий темноволосый человек с аккуратной бородкой. На нем красные подтяжки и мятая хлопчатобумажная рубашка.

– Здравствуйте, – говорит он. – Садитесь.

Сажусь и рассматриваю дубовый стол. Вспоминаются скованные зимним холодом деревья.

– На что жалуетесь? – спрашивает доктор.

Я отвечаю, что, наверное, у меня депрессия. Что за последние несколько месяцев произошли разные события. Что у меня умер отец.

– Примите мои соболезнования, – говорит он.

Потом я рассказываю ему, что у меня больше нет работы, я не зарабатываю денег. И дома у меня тоже нет. Это звучит не очень убедительно. Тогда я рассказываю еще. И еще. Мне уже не остановиться. Но когда я все-таки останавливаюсь, он что-то произносит. Не могу разобрать его слов. Смотрю на брови. Врач то сдвигает их к переносице, то удивленно поднимает. Дает мне заполнить опросник. И смех и грех. Я долго сижу перед листочком и верчу ручку: боюсь, что отвечу как-нибудь не так. Заканчиваю, но все никак не могу отдать ему листок, поскольку уверена, что ответила неправильно. Стараюсь не плакать. Отдаю листок, он берет, переворачивает и просматривает. Кладет на стол. Водит ручкой по строкам. Потом наклоняется ко мне через стол. При виде его доброго лица я отворачиваюсь. Это невыносимо.

– Мы можем вам помочь, Хелен, – тихо говорит он. – Правда, можем.

От изумления у меня даже звенит в ушах. Хоть какая-то, но все же надежда. И я начинаю всхлипывать.

Так и всхлипываю все двадцать минут, пока мы обсуждаем деликатную тему лечения, и наконец я соглашаюсь пройти курс антидепрессантов. Он хороший врач. Рассказывает мне все о селективных ингибиторах обратного захвата серотонина, объясняет их побочные эффекты, историю, способ действия. Рисует небольшие картинки, изображающие нейроны; точками и волнистыми линиями обозначает молекулы серотонина и действие ингибиторов обратного захвата. Потрясенная, я разглядываю картинки.

Через час я иду по улице с белым бумажным пакетиком в руке. Он

почти ничего не весит. Доктор говорит, что мне должно стать лучше. Нелепость. Как этот серый омертвелый мир может исчезнуть благодаря точечкам и линиям? Потом я начинаю беспокоиться: вдруг лекарство вызовет какую-нибудь болезнь? А что еще абсурднее, волнуясь, как бы не потерять способность ясно мыслить и не перестать охотиться с Мэйбл. Потому что тот человек, в которого я превращусь под химическим воздействием этих препаратов, будет таким чужим и непонятным, что птица откажется со мной летать. Мучительная лавина сомнений. Но я откладываю их на потом и запиваю лекарство водой. Эффект почти моментальный: жуткая усталость, из-за которой я еле волочу ноги, и пустая голова в тисках боли. Ночью мне не уснуть. Просто лежу в постели. Утром пью кофе. Потом еще. Продолжаю охотиться с Мэйбл.

Книжки о тех, кто сбежал от горя и печали в дикую природу, были частью более древней истории – той, что превратилась со временем в подсознательную и незаметную, как дыхание. В первые годы моего студенчества, когда я увлеченно грызла гранит науки, мне довелось прочесть прекрасную поэму тринадцатого века «Сэр Орфео». Никто не знает имя ее автора, и я уже успела забыть о ее существовании. Но однажды утром, когда я вытаскивала из холодильника тушки цыплят, в голове зазвучали ее строки: мое больное сознание вытащило поэму из-под завалов памяти.

«Сэр Орфео» – это пересказ греческого мифа об Орфее и его сошествии в подземное царство Аида в форме традиционных кельтских песен о потустороннем мире – Волшебной стране. В кельтской мифологии потусторонний мир лежит не так уж глубоко под землей – он всего в двух шагах от мира живых. Можно существовать одновременно и здесь, и там, а также перемещаться из одного мира в другой. В поэме повествуется о том, как Эвридика спит в саду под привитым фруктовым деревом, и ей снится, что завтра ее похитит царь Волшебной страны. В ужасе она рассказывает об этом своему мужу, королю. Орфео велит вооруженным рыцарям стеречь жену, но они не в состоянии защитить ее от той опасности, что исходит из иного мира: жена Орфео исчезает, растаяв в воздухе.

Убитый горем Орфео отказывается от трона и бежит в леса. Десять лет он влачит одинокое дикое существование, питается кореньями, листьями, ягодами и играет на арфе, завораживая лесных зверей. У него выросла длинная лохматая борода. Он часто видит, как в лесу охотится царь Волшебной страны со свитой, но не может последовать за ними. И вот однажды мимо Орфео скачут шестьдесят дам, и у каждой на руке по

соколу. Они охотятся на бакланов, диких уток, цапель. Орфео видит, как соколы хватают добычу, и в этот момент все меняется. Орфео радостно смеется, вспоминая, как сам любил охоту: «Клянусь богом, – молвит он – вот честная игра!» И с этими словами идет к дамам, среди которых узнает свою жену. Так он переходит в потусторонний мир и теперь может вместе со всеми попасть в замок царя Волшебной страны – во дворец, где полно тех, кого считали умершими, но кто на самом деле жив. Во дворце Орфео играет царю на арфе и добивается освобождения жены. Но путь в иной мир он смог найти благодаря соколам, которые охотились и убивали, именно они помогли ему найти пропавшую жену. Эта способность соколов пересекать границы, которые не дано перейти человеку, древнее кельтского мифа, древнее Орфео, ибо в древних шаманских традициях Евразии ястребы и соколы предстают как вестники, соединяющие наш мир с загробным.

Существует еще одна поэма на латыни об убитом горем короле, удалившемся в леса. Она была написана Гальфридом Монмутским, священником двенадцатого века, известным благодаря своей «Истории королей Британии» (*Historia Regum Britanniae*). В отличие от этой хроники, ставшей значимым событием для своего времени, другая поэма, тоже написанная на латыни, была гораздо менее популярна. Она начинается с описания великой битвы, в которой валлийский король теряет многих своих друзей. На протяжении трех долгих дней король оплакивает их смерть, посылает голову пеплом и отказывается принимать пищу: горе пожирает его. Затем на короля находит «странное безумие» или «новая ярость».

«Удалился он тайно и бежал в леса и был счастлив лежать, притаившись, под ясенями. Он дивился лесным животным, пасущимся на полянах, преследовал их, летал мимо них; он жил, питаясь кореньями и травами, плодами фруктовых деревьев и ягодами шелковицы. Стал он лесным жителем, словно посвятившим себя лесу. Целое лето, скрываясь, точно дикий зверь, он провел в чаще, никем не найденный, позабывший себя и свою родню».

Поэма Гальфрида Монмутского называлась «Жизнь Мерлина» (*Vita Merlini*), дикий же человек, забывший сам себя и летавший с птицами, – это Мерлин Лесной (*Merlin Sylvestris*), пророк и предсказатель, который в более поздних сказаниях станет величайшим магом, а в книге «Меч в камне» будет обучать короля.

Появляется искушение представить себе первоначальный импульс, сцену, послужившую для Уайта идеальным прологом к дальнейшему.

Осенний вечер 1937 года. Уайт снимает с полки книгу, читать которую не намерен. Маленькую книгу в синем тканевом переплете, первый том «Смерти Артура» сэра Томаса Мэлори – вышедший в пятнадцатом веке свод повествований о легендарном короле. В Кембридже Уайт писал о ней диссертацию, и сейчас ему не хочется вновь возвращаться к этой теме. Но все остальные книги в доме уже читаны-перечитаны, поэтому он усаживается поудобнее и открывает том. Он продирается сквозь текст медленно, с трудом, словно завязнув в патоке. И уже готов отложить книгу. Но неожиданно она его увлекает, захватывает, подобно тому как Тет вцепился всеми восьмью когтями ему в плечо. Уайт поражен: это же замечательная история! «Настоящая трагедия», – думает он. Герои как живые. Хотя раньше они ему живыми не казались. Он перечитал все повествование за два дня «со страстью злодея Эдгара Уоллеса^[28], затем отложил книгу в сторону и взялся за перо».

Легко сказать! Так якобы он начал писать «Меч в камне». Но мне не очень-то верится. За свой роман Уайт взялся несколькими месяцами ранее, когда ему привезли что-то вроде корзины для белья и поставили перед дверью.

Уайт решил, что у него получилась добрая книга, не похожая на предыдущие опусы. «Пожалуй, невозможно определить, предназначена она взрослым или детям, – писал он Поттсу, – это предисловие к Мэлори». Мальчика, героя романа, зовут Варт. Он добрая душа, преданный и простоватый. Варт – сирота и не знает, что станет королем. Воспитал его вместе с собственным сыном некий сэр Эктор. Но из-за незнатного происхождения Варту не суждено быть рыцарем. Однако автор дает мальчику в наставники волшебника Мерлина, и тот учит его волшебству. Пренебрегая привычными уроками и зубрежкой, Мерлин превращает Варта в животных и посылает исследовать жизнь. В обличье рыбы, встретившись со щукой во рву замка, мальчик узнает о диктаторской жажде власти. Обернувшись змеей, он изучает историю. Варт слышит, как говорят деревья, и воспринимает рождение мира через зрение и слух филина. Удобно устроившись в барсучьей норе, он обсуждает с ученым хозяином роль, которая по промыслу Божьему отведена человеку. И в конце концов, когда обучение Варта завершилось, юноша извлекает из камня меч, узнает, что он сын Утера Пендрагона, и становится королем Артуром.

Для Уайта эта книга – великолепная реализация мечты об исполнении желаний. Мальчику Варту, о королевском происхождении которого никто не подозревает, Уайт придает свои черты, и тот носится в свое удовольствие

по замку точно так же, как Уайт бегал по дому Вест-Хилл-Хаус в приморском Сент-Леонардсе, – дикий, счастливый, свободный. Потом Уайта вырвали из спокойного, безопасного места и отправили в школу, но своего Варта он спасает от такой участи. В обучении мальчика не будет места побоям. Впрочем, преподаваемые ему уроки все равно наполнены жестокостью. В детстве я до конца не понимала, насколько это жестокая книга, однако реагировала на ее жестокость. Моей любимой историей была та, где говорилось о тяжелом испытании Варта, принявшего образ ястреба. Вот ужас так ужас! Я читала, корчилась, поджимала пальцы на ногах, снова перечитывала.

Мерлин превращает Варта в дербника^[29], своего тезку, и отпускает его ночью на конюшне замка. Как вновь прибывшему ястребу, состоящему на службе в замке, Варту следует пройти традиционное посвящение. Ему нужно встать рядом с Полковником Простаком, ястребом-тетеревятником, и не сходить с места, пока остальные ястребы не прозвонят колокольчиками три раза. Обряд инициации чрезвычайно опасен, ибо Полковник безумен. В начале испытания тетеревятник грозно взирает на Варта и что-то бормочет: без всякой связи он цитирует отрывки из Шекспира и словаря Уэбстера, сливающиеся в фугу постепенно возрастающего кошмара. После первого звонка тетеревятник просит прекратить испытание, восклицая: «Я больше не выдержу!» Колокольчики звонят дважды. Тетеревятник приближается к Варту, нервно топчя присаду. «Он боялся Варта и не предвкушал победы, а значит, должен был его убить».

Во время этого страшного испытания Уайт превращается в Варта – мальчика, которому следует быть храбрым. Но Уайт не только Варт, а опасность угрожает не только ребенку. В книге Оливии Лэнг «Путешествие к «Ручью Эхо» есть отрывок, напомнивший мне эту трагическую сцену. Лэнг приводит цитату из Джона Чивера, чей алкоголизм был тесно переплетен с эротическим влечением к мужчинам. Писатель ненавидел свою гомосексуальность, и ему казалось, что он никогда не может оказаться в безопасности. «Каждый смазливый парень, каждый банковский служащий и посыльный, – писал он в дневнике, – был нацелен в мою жизнь, словно заряженный пистолет».

Несмотря на несколько романов с женщинами, фантазии Уайта имели садистский характер и были направлены в основном на половозрелых юношей. Он не сомневался, что эти фантазии спровоцированы насилием, учиненным над ним в детстве, ужасался им и стыдился их, поскольку в собственном воображении сам исполнял роль человека, совершающего насилие, – подобного отцу или учителям, которые избивали его в школе.

Терапия Беннета не спасла Уайта от этих навязчивых мыслей. Они никуда не исчезли. Позднее он написал порнографический роман о порке мальчиков – многословное и отвратительное признание. Но держал его под замком и никому не показывал. Всю жизнь он подавлял свои желания. Но иногда, очень редко, Уайту удавалось рассказать о них через своих персонажей. Полковник Простак – один из них. Ястреб изнывает от желания причинить боль мальчику, который в то же время и птица, и сам автор. В этой короткой сцене видна вся трагедия жизни писателя.

Но, хотя Уайт бежал от школьного мира, он так и не смог отделаться от моделей жизненного поведения, сформированных в нем школой. Человек должен сдавать экзамены и проходить испытания, чтобы доказать свою храбрость. Храбрость проверяется на игровом поле или во время избиений учителями и старшими учениками. Да и сами ребята устраивали жестокие обряды: только путем испытаний и инициаций можно было стать полноправным членом школьного братства, а потом и тайных школьных сообществ. В свое время Уайту пришлось положить руку между взведенным курком и рамой незаряженного револьвера, прежде чем был нажат спусковой крючок. Боль тогда воспринималась им как триумф, и, выдержав ее, Уайт доказал, что не хуже других.

Но он не всегда был жертвой подобных ритуалов. Школа научила его, что раз он сам страдал от издевательств старших ребят, то может точно так же мучить младших. В компании с другими учениками Уайт терроризировал более слабых, подвергая их таким же испытаниям, какие пришлось пройти ему самому. Как-то раз испытание состояло в том, чтобы выпрыгнуть из школьного окна с высоты более четырех метров. Мейсон по кличке Щенок трусил, и Уайт помог его столкнуть. Упав, ребенок в трех местах сломал ногу, однако все оценили, что он никому не наябедничал. Мейсон объяснил учителю, что споткнулся о ветку на тропинке в директорском саду. Щенок прошел испытание, вел себя героически и был принят в школьное братство.

Обо всем этом я ничего не знала. Но зато знала, что такое боль: на редкость неуклюжая девочка, которой я была в те годы, все время раздирала колени, спотыкалась, получала ссадины, ударялась о рамы открытых окон, разбивала до крови нос. Однако зачем нужны испытания, чтобы вступить в какое-нибудь общество, мне было не понять. Я не воспринимала храбрость и умение переносить боль как необходимые ступени на пути к достижению уверенности в себе и взрослению. Но в то же время, читая «Меч в камне», я заметила, что, стоило Варту превратиться в животное, как он сразу же подвергнулся опасности. Было о чем задуматься.

«Мерлин учит его быть храбрым, – наконец решила я, – потому что храбрость потребуется, когда Варт станет королем».

Снова и снова я читала об испытании с Полковником Простаком. Эта история меня завораживала. Ведь в детстве никогда не волнуешься за героев книг. Конечно, они могут подвергаться опасности, но они же люди, поэтому ни за что не умрут. Впрочем, читая «Меч в камне», я все-таки немного беспокоилась: мне было не совсем ясно, можно ли считать Варта человеком. Если он превращается в птицу, остается ли он Вартом? Он же теперь животное. Может ли он умереть? Пожалуй, да. Может. И именно эта вероятность не давала мне оторваться от книги всякий раз, когда я перечитывала сцену испытания. Накатывал страх, с которым мне было не совладать. Я читала дальше, отчаянно стремясь добраться до конца, до того момента, когда Варт спрыгивает с присады, ястреб-тетеревятник вцепляется своей огромной лапой ему в крыло, но Варт выворачивается и спасается. Я ничего не знала об испытаниях, но само чтение превращалось для меня в нечто подобное. Каждый раз в конце я испытывала облегчение: я выдержала и смогу перечитать эту сцену еще раз.

Уайт бежал из школы, начав жить в лесу. Но поселился он в доме, от которого старая дорога вела прямо к школьным дверям. Он достиг свободы, изменив свою жизнь, но никуда не ушел от того представления о свободе, которое выработала в нем школа. В школе ты переходишь из одного класса в другой, получая все больше власти и привилегий, пока наконец не заканчиваешь учебу и не уходишь. Именно это понятие свободы – как естественного окончания образования, полного испытаний, – никогда не покидало Уайта, и оно проявилось, когда он удлинил тренировочный шнур непрочной бечевкой. Будучи школьником, он понимал, что ребята, которыми он сейчас командует, в один прекрасный день станут командовать другими. Будучи учителем – тоже. И будучи сокольником. В глубине души он знал, что воспитывает своих подопечных, готовя их к тому времени, когда они станут свободными.

Глава 25

Волшебные места



Прошло десять дней. Вчера вечером дали плохой прогноз: штормовые нагонные воды грозят затопить Восточную Англию. Я всю ночь просыпалась, прислушивалась к дождю и волновалась, как выдержат ливень и подъем воды стоящие вдоль побережья дома-фургоны с такими ненадежными серебристыми стенками. Но в последний момент шторм отступил, и утро засияло голубизной, словно лужа.

После обеда мы с Мэйбл отправляемся на холм. Злые порывы ветра треплют кусты живой изгороди и, пока мы взбираемся по тропинке, засыпают нас листьями. К подошвам липнет грязь, и я вижу на ней фазаньи следы. Слышится «чак-чак» дроздов-рябинников: их стайки облюбовали боярышник неподалеку от пастбища. Но стоит нам приблизиться, как они слетают вниз, потом перемахивают через живую изгородь и удирают один за другим, точно маленькие черно-белые молнии. Мне радостно их видеть. Пришла настоящая зима. Мэйбл тоже вся светится от счастья. В еле скрываемом возбуждении она шевелит хвостом, перья у нее на животе распушились, прикрыв цепкие пальцы, а глаза на солнце сверкают серебром. Если бы она могла говорить, она бы запела. Во мне что-то изменилось. Сегодня мне труднее примерить на себя обличье этого изящного, настороженного и бессловесного существа – ястреба. Или, наоборот: в ястребе мне видится больше человеческого, чем обычно. В двадцати шагах от нас на тропинку выскакивает кролик, и моя Мэйбл сразу же бросается за ним. Она взлетает на тополь и садится на тонкую, почти вертикальную ветку, пригибаясь под ветром, худая, словно горноста́й. Оглядывается. Что-то замечает. Перелетает на другое дерево, смотрит вниз. Потом возвращается на тополь. Я протягиваю ей руку в перчатке. Она тут же летит ко мне, и мы идем дальше. «Ра-а-а», – говорит она. *Еще.*

Неподалеку от скатанного в тюки сена мы пробираемся сквозь лесную

опушку, а потом идем на край верхнего поля. У меня в голове туман. Я попыталась снять вызванную лекарствами усталость, выпив за завтраком две чашки двойного эспрессо и газировку с кофеином после обеда, и очень надеюсь, что лекарства не дадут разыгаться жуткой паранойе, которую неизбежно должен вызывать такой избыток кофеина. Мэйбл фиксирует глазом стаю диких голубей на пашне в четверти мили от нас и, похоже, собирается броситься туда. «Не глупи, Мейб», – говорю я, но она все равно рвется в их сторону. *ТЬФУ!* Она смотрит мне прямо в глаза. *Дай же мне поохотиться!*

Даю. Мы пробираемся вдоль края следующего поля, увязая по грудь в чертополохе; руку с Мэйбл я поднимаю повыше, чтобы уберечь птицу от колючек. Она держится крепко всеми восьмью пальцами, сопротивляясь хлещущим в лицо сильным порывам ветра. И вдруг совершенно неожиданно из сухой травы в том месте, где заканчивается моя тень, выскакивает самец фазана в оперении красновато-коричневого и бутылочно-зеленого цвета. Его хвост развевается во все стороны, первостепенные маховые перья заострены. Мэйбл уже почти нагоняет его. Фазан поворачивается и бежит по ветру. Мэйбл уже совсем близко, до кончика его хвоста остается не больше пятнадцати сантиметров, но ей еще ни разу не приходилось летать в такую ветреную погоду и никак не удается рассчитать момент нападения. Ветер сдувает ее немного в сторону, так что фазан успевает увернуться и, с трудом хлопая крыльями, летит в лес. Мэйбл – за ним, и оба исчезают из виду. Только я собираюсь бежать следом, как Мэйбл уже возвращается обратно. Она несется над самыми верхушками деревьев, как истребитель «Мустанг» в фильмах о войне. Грациозно описывает дугу, прорезая воздушные потоки, преграждающие ей путь. *Вот она я!* Мэйбл снова сидит у меня на руке с идиотской улыбкой, всем своим видом говоря: «Ну, что ты об этом думаешь?».

Дни все больше погружаются в зиму. Вокруг тишина и спокойствие. Я ловлю себя на том, что по утрам гляжу на небо, и оно мне нравится. Куда-то исчез мой расчетливый взгляд сокольника, которого интересует лишь скорость ветра, поведение ястреба, возможные осадки. Я звоню старым друзьям, строю планы на будущее. Ищу, где бы снять дом. Меня навещает мама. Я снова иду к врачу, чтобы обсудить, как проходит лечение. Он говорит, что усталость и туман в голове – это побочное действие лекарств и оно скоро пройдет.

Американский писатель и эколог Альдо Леопольд однажды сказал, что охота с ловчими птицами – это деятельность, в которой уравниваются

дикое и домашнее. И касается это не только ястреба, но и охотника – его сознания и сердца. А потому ее можно считать идеальным хобби. Я начинаю чувствовать, как во мне появляется такое равновесие и как растет расстояние между мной и Мэйбл. Еще я вижу, что ее мир отличается от моего, и отчасти даже удивляюсь, что когда-то я могла думать иначе.

Потом я начинаю совершать неожиданные поступки. Увеличиваю вес Мэйбл и позволяю летать во время охоты, как ей вздумается. Это не по правилам. «Никогда не давайте ястребу-тетеревятнику охотиться самостоятельно, – написано во всех книгах. – Такая независимость приведет к тому, что вы потеряете своего ястреба». Я знаю, что не должна ее отпускать, пока перед ней не окажется добыча. Но что я могу поделать? Сегодня в мороз мы с Мэйбл поднялись на гребень холма, откуда открывается вид на весь Кембриджшир, на его леса, поля и рощи, ярко освещенные золотистым солнечным светом, и я замечаю, что Мэйбл нацелилась слетать на разведку к живой изгороди по ту сторону холма. Я ее отпускаю. У нее просто потрясающие тактические способности. Она спрыгивает с моего кулака и скользит над землей на высоте ладони, используя в качестве прикрытия волнообразный рельеф местности. Мэйбл набирает скорость. Под ней мелькает, поблескивая, замерзшее жнивье. Она огибает вершину холма, а потом расправляет крылья и начинает планировать к подножию, используя силу тяжести и подъемную силу; там, в доброй сотне метров от меня, она с быстротой молнии перелетает через изгородь, внезапно раскрыв, точно соцветие, кремово-белые перья, и мчится дальше вдоль той стороны кустов, где мне ее уже не видно. Все это время я бегу следом, ноги вязнут в грязи, и я чувствую, как земля тянет меня к себе, но ведь без нее я не смогла бы перемещаться в пространстве.

Я нахожу свою птицу в кустах: она сидит, вцепившись в кролика. «Мэйбл, – говорю я, – ты ведешь себя как дикарка. Стыдись!» Такая охота здорово треплет нервы, но что может быть прекраснее! Я проверяю ту связь между нами, которую сокольники некогда называли любовью. Эта связь все еще достаточно крепкая и вроде бы не должна разорваться. Если только когда-нибудь... кто знает? Я еще больше увеличиваю вес ястреба, и мир постепенно раздвигает свои границы. Да, я испытываю судьбу и вполне отдаю себе в этом отчет.

«Она не в том состоянии, которое требуется, – мысленно твержу я, пока мы едем в машине. – Ты ее потеряешь». Так два дня спустя голос разума велит мне вернуться домой. Но я все-таки еду дальше. На ветровом стекле появляются крапинки дождя, а на левом окне косые полосы. Вылезут кролики из нор в такую погоду? Возможно. Я припарковываюсь в

грязи у мокрого забора на дальнем конце поля. Мэйбл не в яраке, но осматривается с интересом. «Пусть будет, как будет», – думаю я, меняю ей опутенки и отпускаю. Она загоняет кролика в нору и взмывает на дуб. Я свищу, но, похоже, она не слышит. Мелкий дождик переходит в настоящий ливень. И я начинаю понимать, что в пространстве между нами что-то переменялось. Обычно мы обе существуем в атмосфере напряженного внимания. Когда Мэйбл взлетает на дерево, все мои мысли обычно направлены на нее, и она, в свою очередь, тоже держит меня в поле зрения. Сейчас этого нет. Мэйбл меня игнорирует.

В том, как сокольник глядит на своего ястреба, усевшегося на высоком дереве, есть что-то религиозное. В семнадцатом веке сэр Томас Ширли писал, что поскольку ястребиная охота заставляет нас смотреть в небо, ее можно считать занятием нравственным. Здесь есть явное сходство с моим стоянием на коленях, когда я просила об искуплении грехов у некоего равнодушного божества. Мэйбл летит дальше и углубляется в рощицу. Я за ней. Но ей все так же нет до меня дела. «Посмотри сюда, Мэйбл!» – мысленно зову я, вскинув голову к верхушкам деревьев. Но она не смотрит. Пробираясь за ней по темным следам на голубой траве, я оказываюсь на какой-то лужайке – это явно частная территория. Мэйбл метрах в девяти надо мной, и я начинаю кричать и свистеть как ненормальная. Льет проливной дождь. Скачу под деревьями туда-сюда. Подбрасываю высоко в воздух тушки цыплят. Они шлепаются назад в траву, но птица даже не поворачивает голову, чтобы проследить за грустной параболой их полета. Я снова свищу. Машу руками. «Мэйбл, – кричу, – спускайся!»

Наверху огромного георгианского дома, который я изо всех сил старалась не замечать, скрипит подъемное окно. Из него выглядывает горничная. Черное платье, белый фартук и белый чепчик. Ничего удивительного. Гоняясь за своей ястребухой, я попала в прошлое. На дворе 1923 год. И я в любой момент могу увидеть Пуаро, неспешно направляющегося ко мне через лужайку. Уже потом до меня дошло, что, вероятно, я помешала какому-то развлечению в эротическом духе.

– Вы в порядке? – кричит из окна женщина.

– Простите меня! – кричу я в ответ. – У меня потерялся ястреб. – Показываю куда-то в верхушки деревьев. – Я пытаюсь его найти. Извините, что зашла на вашу территорию. Я скоро уйду. Мне просто очень нужно его отыскать.

– Ах вот как.

На секунду женщина задумывается, глядя на дерево. Потом переводит взгляд на меня.

– Ну... ладно. Просто я хотела удостовериться, что с вами все в порядке.

Окно захлопывается. Звук довольно громкий, и Мэйбл вздрагивает. Перелетает с одного дерева на другое, уводя меня с лужайки к кромке леса. Деревья здесь выше, так что теперь она кажется мне не больше наперстка. Ее покрытая блестящими каплями грудка отражает неяркий свет. И вдруг, откуда ни возьмись, появляется ее уменьшенная копия, маленький двойничок. Самка ястреба-перепелятника слетает ниже, глядит на мою Мэйбл, разворачивается и спускается еще ниже. Как если бы вокруг Питера Пэна кружила его собственная тень. Мэйбл перелетает на другое дерево. У меня уже нет разумных мыслей. Я знаю только, что сейчас она ко мне не вернется. Нужно просто следовать за ней, продираясь через кустарник, с безумной донкихотской решимостью.

«Снежнаягодник, – констатирую я, когда белые шарики задевают мою охотничью жилетку. – Кажется, викторианские егеря сажали эти кусты, чтобы в них могли прятаться фазаны. О нет! Только не это!» Но стоило мне подумать о фазанах, как Мэйбл срывается с макушки дерева, огибает ветку и, почти совсем сложив крылья, под углом пятьдесят градусов кидается вниз. Дух захватывает, как великолепен ее полет, но у меня нет времени любоваться – надо бежать следом. Подлезаю под электрической изгородью, и сердце мое обрывается: Мэйбл проникла в фазанье царство. *Фазаны везде. Нам нельзя здесь находиться. Нам нельзя здесь находиться.* Я слышу, как звенит ее колокольчик. Куда она делась? Мэйбл там, за грязной канавой. А я в лесу. Тихо, даже лист не шелохнется, и мне становится страшно. Но вот я улавливаю топотание фазаньих лапок. Вижу одного, двух, трех, в смертельном ужасе прижимающихся к земле. Метрах в девяти от меня несется сломя голову самец фазана с синим хвостом и яркомедным оперением, такими заметными на фоне взметенных с земли листьев. Мэйбл атакует его сзади. Это как порыв ветра, несущий ангела смерти. Я не могу ничего сделать. Никто не может. Трудно поверить, что она способна лететь с такой скоростью, почти без усилий опускаясь по глиссаде, которая внезапно обрывается: Мэйбл вонзает в фазана когти обеих лап как раз тогда, когда тот успевает сунуть голову в кустарник. И сразу же начинается кровавая расправа. Во все стороны разлетаются листья и перья, фазаньи крылья колотят воздух, я, пригнувшись, бегу к ним.

Едва не падаю в обморок от напряжения – грязная, перепачканная землей, потная, я чувствую, как во мне зашкаливает адреналин. Адреналина полно и в ястребе. Он продолжает добивать фазана, хотя тот уже мертв. Топчет, топчет, сжимает, топчет, когтит, стискивает, снова

топчет. Листья все летят, пока он танцует на нем. Глаза горят дьявольским огнем, клюв открыт. Вид устрашающий. Но постепенно ястреб успокаивается. А я все время оглядываюсь, не видел ли кто нас. Вроде бы никого. Я скармливаю Мэйбл всю еду из карманов и вдобавок даю фазаньи голову и шею. Остальное прячу в большой задний карман жилетки, хотя приходится сломать пополам длинные перья фазаньего хвоста, чтобы, высовываясь из-за молнии, они нас не выдали, и виновато забрасываю кучей листьев место преступления. Потом мы, крадучись, пробираемся назад к машине.

У меня нет сил. Из четырех углов поля, по которому мы идем, со всех сторон одновременно начинают кричать фазаны. Взад-вперед перекачивается ужасный, гулкий звук, как из бочки, словно для эффекта эха кто-то нажимает правую педаль пианино. Звук усиливается, превращаясь в кошмарную непрерывную какофонию, больше похожую на артобстрел, чем на птичье пение. Это обвинительный клич. Я действительно виновата. Как браконьер, украла фазана, предназначенного для чужой охоты. *Но я не хотела.* Почти произношу это вслух. *Так вышло случайно.* Мне становится немного легче, когда фазаньи крики стихают. Но вдруг, когда мы сворачиваем к машине, гвалт возобновляется. Наказанная за свой грех и едва не потеряв присутствия духа, я уезжаю. Фазанов больше не видно, но меня мучает совесть.

На моих глазах меняется пейзаж. Зима не просто уступает дорогу весне – земля медленно покрывается пятнышками и линиями, несущими красоту. Сегодня в обед на холме проглядывает еще неокрепшее солнышко. Дует свежий западный ветер. Когда я снимаю с Мэйбл клобучок, ее зрачки сужаются. Она щурится от удовольствия. День на редкость ясный. Красный флажок над грядой холмов хлопает на ветру, вдали слышны ружейные выстрелы. Мачта радиоантенны на горизонте словно нарисована чернилами поверх теней, линий, участков земли, волнами подбирающихся к меловым холмам передо мной. Мы поднимаемся по тропинке. Если посмотреть с вершины холма вниз, можно увидеть весь Кембриджшир. Свет сегодня обманчив. Кажется, что крыши домов и шпили находятся на расстоянии вытянутой руки, город, точно шахматная доска с фигурами, просвечивает между голыми деревьями, и я могла бы взять массивную башню библиотеки Кембриджского университета и переставить ее на шесть клеток к северу.

Отсюда город видится маленьким и тихим, вещью в себе, с сельским пейзажем вокруг. Преимущество такого взгляда сверху в том, что город

становится красивее: дороги и стены домов с деревьями уже неразличимы, Кембридж превращается в миниатюрный конструктор из кубиков и шпилей. В последнее время, приезжая туда, я все чаще нахожу предлог поставить машину на многоэтажной стоянке, потому что с открытой площадки пятого этажа можно смотреть на поля, что расстилаются передо мной сейчас. Они, как спинной хребет, уходят за горизонт с прочерченными по ним линиями кустарника и влажными тенями облаков. При виде их возникает странное и сложное чувство. Некая двойственность. Когда я склоняюсь над парапетом автомобильной стоянки, мне кажется, что там, на далеком холме, тоже я. Это почти очевидно. Как будто моя душа и в самом деле переместилась за несколько километров, стоит на глинистой почве среди чертополоха и смотрит, как я, уже без нее, стою на защищенном от скольжения асфальте и вдыхаю запах дизельного топлива и бетона. И та «я», что стоит на автостоянке, думает: «Если я буду смотреть очень, очень внимательно, может даже в бинокль, то увижу себя на холме».

Я действительно чувствую, что могла бы быть там, потому что сейчас холм – мой дом. Я знаю его, как свои пять пальцев, – каждую живую изгородь, каждую тропинку в высохшей траве, по которой зайцы пересекают границы полей, каждую валяющуюся железку, каждый клочок земли, каждое кроличье место, каждое дерево. У дороги пролегли пол-акра огороженной грязи, изрезанной следами автомобильных колес, с лужами, в которых отражаются кусочки неба. Трясогузки, грузовые поддоны, тракторы, силосная башня, валяющаяся на боку, словно отвалившаяся ступень ракеты. Здесь овечье пастбище, там скошенное и перепаханное поле клевера. Дальше по тропинке участки замерзшей полыни. Ее семена крепятся к стволам и веточкам, точно мириады заплесневелых бусинок на потрепанной рождественской елке. По левую сторону тропинки тянутся кучи кирпичей и щебня, земля между ними мягкая, и там любят прятаться кролики. Чем выше взбираешься на холм, тем выше живые изгороди, и, когда я оказываюсь на самой вершине, тропинка теряется в траве. Бутень. Васильки. Лопухи. Слабый отблеск глины под ногами. Внизу меловые пласты. В живой изгороди щебечут овсянки. Везде россыпи камней. Свет на нашем острове морской, потому что остров лежит под небом, отраженным и подсвеченным морем.

Мне эта земля не принадлежит. У меня есть лишь разрешение на ней охотиться. Но, исходив ее вдоль и поперек и изучив с величайшим вниманием, я ощущаю ее своей. Мне известно, где обитают животные, я знаю все их пути. Знаю, что жаворонки спят на вершине холма, но утром, когда солнечно, они перелетают погреться на восточные склоны. Что, когда

земля влажная после дождя, кролики тянутся из своих обычных мест у канав на восток, чтобы пощипать травку на более сухих полях. Я догадываюсь, где должно быть животное, благодаря сочетанию накопленного опыта и бессознательно фиксируемых примет. Угол падения солнечного света на жнивье, сила ветра, определенный цвет земли. И я иду к жаворонкам, как будто вижу их.

Но самое большое поле – засеянное масличным рапсом – не похоже на другие. Здесь есть какая-то тайна. Ходить по нему с Мэйбл – все равно что играть в морской бой на полях естественной истории. Среди этих густых посадок с голубоватыми листьями может обитать кто угодно. Фазаны, куропатки, зайцы, даже гаршнеп, который вспархивает, шумно хлопая крыльями, с полосы грязи у живой изгороди. Предположение, что животное может оставаться невидимым в одной лишь траве пяти сантиметров высотой, кажется невероятным. Но так и есть. Возникает чувство, что мир творится у тебя на глазах: когда сегодня у нас из-под ног выскочил заяц, мне почудилось, что земля сотворила его *ex nihilo*^[30]. У зайца был союзник – сильный северо-восточный ветер. Мэйбл дважды пыталась схватить добычу, но оба раза промахивалась – заяц уворачивался, и ветер сбивал ее в сторону. Странно наблюдать, как при сильном ветре ястреб охотится на зверька, живущего на земле. У зайца есть преимущество: когти и подушечки мохнатых лапок помогают ему закопаться в листья и влажную землю, а потом в прыжке от нее оттолкнуться. Ястреб же в воздухе один. Ты наблюдаешь за борьбой двух стихий. Один мир против другого. Точно так же баклан ныряет в море за рыбой. И я была рада, что заяц удрал.

Вон там дерево, с которого спикировала Мэйбл, когда ударила меня по голове. А здесь в воздухе прочерчена невидимая линия, по которой она впервые гналась за фазаном, сиганувшим в укрытие. Она сидела на той живой изгороди – хвост широко раскрыт, крылья прижаты к веткам – и высматривала голубя, уже успевшего улететь. А вот колючий куст, из-за которого я споткнулась и свалилась в канаву с водой. У нас с Мэйбл общая история этих мест. Тут обитают призраки, но не давно умерших сокольников, а тех событий, которые происходили с нами.

Это мир ребенка, полный отдельных картин. Дайте мне бумагу и карандаш и попросите нарисовать карту полей, по которым я блуждала в детстве, – у меня ничего не получится. Но измените формулировку и предложите описать, что там было, – и мне понадобится не одна страница. Муравейник. Прудик с тритонами. Дуб, покрытый орехотворкой шаровидной. Березы у шоссе с красными мухоморами

под ними. Это были главные ориентиры в моем мире. Другие места стали волшебными благодаря различным происшествиям. Когда я обнаружила огромную красную ленточницу позади электрощитовой будки в конце нашей улицы, будка стала для меня волшебным местом. Всякий раз, проходя мимо, мне нужно было проверить, не спрятался ли за ней кто-нибудь еще. Я бегала туда, где однажды поймала ужа, разглядывала дерево, на котором как-то раз видела сидящую сову. Все эти места обладали особой – волшебной – силой, они притягивали меня, в отличие от многих других, хотя во время последующих посещений я там ничего не находила.

Теперь, отпуская Мэйбл и разрешая ей летать куда вздумается, я обнаруживаю нечто удивительное. Птица тоже создает себе карту волшебных мест. Она отлетает в сторону, чтобы проверить определенные точки, в которых может оказаться кролик или фазан, замеченные там на прошлой неделе. Нелепое суеверие, инстинктивная эвристика охотничьего сознания, но в ней есть смысл. Мэйбл учится по-особому ориентироваться в этом мире, и ее карта совпадает с моей. Память, любовь и волшебство. С годами мои детские путешествия постепенно превратились в пейзаж, который натуралисты называют «родной местностью»: она наполнена воспоминаниями и особым смыслом. Мэйбл делает то же самое. Она делает холм своим. Моим. Нашим.

Глава 26

Ход времени



Становится холодно: так холодно, что в грязи лежат блюдца льда без рисунка и в тонких трещинах, как древний фарфор; так холодно, что живые изгороди оживают от балтийских черных дроздов; так холодно, что каждый твой выдох висит в воздухе, подобно клочкам морского тумана. Голубое небо звенит от мороза, и колокольчик на хвосте Мэйбл заиндевел. Холодно, холодно, холодно. Лед трещит у меня под ногами, когда я взбираюсь на холм. А поскольку обертоны скрежета и щелканья раздавленного льда звучат для слуха Мэйбл, как голос раненого животного, ее пальцы судорожно сжимаются с каждым моим шагом. Вокруг бело от мороза, но в некоторых местах пейзаж оголен и под яркими лучами солнца играет оттенками зеленого и коричневого, так что земля получается разноцветная – не то все еще озаренная рассветом, не то уже в предчувствии сумерек. День теперь едва ли длится часов шесть.

За неделю это мой первый выход с Мэйбл. Пришлось проводить собеседования в колледже, на моей прежней работе. Четыре дня я видела перед собой испуганные лица, задавала положенные вопросы и пыталась помочь ребятам не волноваться. Задача не из легких. Мне она напомнила первые дни с Мэйбл. Сейчас собеседования окончены, и в такую погоду невозможно удержаться от охоты. Великолепный солнечный день со сверкающим льдом сулит столько радости, что мне не представить себя нигде, кроме холма. Я знаю, что птица возбуждена. И понимаю, что после четырех дней вынужденного безделья ей очень хочется закогтить добычу. Кроме того, у меня кончились цыплята. Неделю Мэйбл ела только перепелиное мясо, и из-за этого стала чрезвычайно раздражительной, холерической и необузданной, протагонистом в трагедии мести. Она топает по присаде. Злится. Прыгает в ванночку, выпрыгивает обратно, потом опять в ванночку. Смотрит на меня пронзительным взглядом. «Не меньше трех раз

в неделю кормите ястреба пищей с кровью», – написано в старых книгах. Слишком много жирной пищи – и вот результат.

Я прекрасно чувствую ее настроение и подозреваю, что, если отпущу птицу, она улетит на ближайшее дерево и забудет о моем существовании. Поэтому я веду ее на верхний участок поля: там нет деревьев. Если Мэйбл слетит с кулака, а поблизости не окажется никакой присады, она, покружившись невысоко в воздухе, быстро вернется обратно. Так поначалу и происходит, но потом она принимается с интересом разглядывать протянувшуюся вдалеке живую изгородь. Что находится за той изгородью, мне не видно. Но Мэйбл знает: там должны быть фазаны, лесные голуби и кроличьи норы вдоль канав. Она начинает по-особому, враскачку, двигать головой, меняя точку наблюдения, словно вот-вот собирается взлететь. И я ее отпускаю. Глупость, конечно, но так уж получается.

Взмахнув крыльями, она скользит по воздуху и исчезает за изгородью. Я на редкость спокойна. Даже не бегу за ней. Иду прогулочным шагом к кустам и только потом с бьющимся сердцем осознаю, что не понимаю, куда она делась. Передо мной стена из терновника высотой почти два с половиной метра. Сквозь нее не пролезть. Бегаю вдоль изгороди туда-сюда и ищу хоть какой-то просвет. *Ага, нашла!* Между двух толстых веток замечаю отверстие размером с бойницу крепости. Протискиваюсь в него, уверяя себя, что я угорь. Но, оказывается, все-таки не угорь. На руках выступает кровь от торчащих у земли шипов, а погончик моей охотничьей жилетки цепляется за крепкий сук. Попалась. Изю всех сил стараюсь ползти дальше. Нет времени обернуться и посмотреть, что за сук меня держит. Просто тяну как можно сильнее, чтобы освободиться. Сук ломается, и я вываливаюсь из живой изгороди, провалившись коленями и внутренним краем ладоней во влажное поле с ростками озимой пшеницы. Мэйбл нигде не видно.

Выбегаю на середину поля и осматриваюсь. Блеклая пшеница вобрала все переливчатое сияние зимнего солнца. Внизу еще одна живая изгородь, за ней еще, а дальше пол-акра пастбища и на нем белая лошадь. Но Мэйбл нет. Стою и напряженно прислушиваюсь. Колокольчика тоже не слышно. Ничего не слышно. Я свищу и зову. Безрезультатно. В первый раз достаю телеметрический приемник. *Бип-бип-бип*. Сигнал отчетливый во всех направлениях. Радиоволны расходятся, сталкиваются, смешиваются. Я еще долго бегаю с антенной, чтобы поймать сигнал, и в конце концов прихожу к выводу, что Мэйбл, по-видимому, где-то там. Бегу к ней. За пастбищем с лошадью мороз все еще сковывает землю. Затверделая и черная, она припорошена белым снежком. Мэйбл пропала. И мне безумно одиноко. Не

могу сказать, что я за нее беспокоюсь. Она-то не пропадет. Будет с радостью носиться по этим местам и сможет прожить здесь не один год. Только я об этом подумала, как совсем невдалеке раздается звук ружейного выстрела. «О Боже! – соображаю я. – Похоже, она долго не проживет. Господи, сделай так, чтобы ее не убили, чтобы это стреляли не в нее!» Пораженная, я останавливаюсь на месте и только теперь в последовавшей за выстрелом тишине слышу воронье карканье. Вороны злятся. Слава богу! Иду в сторону карканья и, конечно, нахожу там Мэйбл. Она сидит, умытая солнцем, на верхушке живой изгороди на гребне следующего холма. Птица вся в напряжении. Ей удалось загнать добычу в укрытие. Видимо, на другой возвышенности она заметила фазана и пригнала сюда. Бегу к ней через поле и сквозь изгородь пытаюсь разглядеть, куда она смотрит. Сердце сжимается. Ее внимание привлекают настоящие джунгли молодых побегов высотой мне до самых плеч, и к тому же деревца переплетаются с терновником и ежевикой. Колючки, колючки и снова колючки. Оттуда мне фазана ни за что не выгнать. Мэйбл несколько раз вылетает на разведку и медленно кружит над кустом, зависая в воздухе почти на одном месте, потом возвращается на ветку и садится, изогнув шею и глядя назад. «Фазан там, – думает она, – и я его найду». Я стою, тяжело дыша, и некоторое время наблюдаю. Нам нужно уходить. Это поле, так же как и следующее за ним, – не на нашей земле. Даже если бы мне удалось поднять фазана для своего ястреба, это называлось бы браконьерством. А мы и так уже столько раз неумышленно нарушали закон, что на всю жизнь хватит.

Зову Мэйбл. Никакой реакции. Жду. Тянутся минуты, и постепенно хищнический инстинкт отступает. Мэйбл возвращается в мир, где мне тоже отведено место. Она снова меня замечает. «Вон она, – думает ястреб, – и у нее в кулаке зажата целая перепелка». Со своей освещенной солнцем присады птица слетает мне на руку, протянутую из тени живой изгороди, и меня охватывает невыразимое облегчение. Я вся дрожу – мне холодно и жарко одновременно.

Дневник Уайта, в котором запечатлена его долгая и безнадежная борьба с ястребом, – это рассказ не только о птице. В нем подспудно скрываются и другие темы: история, сексуальность, детство, природа, мастерство, Средневековье, война, воспитание, учение и любовь. Все они должны были занять свое место в книге, которую он писал о ястребе. Но когда ястреб пропал, Уайт бросил свою затею. Но не совсем, потому что книга в несколько иной форме все же была закончена, и в ней ястреб не пропал без следа.

В начале романа «Меч в камне» сын сэра Эктора Кей приглашает Варта на ястребиную охоту. Он берет на конюшне ястреба-тетеревятника Простака, что крайне неразумно, потому что птица сильно линяет и совершенно не годится для охоты. Нехотя полетав за кроликом, Простак усаживается на высокой ветке и не реагирует на подзывы юношей. Они идут за ним от дерева к дереву, свища и приманивая, но ястреб не желает возвращаться. Кей, рассердившись, убегает домой, а Варт остается, потому что не хочет потерять птицу. Он идет за ястребом в дикий лес, где ему становится страшно.

Очень любопытно читать «Меч в камне» после «Ястреба-тетеревятника». Начинаешь путать, где какой лес. В одном случае – это чаща Британии времен короля Артура, убежище изгнанников, ястребов и злодеев. В другом – это заросли вокруг Стоу. И они тоже – убежище для изгнанников, ястребов и злодеев, место, которое, как надеялся Уайт, сделает его свободным и позволит стать самим собой. Как и в «Сэре Орфео», лес в воображении Уайта существует сразу в двух мирах, и в этот странный двойственный лес ястреб уводит Варта. Следуя за птицей, мальчик исполняет волю провидения, в точности как и Уайт, когда идет на поиски своего Тета.

Опускается ночь. Варт спит под деревом. На следующее утро он выходит на лесную поляну, где стоит каменный дом с островерхой крышей. Рядом достает воду из колодца высокий старик в очках и с длинной седой бородой. На нем испачканное птичьим пометом долгополое одеяние, расшитое звездами, листьями и таинственными знаками. Это учитель мальчика, волшебник Мерлин. Войдя в дом, Варт обнаруживает множество удивительнейших сокровищ: тысячи книг, чучела птиц, аквариум с живыми ужами, маленьких барсучков и филина по кличке Архимед. Еще там есть венецианское стекло, тома Британской энциклопедии, ящики с красками, окаменелости, бутыл с мастикой, сплетенные из сетки ловушки на птиц и кроликов, футляр для удочки, мухи для ловли лосося и маска лисы, висящая на стене. Почти все эти вещи можно было найти и в домике Уайта, когда он писал свой роман. Эта книга, по словам Сильвии Таунсенд Уорнер, представляла для Уайта «королевство Грамматики, где нашлось место для всего, что ему хотелось иметь для исправления своей жизни». Но описанную картину можно рассматривать и иначе: не просто как несерьезное развлечение писателя, который решил перечислить на страницах романа окружавшие его вещи, а как подтверждение мысли, что лесное жилище Мерлина – это его собственный дом.

На полках Уайта стояли специально подобранные книги по

психологии. Он их читал, подчеркивал абзацы и делал заметки на полях о патологии сексуальных отклонений. В труде Альфреда Адлера «Индивидуальная психология» он нашел целую главу, посвященную гомосексуальности. В ней говорилось, что гомосексуалистам присуще поведение «людей, желающих вмешаться в ход времени». Адлер считал гомосексуалистов безответственными, поскольку они не желали взрослеть и становиться гетеросексуалами. Но вмешиваться в ход времени? Что написано пером...

А ведь Уайт действительно вмешивался в ход времени. Он обращал его вспять. Лежа под зеленым холмиком, напоминавшим могилу, он достиг способности быть невидимым, и после того, как вылез на свет Божий, почувствовал, что «перевернул день святой Люсии^[31]», самый короткий и темный день года, с которого земля вновь начинает катиться, к весне. Он говорил об этом времени как о возрождении, писал, что жизнь, «кажется, создает себя заново, кажется, находит щель, искорку света в глухих стенах хаоса». Уайт вообразил, что могила помогла ему уйти в небытие. Война с Тетом закончилась поражением, и это убило того Уайта, каким он тогда был. Но теперь с его апокалиптическим, детским видением искупления он представлял себя возрожденным к новой жизни и притом наделенным мудростью. К тому же, он возродился как человек, идущий по жизни из настоящего в прошлое. Раньше я думала, что Мерлин – это великолепный литературный персонаж, но теперь воспринимаю его как гораздо более удивительное создание – как подсказанное воображением Уайта собственное будущее воплощение. Мерлин родился «не на том конце времени». Он должен «жить, идя от того, что впереди, к тому, что позади, и будучи окруженным множеством людей, которые движутся от того, что позади, к тому, что впереди». Такая «обратная» жизнь дает Мерлину возможность предсказывать будущее, ибо для него будущее – всегда прошлое. В написанном в 1941 году заключении романа «Король былого и грядущего», который значительно позже был опубликован как «Книга Мерлина», Уайт рассказывает, как Артур ждет последнего сражения. Это уже пожилой человек, усталый и отчаявшийся. При появлении Мерлина королю кажется, что он видит сон. И тогда Мерлин упрекает короля: «Когда в двадцатом веке я был третьесортным школьным учителем, – с гневом говорит он, – все мальчишки писали по моему заданию сочинение, заканчивавшееся словами: «И затем он проснулся».

Стать Мерлином было мечтой Уайта, поэтому «Меч в камне» надо считать не просто художественным произведением, а пророчеством. Все, что нужно сделать, – это остановиться, подождать четыреста лет, и Варт

появится у Уайта на пороге. Жилище Мерлина и все вещи в нем – это памятные реликвии из далекого будущего. «Я всегда боялся вещей, боли и смерти», – писал Уайт. Но сейчас он воссоздавал себя в виде человека, который обретет – или уже обрел – бессмертие в народных легендах.

В воображении все можно восстановить, поправить, залечить все раны, закончить все истории. Уайт не смог поймать своего пропавшего ястреба, но в облике Мерлина ему это удастся с помощью кольца из воткнутых вертикально перьев и лески. Волшебник вместе с Вартом с триумфом возвращается в замок, неся пойманного ястреба. Так Уайт обеспечивает себе нового ученика: не ястреба, а мальчика, которому суждено стать королем. Он будет воспитывать его, объясняя нравственные законы власти, вдохновит его на создание круглого стола и на борьбу, в которой должна победить не сила, а справедливость. «Пример праведника всегда полезен невеждам, он смягчает их ярость понемногу, от века к веку, пока не будет удовлетворен дух воды», – говорит королю уж в конце «Книги Мерлина». Для маленького мальчика, который стоял перед игрушечным замком и думал, что его вот-вот убьют, превратиться в Мерлина – самая прекрасная мечта. Он будет ждать своего часа, преодолеет все трудности и однажды сможет истребить ужасное насилие в самом зародыше.

Глава 27

Новый мир



Сочельник. За окном заледенелая приливная река. Все, что не украшено бахромой из серебра и виньетками из черной ламповой сажи, окрашено в белый или ярко-синий цвет. Движущиеся точки – это зимующие утки, а мимо них по направлению к морю скользит гагара. Все замерло под тяжестью снега. Я до отвала наелась блинами с беконом в кленовом сиропе, и на душе у меня спокойно – спокойнее, чем за все время, что прошло со дня папиной смерти. Тихое умиротворение. Мама спит в соседней комнате, брат дома с родными своей жены, а Мэйбл у Стюарта и Мэнди почти за пять тысяч километров отсюда.

Мы с мамой проводим Рождество в Америке благодаря гостеприимству моего друга Эрина и его родителей Гарриет и Джима, которые держат недорогую гостиницу с услугой «ночлег и завтрак» на побережье юга штата Мэн. Я познакомилась с Эрином много лет назад в Уэльсе, где занималась разведением соколов. Любитель серфинга и соколиной охоты, он появился на станции в Кармартене и произвел впечатление человека, забредшего не туда, подобно гладко выбритому Кэри Элвесу в фильме «Принцесса-невеста». Эрина привели в Великобританию мечты о соколиной охоте, а вместо этого ему поручили мыть из шланга вольеры, да еще под проливным дождем. Но он справился со своим разочарованием, и мы стали друзьями. Настоящими друзьями. Говорят, таких встречаешь лишь раз или два в жизни. За годы нашего знакомства я часто приезжала к нему, и он познакомил меня со своими приятелями, замечательными жителями Мэна, которые не очень похожи на моих кембриджских друзей. Это рыбаки, охотники, ремесленники, учителя, владельцы небольших гостиниц, гиды. Они делают мебель, ловушки, изящную керамику. Готовят, учат, ловят омаров и лангустов, водят туристов на рыбалку за полосатым окунем. Большинство охотятся.

Занятие охотой в Мэне никогда не разделяло людей в зависимости от веками установленных классовых привилегий. Здесь нет огромных охотничьих угодий для охоты на фазанов, где банкиры соревнуются, чей карман больше, нет куропаточьих пустошей или рек с лососем, принадлежащих аристократам. В соответствии с общим правом, разрешено охотиться на всей земле, и местные жители очень гордятся такой эгалитарной традицией. Несколько лет назад я прочитала статью в журнале «Жизнь природы» выпуска 1942 года, которая своим обращением к этой традиции пробудила во мне чувства, овеванные военным прошлым. «Мой дед приехал сюда из Северной Европы по единственной причине: он хотел жить в стране, где можно рыбачить, не забираясь тайком на частную собственность какого-нибудь аристократа, где запрещено находиться простому человеку», – объяснял один охотник. При фашистских режимах в Италии и Германии, продолжал рассказывать автор статьи, охотиться могут лишь «владельцы поместий и их гости, то есть сильные мира сего». Конечно, автору пришлось немного сбавить обороты, потому что в Великобритании все было точно так же: «Не сочтите это за критику нашего доблестного союзника, – оговаривался он, – но нам ни к чему перенимать английскую систему землепользования». Более того, охота здесь – дело более приемлемое, чем в Англии. Мой здешний знакомый Скотт Макнефф, крепкий и энергичный любитель приключений, владеет собственным магазином мороженого. Летом он занимается торговлей, а зимой – ястребиной охотой. Он рассказал мне, что почти все жители Мэна так или иначе причастны к ноябрьской охоте на оленей. Даже если кто-то не охотится сам, он обязательно знаком с каким-нибудь охотником, а морозильные камеры во всем штате забиваются добытой собственными руками олениной, разложенной по пакетам, которые потом посылаются родным и друзьям. Здесь люди травят охотничьи байки точно так же, как у нас в Англии истории про выпитое в пабах.

Вчера Скотт взял нас с собой на охоту. Охотился он с годовалым краснохвостым сарычем по имени Йодер. Красивый самец. Хохолок и спина каштанового цвета, нижние перья молочно-белые, с редкими пестринками. Он не так хорошо вооружен, как ястреб-тетеревятник: пальцы у сарыча короче и толще. Они больше похожи на сжатые кулаки, не то что когтистые пальцы пианистки, как у Мэйбл. У него отсутствует присущая ястребу-тетеревятнику сутулость поджарого леопарда и передающаяся охотнику настороженность. Глаза темные, выражение спокойное и открытое. Крепкая, дружелюбная птица. Невозмутимая, хотя и была поймана в дикой природе. Йодер – молодой сарыч, но уже умеет

охотиться. После того, как он покинул гнездо, ему пришлось в течение нескольких недель изучить сотню различных способов, как справляться с воздушными массами и дождем, ветром и добычей, причем изучить быстро, иначе смерть. Американские сокольники имеют право ловить таких птиц и охотиться с ними в первую зиму их жизни, но весной они должны отпускать птиц на волю для размножения. Это происходит, потому что сокольников тестируют, а потом штат выдает им лицензии. Хорошая система. Жаль, что у нас такой нет.

Особенная плавность делает любое движение Скотта прекрасным. На него приятно смотреть. Он меняет сарычу опутенки, проверяет карманы обтрепанной куртки: не забыл ли положить корм, и мы идем. Земля покрыта глубоким снегом. Мир замер, но кажется, будто вот-вот встряхнется. Здесь есть леса: тысячи гектаров веймутовых сосен, болиголова, елей и дубов. Но мы поворачиваем в другом направлении. Проходим по игровой площадке, похожей на школьную. Йодер слетает с кулака Скотта и садится на один из гимнастических снарядов. Затем мы спускаемся по склону позади обшитых деревом домов. Сарыч следует за нами. Воздух поглощает звук, поэтому, когда говоришь, голос замирает в облаке белого пара в тридцати сантиметрах от лица. «Что мы здесь делаем? – тоскливо думаю я. – Это же город».

На землю с десятиметровой высоты падают оторвавшиеся кусочки древесной коры. Из окна наверху нам машет какое-то семейство. Мы машем в ответ. Сарыч взлетает все выше и выше по сосне, которая растет за забором заднего двора. Хлопая крыльями и перескакивая с ветки на ветку, он поднимается к небу. «Белка!» – кричит Скотт. И вот я уже по колено в снегу, кашляя, со звоном в ушах, еще не адаптировавшихся после перелета через океан, пытаюсь рассмотреть, что происходит у нас над головой. Чистое небо сияет белизной сквозь узелки и переплетения веток и иголок. Надо мной в полете два существа. Одному – набрать высоту, занять выгодное положение, другому – увернуться, спастись. Белка знает краснохвостых сарычей: они обитают в здешних лесах. И сарыч тоже знает белок: он охотился на них в дикой природе, до того как осенью его поймал Скотт. Тонкий сучок сгибается и, пружиня, распрямляется, когда белка перепрыгивает на другое дерево. Сарыч за ней. Мы крутим головой, следя за погоней наверху, и мне кажется, что в природе разыгрывается фильм «Под нами враг», повествующий о противоборстве эсминца США и немецкой подводной лодки во время Второй мировой войны. Сарыч резко разворачивается, белка делает еще один прыжок, ее темный силуэт с вытянутыми ногами четко вырисовывается на фоне неба, и тут на нее

налетает что-то черное и громоздкое. Это сарыч. Я слышу звук удара, вижу неуклюжее, планирующее падение с десятиметровой высоты сквозь летящий снег и сломанные ветки, и оба животных оказываются на земле. Скотт бежит по глубокому снегу, точно в замедленной съемке. Когда я добираюсь до места, белка уже мертва, и сарыч сидит, раскрыв клюв и расправив крылья над своей добычей. Из его рта вверх поднимается струйка пара. Кровь уже растопила в снегу тоненькую дорожку, и ноги и перья сарыча испачканы крошащейся липкой массой из снега и крови, похожей на цветной сахар. Сарыч оглядывает окрестности – задний двор, гаражи, низкий забор, барбекюшницу, заваленную снегом, и надувного Санту на надувном мотоцикле «Харли-Дэвидсон». Сосульки, висящие еще с Сочельника. Откуда-то доносится звук телевизора, но его перекрывает обращенная к имениннику песенка. Мне никогда не приходилось наблюдать такую дикую в своей жестокости и одновременно такую знакомую картину. Неужели это может происходить здесь? Как может дикая природа так явно заявить о себе на площадке в центре города, посреди чьего-то участка, в окружении других домов? Именно от них я пыталась убежать со своим ястребом.

Это была самая дикая охота, какую мне доводилось наблюдать. Сидя у окна и глядя на замерзшую реку, я подумала, что дом, наверное, может быть везде, точно так же как и дикая природа в самом жестоком своем проявлении может существовать среди пригородных участков, а сарыч легко выберет в качестве присады гимнастические снаряды детской площадки и будет наблюдать оттуда за жертвой не менее успешно, чем с самой дальней сосны. Мэн подарил мне на Рождество семью и показал, что ловчая птица бывает ее частью. Я поняла, что дикую природу можно приручить и даже взять к себе в дом.

Наше последнее утро. Эрин, мама и я идем по побережью Парсонс-Бич, ветер дует в лицо. Холодный день со вкусом горькой соли на губах. Мы бредем по замерзшему песку. Вдали от берега по небу тянутся вереницы нырков – рваные линии на промокнушем сине-сером сукне. В воде под ними полно омаров, которыми знаменит Мэн. В городе повсюду висит реклама сандвичей с омарами. Отец Эрина раньше отлавливал омаров, и несколько лет назад я выходила на промысел вместе с ними. Моя роль сводилась к тому, чтобы сидеть на корме и смотреть, как поднимают ловушки, измеряют, сортируют и метят омаров, потом кладут в ловушки приманку и спускают обратно в воду. Ловцы работали не один час, а я сидела и не знала, как им помочь, что мне делать. Я могла только ждать. Им

было приятно, что я отправилась вместе с ними, да и день был великолепный, но все равно я чувствовала себя виноватой – такая типичная английская туристка. Сейчас, идя по побережью, я вспоминала тот день, и мне снова стало жутко неловко. Я провела на холме с Мэйбл несколько месяцев, видела, как созревает урожай, как тракторы боронят склоны, как скотоводы организуют зимовку овец на отгонных пастбищах. И я ни с кем не разговаривала. Ни с единой живой душой. Мне вспомнились многочисленные туристы, стоявшие здесь летом: они делали снимки подходивших к берегу лодок с омарами, наводили под углом фотоаппараты, чтобы поймать извилистую светотень на груди ловушек на причале в местечке Кейп-Порпойс. И я такая же? Я не хотела стать туристкой с Мэйбл на перчатке. Туризм – это не мое. Но вместе с тем я совсем не хотела принадлежать миру тех, кто занят какой-то работой.

Мы поворачиваем назад, и теперь ветер дует нам в спину, кружась над растущими на скалах водорослями, покрытыми ледяной коркой, и сдувая стайки песчанок к линии прибоя. В период внесезонья улицы городка пустынные, гостиницы закрыты, жалюзи опущены, деревянные вывески раскачиваются на ветру. На светофоре над пересечением Мейн-стрит и Вестерн-авеню сидит ястреб Купера, плоскоголовый, с распушенными перьями, и, как Мэйбл, глядит вниз на пустой город.

В гостинице, замерзшая и сосредоточенная, я хватаю чашку кофе и начинаю ходить туда-сюда перед камином. Лицо горит. Наверное, от ветра. Мама наверху собирает вещи. Слышно, как Эрин с отцом смеются на кухне. «Не хочу уезжать», – думаю я. Порвав со своим окружением, я только на поминальной службе по отцу вспомнила, что близкие люди все-таки существуют. И вот теперь я снова оказалась среди своих – в чужой, но такой родной семье, и мне совсем не хочется возвращаться в Англию. Здесь исцеляются мои душевные раны, я это чувствую, и мне страшно подумать, что будет, когда я уеду. Не знаю, как мне жить в моем старом городе, без работы, без надежд, без друзей.

Хлопает дверь во двор. Это Джим отправляется на грузовике в свою мастерскую. *Не хочу уезжать*. Настроение ни к черту. Злюсь. Угрюмо смотрю в огонь, и меня бросает в жар от жалости к себе. Но тут слышу, как открывается дверь, и в нее с заговорщическим видом просовывается взъерошенная голова Эрина. Видно, он что-то задумал. Через минуту я уже помогаю ему тащить из комнаты на заснеженную лужайку огромную рождественскую елку. Ее макушка змейкой тянется по грубому следу, который остается от дерева на снегу. Ветки скользят по заснеженной земле, кое-где врезаясь в наст, поблескивающий в рассеянном свете. Мы втыкаем

елку глубоко в снег, как будто она тут всегда и росла. Только я ума не приложу, зачем.

– О'кей, Мака^[32], теперь мы ее сожжем! – говорит Эрин.

Ничего не понимаю.

– У нас в *Америке* такая традиция.

Не верю ни единому слову.

– А в *Англии традиция* – выносить елки на улицу, чтобы их убрали специальные службы, – говорю я. – Но я согласна. Давай сожжем!

– Тогда бегу за гелем для растопки! – кричит он.

В его идее есть элемент безумия, заразительного языческого веселья. Из дома Эрин возвращается с пластиковой бутылкой. Воздух стал теплее, лед на земле подтаял, превратившись в воду, и ее капельки стоят в воздухе, обволакивая нас туманом. В заснеженной тишине Эрин украшает елку вязкими гелевыми нитями зеленого цвета, которые свисают с ветвей, точно клейкая мишура.

– Отойди, – командует он и зажигает спичку.

Огонь с треском стремительно бежит по ветке. Поначалу это красиво: мягкий желтый свет среди монохромной серости. Но вдруг елка взрывается фонтаном бьющего вверх пламени, и все вокруг озаряется жутким ярким светом. Приподняв брови, Эрин отходит на приличное расстояние. Теперь я смеюсь так, что еле держусь на ногах. «Боже мой, Эрин!» – кричу я. Мне кажется, он поджег весь мир: шестиметровая огненная пирамида освещает лужайку, дом, реку, дальний берег, рисует черные тени деревьев, которые еще мгновение назад сливались с сумраком. На наших лицах играет золотистый отблеск бушующего оранжевого пламени. *Что мы, черт возьми, натворили!* Дым смешивается с туманом, и кажется, что горит все. Елка раскалена, ее ветки спекаются, трещат и крошатся, всюду дым, а у нас с Эрином лица людей, предвидящих серьезные неприятности. «Нам сейчас только пожарных не хватает!» – кричит мне Эрин. И мы снова становимся детьми, довольными, что удалось напроказничать, но все же испуганными приближающейся расплатой.

Внезапно огонь гаснет. В снегу остается воткнутый скелет елки, который больше не кажется удивительным огненным чудовищем. Лишь тонкий ствол и несколько обгорелых ветвей, успевших повлажнить от сырого воздуха. Смотрю на этот остов, вдыхаю дым пополам с туманом. Эрин корчит мне гримасу, и я отвечаю тем же.

– Здорово, – говорит он.

Действительно, здорово. Ритуальное сожжение, странный магический обряд. Все плохое ушло из дерева вместе с огнем. Мы смеемся по пути к

дому, оставив в снегу скелет елки. В тот же день, ближе к вечеру, мы с мамой летим в Лондон. Я отвожу ее домой, обещаю вскоре навестить и еду дальше а Кембридж, а оттуда – к дому Стюарта и Мэнди. Подбегаю к воротам. Мне не терпится увидеть свою Мэйбл. Вот и она: сидит на присаде в саду, откормленная и довольная, посреди виляющих хвостами пойнтеров. Я благодарю Стюарта, что присмотрел за Мэйбл, пока меня не было. Он стоит у двери на террасе между домом и садом, и вид у него на удивление измотанный и усталый.

– Да не за что, – отвечает он. – По правде говоря, я почти ничего не делал. Свалился с гриппом. Жуть! Все Рождество провел в постели. Только кидал ей еду.

– Бедняжка Стюарт, – говорит Мэнди, подходя к столу с тремя чашками кофе и открытой пачкой печенья. – Вот уж не повезло так не повезло.

Смотрю на своих друзей, и у меня сжимается сердце. Они так помогали мне, проявляли искреннюю любовь, а я принимала все как должное.

– Спасибо вам. Огромное спасибо, – говорю я. – Я вас обоих очень люблю. Честное слово.

Пытаюсь вложить в свои слова все нахлынувшие чувства. Это не просто благодарность за ястреба. Поднявшись, хочу обнять Стюарта.

– Не заразись, – говорит он, отстраняясь.

Но я все равно его обнимаю.

Прохладным августовским днем 1939 года Уайт прячется от войны в Ирландии. Он понимает, что ему следовало бы пойти в армию, но он уговорил себя, что его бегство – это вовсе не трусость. Как солдат он никому не принесет пользы. Зато у него есть более важное дело – завершить эпическое повествование об Англии, ответив на вопрос, почему людям свойственно воевать. Именно для этого он приехал сюда, в графство Мейо, где среди рододендронов и сосен снял для работы «Шескин лодж», полуразвалившийся летний дом с застекленным зимним садом, некогда принадлежавший какому-то аристократическому семейству.

Он сидит в облезлом кожаном кресле в комнате с отслаивающимися обоями. Из открытого окна доносится гулкой звон колокольчиков, всякий раз, как привязанные соколы бьют крыльями, пытаясь вырваться на свободу со своих колод на лужайке. Его любимая птица по кличке Подружка погибла – запуталась в хранившейся в сарае сетке, которой обычно накрывают клубнику, и задохнулась. Но он уже успел обучить двух кречетов, а теперь дрессирует еще двух сапсанов: сокола Крессида со

скверным характером и нервного молодого ястреба пока без имени. Последние полчаса Уайт фиксирует в обернутом калькой дневнике мельчайшие детали процесса дрессировки. Но неожиданно он прерывает работу. Колокольчики навели его на мысль: может, все-таки стоит написать книгу о ястребах? Однажды он уже брался, но дело не пошло. Что, если снова попробовать? Это будет не такая книга, какие обычно пишут натуралисты. Это будет книга с двойным дном, думает он. *Настоящая литература*. И Уайт набрасывает план, который все объясняет:

«Обряды инициации, жилище колдуна, воспитывающего ловчих птиц, звуки магической тьмы, узлы некромантии. Узлы были, возможно, самыми ранними заклятиями. Два ястреба думают, что они привязаны к колодам моим волшебным искусством... Уверен, что если бы человечество не изобрело узлов, оно никогда не смогло бы представить себе волшебников».

Уайт будет присутствовать в книге в качестве сокольника, как, впрочем, и в других своих качествах, необходимых для воспитания ястреба. Сначала он станет инквизитором Торквемадой, потом чародеем-врачом, участвующим в обрядах инициации половозрелых юнцов, – его наводящее ужас присутствие в виде «демонического бога пещеры» должно способствовать проверке их мужественности. Затем он, конечно, станет Просперо, всемогущим магом, ведущим юных ястребов через все ритуалы и испытания, ибо теперь, полагает Уайт, он знает, что такое свобода и что значит взросление. Он тот, кто с помощью магии подчиняет ястреба своей воле, и он знает, что в конце книги раскроется самая главная тайна. Ястреб должен вырваться на волю. Обязательно должен. Ибо ястребу суждено «разбить чары, исчезнуть, оставить некроманта с носом – но для того лишь, чтобы понять, что за этими чарами скрывались другие, что волшебник на самом деле был святым и ему радостно, что ястреб улетел». Уайт, растрогавшись, заканчивает абзац:

«И будет он стоять, маленький и преображенный, глядя в небеса с презренной земли, в развевающемся на ветру плаще, усыпанном мириадами звезд, с ненужной более волшебной палочкой и с белой струящейся бородой. А птица? Победа. Ненависть. Благодарность. Ни логики, ни морали. Только одна лишь магия, сотворенная и преодоленная».

Глава 28

Зимние истории



Небо у нас над головой не самое обычное – над рваными тучами холодного фронта витают полосы перисто-слоистых облаков. Мы идем по полям. Встречный ветер играет жаворонками, как шелухой. Коноплянки шныряют, точно мошкара, в живых изгородях вокруг моего старого дома или восседают на них, подобно нотам на нотном стане. Без отца мой родной дом уже не тот. Зима скоро кончится, и я снова приехала к матери. Конечно, сейчас мне уже легче, и я чаще стала бывать здесь. И все-таки каждый раз забываю, какое мне предстоит испытание.

Зимние поля оголились, пожелтели и оцетинились общипанной кроликами травой. Кое-где в ней разыскивают себе пропитание грачи. Я могу охотиться с Мэйбл в этих полях до самого их конца у заболоченной живой изгороди, которая не уступает по ширине целому перелеску и поросла свисающим, как сосульки, мхом. За этой живой изгородью терра инкогнита – чужая земля. Она, как и все неизвестное по соседству со знакомым местом, непреодолимо манит к себе, но с таким влечением надо бороться. Я стою на самой высокой точке поля, меняю Мэйбл опутенки, снимаю должик, надеваю на него вертлюг, складываю должик вдвое и убираю в карман. Подняв руку вверх, жду, пока Мэйбл осмотрится, и подбрасываю ее в налетевший порыв ветра. Мэйбл улетает к дальней живой изгороди и, потряхивая хвостом, усаживается на небольшой ясень. Я иду к ней, и мы начинаем охотиться, высматривая кроликов среди оврачков и редких деревьев. Не всякий сможет продраться сквозь растущие здесь кусты бузины с поросшими лишайником ветками и сучками. Ноги запинаются о стволы упавших дубков, за одежду цепляется колючая ежевика, путь преграждает орешник, на пнях вьется плющ, который ползет к свету по стволам деревьев, сверкая в тени листьями, как чешуей. Пахнет перегноем и разложением. На каждом шагу под ногами хрустят сучки.

Лесная почва кажется зыбкой и ненадежной.

Мэйбл меня поражает. До этого я охотилась с ней в основном на просторе, но она сразу уловила суть лесной охоты и насторожилась. Даже более того. Охота с ястребом-тетеревятником в лесу, где почти не видно горизонта, обнаружила тесную связь между нами. Стоит мне свистнуть, как Мэйбл, круша ветки, садится ко мне на кулак. Стоит мне тронуться с места и пропасть из вида, как она летит, разыскивая меня, словно ангел-хранитель. Подняв голову, я встречаюсь с внимательным взглядом больших и круглых ястребиных глаз. Зрачки Мэйбл расширились от возбуждения, она сгорбилась и смотрит на меня вниз, вцепившись желтыми, как карандаши, пальцами в сук засохшего ясеня. Потом Мэйбл парит над деревьями, мелькая в просветах между ветвями и распространяя по воздуху невидимые глазу флюиды.

Больше рассказывать, в сущности, нечего. Обернувшись, я наконец вижу в норе метрах в трех от меня бесстрастную мордочку молодого кролика. Он наострил уши и подергивает носом. По-моему, это серенькая самочка. Мэйбл ее не видит. Мир, сойдясь клином на кролике, замер. Мы глядим друг на друга. Кролик явно прочитал в моем взгляде свою участь и счел за благо скрыться. Мэйбл заметила его, когда он уже исчезал в норе, но, конечно, ринулась вдогонку за тенью. Просто так, на всякий случай. Она цапнула когтями воздух у самого входа в нору, взлетела на дерево и уселась на ветку, подергивая хвостом и косясь вниз. В другой раз я, не разбирая дороги, несусь за Мэйбл и вижу, что она впиалась когтями в ветку каштана метрах в двенадцати над землей: хотела схватить серую белку, но промахнулась. Белка же стрелой карабкается по неровностям древесной коры, спеша укрыться в древесной кроне. Кусочки коры сыплются на меня, как легкий серый снег. Мэйбл по первому зову садится ко мне на кулак, и я перевожу дух – белка могла отхватить ей палец. Впрочем, на месте белки я бы тоже стала кусаться. Потом Мэйбл подлетает на бреющем полете над самой землей, потому что по-другому пролететь сквозь густые ветки бузины невозможно. Когда она уже совсем близко, я вижу, как у нее на спине слегка топорщатся перья, затем она замирает в воздухе и – шлеп! – впивается всеми восемью когтями мне в перчатку. Потом, слегка разжав когти, смотрит на меня вопрошающим взглядом. Внезапно она видит что-то сквозь деревья по ту сторону живой изгороди. Ее зрачки расширяются, она по-змеиному поводит головой, прижимает хохолок, а серые нитевидные перышки вокруг клюва и глаз морщатся, что, как я уже выучила, означает: «Там кто-то есть».

Хотя у меня нет разрешения на охоту в этих местах, я решаю

исследовать местность. Уже изорвав в клочья три пары охотничьих брюк, я с большой осторожностью заносу ноги как можно выше над уцелевшей от ограды ржавой проволокой, поворачиваюсь и погружаюсь по щиколотку в грунт цвета мокрого табака с увядшим дерном. Перед нами простирается широкая холмистая равнина. Красота. Набрал в грудь побольше воздуха, я делаю долгий выдох и ощущаю в голове легкость, всегда охватывающую меня на меловой почве.

Меловые ландшафты действуют на меня именно так: они вызывают радостное возбуждение, и я замираю на цыпочках, словно в ожидании какого-то открытия. При этом меня не покидает чувство вины. Восприятие англичанами природы отмечено глубоко мистическим отношением к меловым ландшафтам, и я не сомневаюсь, что мои ощущения в такие моменты проистекают именно из него. Я чувствую себя виноватой, потому что понимаю: любовь к этим ландшафтам уходит корнями в историю, где есть место идеям о чистоте помыслов, о бездонности времени и о кровном родстве с далекими предками, и эта пустынная, продуваемая ветром местность кажется лучше и совершеннее, чем та, что лежит в низинах. Как писал в тридцатых годах прошлого века знаток сельских меловых культов Гарольд Джон Массингем, «помыслы лиц, посещающих меловые холмы, сосредоточены на самом главном: на структуре, форме и фактуре. На возвышенностях человек вдыхает воздух, который обращает его к великим, древним, оголенным формам вещей. Простирающийся перед его глазами пейзаж подобен тому, что предстает взору авиатора».

Я выросла среди поросших соснами песчаных низин и пустошей Суррея, но сохранилась фотография – на ней я в пятилетнем возрасте, закутанная в клетчатое шерстяное пальто с капюшоном и деревянными пуговицами, стою, положив руку на один из камней Стоунхенджа, среди которых мой детский ум впервые уловил намеки истории. А когда я чуть подросла, отец сказал мне, что тропинка вдоль вершин холмов возле Вантеджа, по которой мы брели под аккомпанемент щебетания просянок, перелетавших с одного столба изгороди на другой, – это на самом деле Риджуэйская дорога, по которой люди ходили еще в незапамятные времена. Помню, тогда это меня потрясло. В семидесятых годах произошел новый всплеск интереса к культу меловых холмов и истории. Энтузиасты реконструировали поселения людей железного века возле Батсера; по телевизору показывали жутковатые детские телеспектакли о каменных кругах в Эйвбери; а на сверхсекретных военных базах на Солсберийской равнине пытались возродить популяцию дрофы. Сейчас мне интересно,

почему все это случилось именно тогда. Может, это была реакция на нефтяной кризис? Или на экономический спад? Даже не знаю. Но тогда на Риджуэйской дороге, в возрасте девяти или десяти лет, я впервые почувствовала силу, которую обретает человек, ощутив свою причастность к древней истории. Лишь много позже я поняла, что у намеков истории есть собственная, еще более темная история. Что культ мела зиждился на представлении об органическом родстве с ландшафтом, на чувстве сопричастности, освященном обращением к воображаемым корням. Что меловые холмы причастны не только к естественной, но и к национальной истории. Много позже я поняла и ту трагедию, которую несут с собой эти мифы. Мне стало ясно, что они уничтожают другие культуры и их историю, другие формы любви и труда, привязанность к иным ландшафтам. И что они медленно, на цыпочках, уходят во мрак.

Я стою по ту сторону знакомой живой изгороди. Перед моим взглядом простирается terra incognita – возрожденный ухищрениями двадцатого века образ мифического прошлого Англии. Оставив за спиной пожухлые травы, я ступаю на скудную каменистую почву, превращенную в белую массу обилием известняка; на тонких корешках и кремневой гальке заметны капли дождя, и мелкие камушки-пуговицы выступают как рельефный орнамент. Подо мной раскинулась сухая долина, где можно построить целый поселок. На ее левом склоне сереет буковая рощица. На поле проклевывается бесчисленное множество мелких побегов пшеницы, и из-за них известняковая почва кажется мохнатой, как поросшие водорослями скалы. Даже в сегодняшнем тусклом, размытом свете долина излучает неяркое сияние. Теперь я вижу, что именно углядела Мэйбл. Примерно в сотне шагах от нас, прижав уши с черными кончиками к рыжеватой спине, сидит большой бурый заяц. Но это еще не все. На дне долины, там, где при наличии воды текла бы река, я вижу стадо из тридцати ланей. Шерсть у них на спине черная, как у крота, а на брюхе – светло-серая. Животные сбились в кучу, дрожат в нерешительности и, подняв головы, глядят на меня. Стадо из тридцати голов производит очень хрупкое и в то же время довольно внушительное впечатление. Лани ждут, что я буду делать.

Не могу устоять перед искушением. Не спуская с перчатки Мэйбл, которая тоже не сводит с них глаз, я, как замороженная, спускаюсь к стаду, ощущая странную пустоту под ногами, возникающую, когда идешь под гору. Строго говоря, я вторгаюсь на чужую собственность, но ничего не могу с собой поделаться. Мне очень хочется хоть как-то пообщаться с

ланиями, добраться до них. Однако, заметив мое уверенное приближение, одна лань отступает вправо, и все стадо сразу начинает двигаться, постепенно переходит на легкий бег и удаляется, вытянувшись длинной вереницей по дну долины, а затем почти в километре отсюда, там, где кончается поле, поднимается по склону к лесу. От ланей не оторвать глаз. Мэйбл тоже следит за ними, не обращая на зайца никакого внимания. Их вереница похожа на ожившие наскальные рисунки углем на сводах пещеры. Жизнь чудесным образом подражает искусству. Мел блестит, как белая кость. Теперь уж и заяц бросился наутек. Но в противоположную сторону. Бегущие животные нарушили цельность пейзажа. Лани направляются в одну сторону, заяц в другую. Вот уже все они скрылись из виду: заяц ускакал на окраину поля – того, что на вершине холма слева от меня, а лани спрятались в лесу на вершине того, что справа. Теперь передо мной лишь ветер, мел и побеги пшеницы.

Больше ничего. Мэйбл опять встрепенулась и принялась чистить кроющие перья. Бегущие лани, бегущий заяц – это то, что осталось нам в наследство от времен торговли с другими народами, вторжений иноземцев, развития земледелия, охоты и людских поселений. Говорят, зайцев завезли к нам еще римляне. А уж ланей-то точно они. Стаи золотистых фазанов прибыли из Малой Азии. Ныне обитающие здесь куропатки родом из Франции, а те, что попадают мне сейчас на глаза, уже выведены в инкубаторах с принудительной вентиляцией в охотничьих хозяйствах. Белка на каштане? Из Северной Америки. Кролики? Завезены в Средние века. Эти прибывшие из дальних стран источники шерсти, мяса, меха, пуха и перьев вступили тем не менее во владение нашими землями.

Мы вновь тронулись с места и на этот раз идем к дому. Но теперь в воздухе так сильно пахнет скорым дождем, что кролики не отходят от норки и, завидев ястреба, тут же юркают в них. Когда Мэйбл в очередной раз чуть не хватает кролика, шмыгнувшего в норку среди камней и стеблей шиповника, я отзываю ее и кормлю. Птица устала. На голове и на малюсеньких перышках вокруг глаз блестят капельки воды. Мы возвращаемся к машине. Я тоже устала и рада попавшимся навстречу людям. Мы раньше встречались. Это чета пенсионеров из маминого городка. Выгуливают на длинном поводке терьера с белой мордой. Закутавшись в шарфы и застегнув на все кнопки куртки, они немного сутулятся от холода и сырости. Я вижу их здесь довольно часто. И мне эти встречи всегда приятны, хотя я не знаю их имен, как и они не знают моего. Впрочем, им известно, что мою птицу зовут Мэйбл. Машу им рукой, они

останавливаются и тоже машут в ответ.

– Здравствуйте, – говорю я.

– Здравствуйте. Как ваш ястреб? – спрашивают они.

– В полном порядке, – радостно отвечаю я. – Только устала. Очень много летала. Сегодня так красиво! Я видела ланей! – рассказываю я, обрадовавшись слушателям. – Большое стадо темной масти. Внизу в долине.

– Здорово, – говорит мужчина. – Удивительно красивые. Редкий окрас. Мы их встречаем довольно часто.

Он улыбается. Нам нравится рассуждать о местах, которых никто, кроме нас, не знает. Его жена кивает и говорит:

– Они такие прекрасные! Однажды мы их посчитали.

– Обычно их голов двадцать пять – тридцать, – сообщает мужчина.

– Сегодня ровно тридцать, – говорю я.

– Просто загляденье.

Соглашаюсь. Ветер усиливается, и женщина плотнее укутывается в шарф.

Мужчина кивает. Куртка у него на плечах становится темной от дождя.

– Стадо ланей, – улыбается он, а потом, неведь с чего внезапно посерьезнев, добавляет: – Они наша последняя надежда, правда?

– Надежда на что?

– Разве не здорово, – говорит он, – что лани еще сохранились? Они часть старой Англии. Уцелели, несмотря на всех этих иммигрантов.

Не знаю, что ответить. Его слова повисли в воздухе, и воцарилось неловкое молчание. Ветер треплет листья орешника. Я раскланиваюсь. Мне так грустно, что хочется плакать, и мы с Мэйбл бредем домой под дождем.

Чувствую себя ужасно. Наверное, нужно было что-то сказать, но я смутилась и промолчала. Шлепая по лужам, пытаюсь разорвать накрывший меня мрак. Я вспоминаю культ меловых холмов, мифы о нашем кровном родстве с далекими предками и отвратительного бронзового сокола Геринга, собиравшегося изгнать евреев из германских лесов. Я думаю о финских ястребах-тетеревятниках, прижившихся в Брекландсе, о своем деде, родившемся на Внешних Гебридских островах и говорившем до десяти лет только на гэльском языке. И о литовском строителе, которого я встретила в лесу за сбором грибов, – он удивленно спросил меня, почему в Англии никто не разбирается в съедобных и несъедобных грибах. Я думаю о запутанной истории ландшафтов и о том, как легко ее позабыть и заменить на более простую и безопасную историю.

Безопасна она только для людей. Поля, где я охочусь с Мэйбл у себя в Кембридже, обрабатываются без помощи химии и наполнены жизнью. Не то что эти. Конечно, здесь тоже встречаются крупные животные – лани, лисы и кролики. На вид здешние поля и деревья не отличаются от кембриджских, но стоит присмотреться, и ты понимаешь, что земли эти опустошены. На них растут почти исключительно культурные растения. Пчел и бабочек меньше, потому что земля обработана и полита смертельно опасными химикатами. Десять лет назад тут водились горлицы. Тридцать лет назад можно было встретить проснянок и огромные стаи чибисов. Семьдесят лет назад – сорокопутов-жуланов, вертишеек и бекасов. А двести лет назад – воронов и тетеревов. Все они вымерли.

Старая Англия – это вымышленное место, сотворенное из слов, ксилографий, кинофильмов, картин и красивых гравюр. Она – плод человеческого воображения, а наша жизнь коротка, и мы невнимательны к тому, что нас окружает. Мы не умеем соизмерять. Копашащиеся в земле козявки слишком малы и потому нас не интересуют. Климатические же изменения слишком масштабны, и нам сложно их осознать. Время нам тоже не по зубам. Люди не помнят тех, кто жил до них, и не могут любить то, чего больше нет. Не можем мы и представить себе мир после нас. За отмеренные семьдесят лет человек привязывает все лишь к самому себе, утешаясь миражами и лишая холмы их истории.

Истории и жизни. Возможно, здешние окрестности и напоминают Старую Англию, но на самом деле четырехста и даже сто лет назад здесь все было по-другому. Я уже почти дома, расстраиваюсь, злюсь, ужасно раздражаюсь. Зря мы хотим, чтобы природа стала олицетворением того, чем мы себя возомнили. Лучше бы мы боролись за сохранение той природы, что еще наполнена всем разнообразием жизни. Еще я виню себя в том, что, занявшись ястребиной охотой, пыталась убежать от истории. Пыталась забыть о тьме, о ястребах Геринга, о смерти и обо всем, что существовало раньше. Мое бегство было ошибкой. Даже хуже. Оно было опасно. «Надо всегда бороться против забвения», – решаю я и жалею, что не бросилась вслед за старичками и не объяснила им, что думаю о ланях. Надо было встать перед ними и прямо в грязи, размахивая под дождем ястребом на руке, растолковать, что такое кровь и история.

Тем же вечером на книжных полках внизу я нашла тетради, где отец фиксировал увиденные самолеты, – шесть тетрадей в твердых тканевых переплетках. Вытаскиваю одну из них наугад. 1956 год. Ему было шестнадцать лет. На страницах несколько разлинованных колонок. Над колонками аккуратные надписи большими буквами, сделанные чернильной

ручкой: «ДАТА», «КОЛ-ВО САМОЛЕТОВ», «ТИП САМОЛЕТА», «ПРИМЕЧАНИЯ», «РЕГ. НОМЕР». Я изучаю первую колонку. Двадцать пятого апреля он наблюдал за самолетами с девяти сорока утра до семи вечера. Двадцать шестого – с девяти утра до девяти вечера. *Боже мой! Он двенадцать часов, задрал голову, смотрел в небо!* В тетрадах сотни страниц с записями, в которых фигурируют тысячи самолетов: «Виккерсы V-70 вайкаунт», «F-86 сейбр», эйрспиды «Амбассадор», «Локхиды супер-констеллейшен», «Глостеры метеор».

Посетив Кройдонский аэропорт в конце мая, он пишет: «Восемь «Де Хэвиллендов тайгер мот». Два учебных «Остера эглет». Два «Тейлоркрафта плюс-д». Один «Остер-5». Три «Де Хэвилленда-104 Дав». Я понятия не имею, что это за самолеты. На страницу тетради наклеена фотография самолета КБ Туполева «Ту-104». Под ней папа написал: «Несомненно, это приспособленный для гражданских целей бомбардировщик «Ту-16», но русские утверждают, что самолет совсем новой конструкции». Я вспоминаю собственную детскую въедливость и педантичность во всем, что касалось ястребов. И вдруг мне кажется, что папа совсем рядом. Из тетради выскальзывает еще один снимок. Подобрал его, я читаю: «Де Хэвилленд-104 Дав». Кройдонский аэропорт. 02.04.1956 г.» Я сверяю номер на борту самолета с записью в тетради. «G-AMYO» авиакомпании «Мортон». Взлетная полоса теряется в тумане. В кабине экипажа виднеется чей-то профиль. Кажется, летчик подался вперед и протирает фонарь кабины перед взлетом в серое апрельское небо.

В тот момент я поняла, почему отец наблюдал за самолетами. Когда он был маленьким, они с другими мальчишками лазали без присмотра по лондонским развалинам, оставшимся после бомбежек, и, по его словам, подбирали там все, что попадалось на глаза, – куски шрапнели, пачки из-под сигарет, монеты – в основном однотипные вещи, из которых можно было составлять своего рода коллекции, потом обмениваться друг с другом и присовокуплять к ним новые находки. Я поняла, что, создавая такие коллекции, мальчишки пытались привести в порядок собственный мир, разбомбленный войной и лежавший в руинах. Наблюдая за самолетами – красивыми аппаратами с номерами и звучными названиями, но напрямую связанными со смертельной опасностью и выживанием, – отец тоже хотел собрать коллекцию. Более того. У самолетов были крылья. Они умели летать. Зная их, наблюдая за ними, понимая их перемещения, можно было, в известном смысле, взлететь самому. Глядя на отрывающийся от земли «Ту-104», ты мог мысленно пересечь границы и попасть в места, доступные лишь воображению. Через несколько часов ты бы оказался на

заснеженном советском аэродроме. Или на любом из тысяч других. Когда глядишь на самолеты, ты словно летишь вместе с ними, оставив позади привычную жизнь. Самолеты раздвигают пределы узкого человеческого мирка до самых дальних морских берегов.

В папиных тетрадах много кропотливых записей о вещах мне неизвестных. Но теперь я понимаю, зачем они были нужны. В них он хотел упорядочить запредельное. Это дневник наблюдателя. Рассуждая со мной о терпении, отец подразумевал всю магию ожидания, когда не можешь отвести глаз от движения в небе.

Поставив тетрадь на место, я вижу, что между следующими двумя тетрадями торчит кусок коричневой картонки. Заинтересовавшись, достаю ее. С одной стороны картонка не очень аккуратно обрезана. Там ничего не написано. Я переворачиваю ее, и мое сердце замирает. С другой стороны приклеен прозрачным скотчем серебристый дверной ключ и под ним написано карандашом:

«Ключ от квартиры.

Целую. Папа».

В прошлом году отец прислал мне ключ, чтобы в его отсутствие я могла пользоваться его лондонской квартирой, но я ключ, естественно, потеряла.

«Моя дочь – рассеянный профессор, – сказал он со вздохом. – Ладно, закажу еще один».

Я решила, что он ключ так и не заказал, а потом и думать о нем забыла. Не понимаю, почему он оказался именно здесь. Я перечитываю слова, написанные папиной рукой, и представляю, как он их пишет. Вспоминаю, как отец держал в своей руке мою маленькую ладошку, пока другой я гладила гигантские камни Стоунхенджа. Тогда я была очень маленькой, загородок еще не поставили, и между камнями разрешалось ходить совершенно свободно. Разглядывая валун снизу вверх, я приняла его за подобие двери, но рядом не заметила никаких стен.

– Папа, это дом? – спросила я.

– Никто не знает, – ответил он. – Но это очень, очень древнее сооружение.

Я держала картонку, водила пальцами по отрезанному ножницами краю и впервые поняла, какого размера мое горе. Я прямо-таки ощущала его огромность. Странное чувство. Словно у меня на руках лежала гора. «Надо быть терпеливой», – говорил он. Если очень хочешь что-то увидеть, надо просто набраться терпения и ждать. Я ждала, но терпения мне не хватало. Впрочем, время шло своим чередом и незаметно творило чудеса.

Сейчас я держала картонку, щупала ее края и чувствовала, что мое горе превратилось во что-то иное. Оно просто превратилось в любовь.

«Я тоже тебя целую, папа», – прошептала я, засунув картонку назад на книжную полку.

Глава 29

Приход весны



Мэнди открывает дверь, смотрит на меня, и я читаю ужас в ее глазах – отражение моего собственного.

– Что с тобой, Хелен?!

– Мэйбл, – шепчу я.

– Потерялась?!

– Нет! – качаю я головой. – Она в машине... – Потом забрасываю ее просьбами: – Помоги мне, Мэнди! Я палец поранила. Можно от тебя позвонить? Сигарета есть?

Спасибо Мэнди за все! Я падаю на стул на кухне. У меня болят колени. Исколоты ежевикой? Кто их знает... Из большого пальца все еще идет кровь. Мэнди дает мне йод, залепляет рану стерильной пластырной повязкой и бинтует палец. Варит кофе и кладет на стол передо мной пачку табака и сигаретную бумагу. Потом ждет, пока я звоню в колледж, где сейчас должна вести занятие, и сбивчиво извиняюсь. После этого я рассказываю ей свою печальную повесть.

Уже с неделю я замечала очевидные приметы. Зима уступала место весне. В саду жужжала муха. На лужайке вылезли бледно-лиловые крокусы. Из-за стены колледжа «Сент-Джонс» полетели лепестки зацветающей вишни. А однажды вечером на прошлой неделе со всех двускатных крыш и готических шпилей города взмыла в темнеющее небо щебечущая ватага черных дроздов. Весна стояла на пороге. Обычно я радуюсь удивительному голубоватому оттенку воздуха и удлиняющимся дням. Но весна – конец сезона охоты с Мэйбл. Птице предстоит линька в вольере, и я не увижу ее несколько месяцев. Невозможно даже думать об этом. Я и не думала – отворачиваясь от мух и цветов. Поэтому-то все и произошло. Наверное, весна что-то всколыхнула в хищном сердце Мэйбл.

Сегодня я выкроила час на охоту. Днем у меня в городе частные уроки,

но я знала, что успею. Вот я и решила отправиться с Мэйбл на старое поле, где водятся кролики. «Добудем кролика, – думала я, – отвезу ее домой, возьму учебники и помчусь на уроки». Казалось, ничто не предвещало несчастья.

На самом деле, несчастье предвещало все.

Без особого энтузиазма Мэйбл пытается изловить кролика, взлетает на живую изгородь и сидит, озираясь по сторонам. Я ее зову, но она подлетает не сразу. Это уже говорит о многом, но я на все закрываю глаза. «Еще один разок!» – обещаю я себе. Но Мэйбл просто наслаждается солнцем, греющим ей спину, и тонкими струйками теплого воздуха, поднимающимися в спокойное сизое небо. Она вроде бы кидается за другим кроликом, но потом решает с ним не возиться, а летит дальше прочь от меня и садится на высокий каштан. Внезапно я осознаю, что больше ее не интересую. Ругаю себя на чем свет стоит. Ведь после постигшей меня здесь же неудачи я поклялась, что буду осторожнее. Каштаны растут над дорогой. По ней в раздражающей близости ездят тракторы, грузовики и прочие машины, и Мэйбл здесь не нравится. Она перелетает через дорогу туда, где вдоль посыпанных гравием дорожек посажены другие деревья. Я иду за ней. Кругом шныряют кролики и торчат таблички «Частная территория. Проход воспрещен». Мэйбл не обращает внимания ни на таблички, ни на меня. Она уселась на дерево на высоте добрых восьми метров над землей и оглядывает окрестности. Я машу перчаткой и свищу, но все бесполезно. Распушив перья на брюхе, она потряхивает хвостом на манер любого счастливого и довольного тетеревиного. Но с ветки ее не достать, время идет, и трясущийся хвост Мэйбл меня сейчас не умиляет. До меня доходит, что я не взяла с собой телефон, забыла дома сигареты, а радиопеленгатор остался в машине.

Примерно через минуту Мэйбл преспокойно улетает за лес, в края, о которых мне ничего не известно. Оказывается, там очень красивое поле мягкой травы с оттенком крем-брюле. А еще примерно в трехстах шагах сереет густой лес. Мэйбл нигде не видно. Я возвращаюсь в машину, достаю радиопеленгатор и очень долго пытаюсь ее запеленговать. Сигнал идет со всех сторон: *nip – nip – nip*. С одной стороны его сила 5. С другой – 7,5. И внезапно – 2. *Наконец-то! Надо пеленговать! Пеленговать!* Наклонив антенну, я вращаю ее по кругу. Птица, похоже, не сидит на месте. Наверное, летает. И тут я вижу Мэйбл. Она парит над дальним лесом, поднимается в восходящих струях теплого воздуха и описывает над деревьями широкие круги, греясь на солнце. К ней подлетает еще один ястреб, и некоторое время Мэйбл лениво соревнуется с ним в искусстве

полета. Я, конечно, бегу к ним. Добежав до леса, я не вижу ни одного ястреба, хотя где-то в стороне кричит сарыч. Внезапно я слышу звон колокольчика. Ныряю в лес. Мне он не нравится. Лес очень редкий и похож скорее на искусственные посадки. Кажется, тут разводят фазанов. Вот черт! Не хватало только вляпаться в очередную историю из-за этой птицы!

Вижу Мэйбл. Она сидит на нижней ветке увитого плющом дуба и зачарованно смотрит на кучу старых промокших мешков из-под корма и груды кормушек. Подхожу ближе. Мэйбл шевелит головой, как охотящаяся змея. Значит, она видит что-то интересное и не будет обращать на меня внимания, пока не удостоверится, что больше смотреть не на что. На что же она там уставилась?! Я осторожно подбираюсь к тому месту, куда смотрит ястреб, и вдруг прямо у меня из-под ног взлетает, обрызгав меня водой, мокрый самец фазана. Как в замедленной съемке, сквозь его маховые перья я вижу солнечный свет, разделившийся на яркие лучи и глубокие тени, и Мэйбл, ловко заложив вираж, тянет к фазану левую лапу с длинными черными когтями на концах желтых пальцев. Но ее когти хватают воздух. Фазан перелетает через трехметровую проволочную сетку – какой кошмар, я ее не даже заметила! – и ныряет в густую рощу лавра и тиса по ту сторону ограждения. Мэйбл бросается за ним. Мне туда не добраться. Господи, мой ястреб в вольере для фазанов! С тем же успехом я могла бы выпустить голодного хорька на выставке декоративных кроликов. Ничего хорошего меня не ждет. Ничего хорошего. Слышно хлопанье крыльев, звон колокольчиков, шум борьбы. Я мечусь, как крыса, вокруг вольера в поисках калитки. Меньше всего мне сейчас нужны такие приключения. *Боже мой! Боже мой!*

Нахожу дверцу. Она открыта. Бросив радиопеленгатор на синюю кормушку, бегу внутрь. Мэйбл уже не видно среди лавровых ветвей. Она сидит на верхушке, отвернувшись от меня, и, прежде чем я успеваю перевести дух, срывается и летит быстро и целенаправленно меж залитыми солнцем ветвями. *Черт! Черт!* Спотыкаясь о сучья, проношусь мимо маленьких фазаньих садков из гофрированного листа по земле, утрамбованной тысячами птичьих лапок. И каждую секунду жду окрика разъяренного егеря. «А вдруг у него дробовик?!» – думаю я и вижу в дальнем углу вольера облако темно-желтых и кремовых, цвета капучино, перьев. Это Мэйбл спикировала на отчаянно хлопающую крыльями самку фазана. Когда подбегаю, Мэйбл уже сидит в черной луже стоячей лесной воды, расправив крылья над безжизненной тушкой злополучной птицы. Внезапно из-под крыла Мэйбл высовывается еще одна самка фазана, и ястреб тут же вонзает в нее когти. Теперь у Мэйбл по фазанихе в каждой

лапе. *Боже, это просто кровавая бойня!* Хвост Мэйбл развернут над лужей, лапы утопают в фазаньих перьях, и все ее существо бьет зловещая частая дрожь.

Фазаны мертвы. Одного я запихнула себе в карман, а другого ощипывает мой блудный ястреб. Тучи мягких контурных перьев летают по вольеру и застревают в сетке ограждения. Нужно скорее уносить ноги, пока с нас не потребовали объяснений. Дрожь от волнения, я снимаю Мэйбл с добычи и... наношу себе очень неприятную рану: разрезая фазанье сухожилие, снимаю со своего большого пальца изрядный кусок кожи. Потом сажаю Мэйбл назад на перчатку, сую ее незаконную жертву в карман жилетки, и только теперь задумываюсь о кровоточащем пальце. Рука не то, чтобы вся в крови, но я чувствую, что кровь все еще капает на землю. С силой прижимаю раненый палец к охотничьей куртке. Понимаю, что ткань кишит микробами, но надо же как-то остановить кровь. *Надо. Остановить. Кровотечение.* Пока я бреду до машины и еду к дому Стюарта, кровь из пальца все течет. «Ноги моей там больше не будет! – твержу я про себя. – Ни за что и никогда!»

В марте 1949 года Рен Говард из издательства «Джонатан Кейп» отправился на Нормандские острова к Уайту, переселившемуся в новый дом на острове Олдерни – идеальное убежище от налоговых инспекторов и окружающего мира. Уайт приобрел в Сент-Анне белый трехэтажный дом, увитый магнолией. И наполнил его новыми вещами. В доме появились его собственные сюрреалистические картины, кабинетный рояль, серебряные подсвечники и статуэтка императора Адриана. На окнах висели темные занавеси, украшенные изображениями букетов из призрачных серебристых роз, еще там были пластинки с джазовой музыкой и стулья в стиле короля Якова. В гостиной стоял диван, на который Уайт и усадил Говарда. Диван показался Говарду ужасно неудобным. Он привстал и пощупал валик. Под ним что-то лежало. Засунув руку, Говард извлек из-под валика пачку бумаг и осведомился у Уайта, что это. Уайт очень смутился и объяснил, что это рукопись его книги о ястребах. Он не хотел ее печатать, потому что стал настоящим мастером и знатоком охоты с хищными птицами лишь после того, как написал эту книгу, и ныне стесняется кое-чего из написанного. Да и ястреб его потерялся.

Говард пробежал глазами первые несколько страниц рукописи, и она показалась ему небезынтересной. Он взял ее с собой в спальню и за ночь прочитал всю. На следующее утро он убедил Уайта отдать ему рукопись, чтобы отвезти в Лондон, ибо, по его мнению, ее непременно следовало опубликовать. Сначала Уайт ужаснулся одной лишь мысли о публикации,

но шли недели, и постепенно Говарду и его друзьям удалось уговорить Уайта, и тот согласился напечатать книгу при одном условии: он обязательно должен написать к ней послесловие, объяснив, как на самом деле следовало бы обучать ястреба, исходя из собственного последующего опыта.

Вышедшая в 1951 году книга «Ястреб-тетеревятник» не стала бестселлером, но, как ни странно, в редакцию пришло множество читательских писем. В некоторых книгу хвалили. Другие письма были странного содержания. Например, один читатель хотел подарить Уайту орла. Некоторым читателям книга откровенно не понравилась. А одно из таких писем Уайт никогда не мог забыть. Оно задело его за живое. Автором был человек, который, по его словам, тридцать лет читал лекции о птицах и наблюдал за ними всю жизнь. «Как вы смеее рассуждать о любви к птице после того, как упивались извращенными истязаниями наших прекрасных хищных пернатых? – писал он. – Неужели в мире и без того мало жестокости? К чему вы преумножаете ее ради своего удовольствия и развлечения?»

«Прочитав это письмо, – признавался позднее Уайт, – я на три дня потерял аппетит, хотя и написал в ответ четыре страницы с выражением моей любви к пернатым, объяснениями и извинениями». Он ждал ответа. Когда же ответ наконец пришел, в нем, по подсчетам Уайта, пять раз повторялось слово «нормальный», и в заключении корреспондент недвусмысленно давал Уайту понять, что больше не желает о нем слышать. Уайт посчитал, что в таком случае ему остается лишь прекратить переписку.

Я переехала обратно в город, где снимаю у реки маленький домик с залитым солнцем садиком, в дальнем конце которого растет густой шиповник. По улице мимо моего домика прогуливаются коты, на крыше полно голубей. Хорошо жить в доме, который, хотя бы временно, я могу считать своим. Сегодня я распаковываю коробки и расставляю на полках книги. Три коробки уже пусты. Осталось пять. Раскрыв очередную коробку, вижу лежащую поверх других книгу: «Ястреб-тетеревятник».

«Вот так», – думаю я, беря ее в руки. Книга пробуждает во мне странные чувства, потому что я долго не вспоминала об Уайте. Чем счастливее я себя чувствовала, тем реже о нем вспоминала. Его мир все больше и больше отдалялся от моего. Гляжу на растрепанный корешок, открываю книгу и перелистываю. Мне хочется еще раз прочесть последнюю страницу, где Уайт перечисляет, кем был для него Тет –

прусским офицером, Аттилой, египетским иероглифом, крылатым ассирийским быком, «одним из сумасшедших герцогов или кардиналов из пьес елизаветинца Джона Уэбстера». Длинный перечень существ, высеченных из камня и облаченных в доспехи, оставивших пометки на книжных страницах и вмятинки на табличках из высушенной на солнце глины. Я смотрю сквозь пыльное окно на Мэйбл в саду. Она искупалась, почистила перья и сейчас наклонилась над копчиковой железой у себя над хвостом. Осторожно теребит ее клювом, а потом пропускает сквозь клюв хвостовые перья, смазывая их таким образом, чтобы не намокали в воде. Я вижу, что птица довольна. В ее полуприкрытых глазах счастливое выражение. Перышки шуршат. Ей явно хорошо. Не знаю, о чем она думает, но она полна жизни.

Я размышляю о списке Уайта и о том, какой странный и грустный конец у его книги. Стоя с открытым томиком в руке, я даю себе клятву, что никогда не стану считать своего ястреба просто иероглифом, исторической личностью или каким-нибудь мерзавцем, о котором никто толком ничего не знает. Этому не бывать. На такое я неспособна. Ведь ястреб не человек. Для меня важнее всего то, что за месяцы, проведенные с Мэйбл, я узнала о существовании другого мира – скал, деревьев, камней, трав и всех ползающих, бегающих и летающих тварей. Они существуют сами по себе, но мы вкладываем в них доступный нашему пониманию смысл, считая, что их существование подтверждает истинность нашего восприятия мира. Пока я была с Мэйбл, то поняла, что настоящим человеком ощущаешь себя только после того, как, хотя бы в воображении, тебе удастся утратить все человеческое. Еще я поняла, насколько опасно принимать собственное представление о дикости за дикость, действительно присущую животному. Ястребы-тетеревятники несут смерть, они неизбежно проливают кровь своих жертв, но человек не может оправдывать этим собственные зверства. Мы всегда должны помнить, что хищные птицы – не люди, и их образ жизни не может иметь никакого отношения к человеческим поступкам.

Я ставлю книгу Уайта на полку и пью чай. У меня созерцательное настроение. Сначала я взяла к себе ястреба и стала притворяться, будто живу его жизнью. Однако отныне я все вижу по-другому – мы должны жить счастливо вместе, но каждая своей жизнью. Гляжу на свои руки: на них тонкие белые полосы. Это шрамы. Один – от когтей Мэйбл. Тогда она не находила себе места от голода. Для меня он – предупреждение, начертанное прямо на теле. Другой – от шипа терновника, сквозь который я продиралась, когда думала, что Мэйбл пропала. У меня есть и другие, невидимые шрамы. Но Мэйбл в них не виновата – наоборот, благодаря ей

они зтянулись.

Глава 30

Движение земли



27 февраля. Я не в своей тарелке. Завтра я отвезу Мэйбл к моему другу Тони. Мы знакомы очень давно. Он знаток ястребиной охоты и очень великодушный человек. Вместе с семьей он живет в домике лимонного цвета на равнине Южного Суффолка в получасе езды от моря. Я с удовольствием с ним снова встречусь, но мне все равно не по себе. Ведь я еду к нему не для охоты с Мэйбл, а чтобы посадить ее в пустой вольер на период линьки. Завтра я вернусь домой, а Мэйбл останется у Тони.

Ничего не поделаешь. Настала пора, когда у Мэйбл одно за другим вылезут все перья, а на их месте вырастут новые. Чтобы отрастить себе новое оперение, Мэйбл должна быть сытой и жирной. Поэтому всю неделю я пичкаю ее перепелками и фазанами. Мэйбл разжирела, как индюшка, и в глубине души я боюсь, что она начнет беситься. Книжки утверждают, что разжиревшие тетеревятники всегда бесятся. Впрочем, они опять ошибаются. Откормленная Мэйбл относится к посторонним хуже, чем раньше, но со мной она по-прежнему ласкова, как котенок. Все утро мы играли. Я бросала ей бумажные шарики, а она их ловила. Вот уже час она дремлет у меня на руке, а я смотрю какую-то дурацкую передачу по телевизору. «Ну ладно, Мэйбл, пора спать», – говорю я ей, сажаю на присаду в соседней комнате и, выключив свет, сама отправляюсь в постель.

Случаются непостижимые страшные вещи, когда привычный мир за несколько секунд преобразуется до неузнаваемости. Во втором часу ночи мне приснился один из самых жутких кошмаров в моей жизни. В последнее время мне обычно снилось что-нибудь несущественное и приятное, но в этом кошмаре некто или скорее нечто – поскольку человеческому существу это было бы не под силу – схватило конец моей кровати и стало сильно ее трясти, стараясь скинуть меня на пол. Во сне мне было очень страшно, но наяву все оказалось гораздо хуже. Вскрикнув, я просыпаюсь. И это уже не

сон.

Моя кровать по-прежнему трясется. Ходит ходуном и скрипит, хотя в комнате никого нет.

Я обливаюсь холодным потом, трясусь сама как осиновый лист и не могу пошевелиться. Не понимаю, что происходит. Ужас наваливается на меня с километровой высоты. Кровать по-прежнему бессмысленно дергается. Я в шоке от невероятности происходящего.

Внезапно кровать останавливается. Несколько секунд я лежу, не в силах шевельнуть даже пальцем. Понимаю, что давно уже не дышу, и начинаю судорожно хватать ртом трясущийся воздух. Надо мной все еще качается абажур.

Внезапно до меня доходит.

Это землетрясение! В Англии? Разве у нас бывают землетрясения? Невероятно! Может, это все-таки что-то другое? Нет, *вряд ли*. Но все еще до конца не верю. Вскочив с постели, отдергиваю занавеску и смотрю в окно. Во всех домах горит свет. На улице испуганные люди в пижамах. Звонит телефон. Хватаю трубку. Это Кристина.

– Землетрясение! – вопит она. – Ты почувствовала?

Я начинаю ругаться. Она тоже. Мы не находим обычных слов и пытаемся успокоиться, обмениваясь крепкими выражениями. Не помогает. Я уже бросила трубку, но все равно волнуюсь. Вытягиваю перед собой руки ладонями вверх и вижу, что они трясутся. «Успокойся, Хелен, – убеждаю я себя. – Ничего страшного не произошло. Дом не рухнул. Земля не разверзлась». Но толку от этого немного. Землетрясение пробудило во мне детскую боязнь конца света, страх перед гибелью мира в геенне огненной. Выходит, все это время в моей душе дремали старые, глубоко укоренившиеся страхи. Мир стал расползаться по швам, и мне его не залатать. Потом я вспоминаю Мэйбл и рассказы о том, как животные спасаются бегством от землетрясений. *Боже мой! Ей, наверное, очень страшно!* Перепрыгивая через две ступеньки, бегу наверх, распахиваю дверь и зажигаю свет. Мэйбл спит. Но вот она просыпается, высовывает голову из воротниковых перьев и смотрит на меня ясными глазами. Она явно не ожидала меня увидеть. Зевает, показывая розовый, как у котенка, рот и черный кончик острого языка. Лапы Мэйбл скрыты кремовым нижним оперением, и я вижу только один желтый палец с иссиня-черным когтем. Другую лапу она подтянула к груди. Птица явно ощутила толчки, но потом снова заснула, совершенно не тронутая движением земли. Землетрясение не вызвало у нее ни паники, ни страха. Кажется, оно показалось ей в порядке вещей. Ястреб понимает мир лучше человека.

Мэйбл со мной. Она резко наклоняет голову набок, так что клюв поднимается вверх, – значит, рада меня видеть. Я сажусь рядом, а она, удовлетворенно нахохлившись, медленно закрывает глаза, снова опускает голову в перья и засыпает. Мэйбл не герцогиня, не кардинал, не иероглиф и не мифологическое чудовище, но сейчас она больше, чем ястреб. Мне кажется, она – мой дух-хранитель, маленькое божество домашнего очага. Есть вещи, которые случаются лишь один или два раза в жизни. Мир полон чудес и знамений. Они возникают и исчезают, и если вам повезет, то вы можете их увидеть. Я думала, настал конец света, но мой ястреб вновь спас меня, и страх испарился.

Всю дорогу до Суффолка Мэйбл спит у меня в машине. Дом Тони скрыт за деревьями, растущими у дороги, которая проходит между двух полей и посаженных в ряд вязов. Подъехав, я беру Мэйбл на перчатку и иду с ней через лужайку. Навстречу выходит Тони. Он ведет меня за конюшню к высокому вольеру с белыми стенами. Тони отпирает дверь, и я вхожу в вольер. Новый дом Мэйбл огромен. В нем есть покрытые корой сучья и присады с искусственной травой, чтобы массировать птичьи лапы. У Мэйбл имеется ванна. И лоток, по которому Тони будет спускать ей еду. Под ногами трава и гравий. Сделана специальная полка, на которой Мэйбл может лежать, как в гнезде. В вольер проникают лучи теплого солнца. Сквозь проволочную сетку крыши просвечивает небо Суффолка. «Вот, Мейбс, – говорю я, снимая с ее головы клобучок. – Здесь ты поживешь несколько месяцев». Мэйбл смотрит, как моя рука освобождает ее лапы от опутенок. И вот она уже сидит у меня на руке совсем свободная. Покосившись одним глазом на бегущие по небу облака, она начинает озираться по сторонам, разглядывая вольер. Сначала осматривает крышу и углы, потом изучает стены из шлакобетонных блоков.словно мы на мгновение перенеслись в прошлое, в то темное помещение, где впервые увидели друг друга. Я вспоминаю, как моя Мэйбл в первый раз меня позабыла, и стараюсь не думать о том, что это случится опять.

«Я приеду за тобой, когда кончится лето», – говорю я ей. Позабудет... Вспомнит... Вытянув руку, провожу кончиками пальцев по пестринкам у нее на груди. Когда у Мэйбл вырастут новые перья, они будут в серую и белую полоску. Землисто-охристый окрас исчезнет. Когда я увижу ее в следующий раз, ее глаза будут ярко-оранжевыми, как тлеющие угли. Все течет, все изменяется. Подняв руку, я подбрасываю птицу к ближайшей присаде. Мэйбл взлетает, садится, трясет хвостом, видит еще одну ветку повыше и перепрыгивает туда. Смотрит, отвернувшись от меня, в другую сторону. «Я буду по тебе скучать», – говорю я. Незачем ждать ответа, и

объяснять ничего не надо. Поворачиваюсь и выхожу из вольера, оставив птицу у себя за спиной. Тони ждет снаружи. «Пошли в дом», – улыбаясь, говорит он. Тони хорошо понимает, что я сейчас чувствую. Иду за ним в дом, где на кухонном полу, виляя хвостами, разлеглись собаки, а на плите свистит чайник. В доме очень тепло.

Эпилог



Чтобы написать эту книгу, мне следовало больше узнать об Уайте. Поэтому я провела неделю в Центре Гарри Рэнсома, тexasском архиве, где хранятся его записи и дневники. В библиотеке с работающим кондиционером было странно читать о грязных английских зимах; за окном в тридцатиградусной жаре парили стервятники, наклоняясь в полете то на одну, то на другую сторону, а по раскаленному тротуару прыгали скворцы. Я перелистывала страницы, пробегала глазами рукописи, читала когда-то принадлежавшие Уайту книги и вернулась домой с ворохом заметок и мыслей. Но этого мне показалось недостаточно: предстояло сделать кое-что еще. В один жаркий июльский день я поехала через всю Англию в Стоу. Школа до сих пор действует, но теперь ее территория открыта для посещения. Я оставила машину на парковке Национального треста^[33], заплатила за вход и, взяв карту, пошла по длинной аллее к воротам. «Сверните налево – оттуда вид лучше», – посоветовал мне охранник. Из

чувства противоречия я повернула направо и начала свой путь – на горизонте огромный палладианский дворец был освещен ярким солнцем, бросавшим металлический отблеск на все вокруг, отчего листья липы казались почти черными, а вода в пруду пронзительно-синей. На ее поверхности горели яркие созвездия водяных лилий. Чернильные тени подпирала парковые деревья. Стрижи едва пробивались сквозь плотный от жары воздух, еле-еле хлопая крыльями навстречу легкому ветерку. Это была территория школы, в которой преподавал Уайт, – пейзажи, сотни лет привлекавшие туристов.

Через час прогулки среди храмов, украшенных колоннами с каннелюрами и расписанными дверями, среди куполов, обелисков, портиков и прочих сооружений, построенных исключительно «для красоты», я начала выходить из себя. Все было какой-то бессмыслицей. Греческие и римские храмы, саксонские боги на покрытых рыжим лишайником постаментах с руническими надписями, огромный готический храм из бурого железняка, Палладиев мост, туфовые гроты, дорические арки. Только деревья казались настоящими и понятными. Постройки же так бездумно заполняли пространство, словно были заброшены сюда какой-то неисправной машиной времени, и все они, как я поняла, должны были внушить мне следующее: это пейзаж аристократической нравственности, убежденной в своей правоте. Он призван обличить пороки современности и воспеть античные добродетели. Может, дело было в солнце, а может – в моем предынфарктном состоянии, но я начинала ненавидеть это место. Вот памятник доблестным британцам. Только поглядите на них! *Бр-р-р!* Я развернулась и пошла к машине. Мне стало ужасно жаль Уайта. Да, красивое место, оно преподавало прекрасный урок о том, что такое власть, но здесь я бы чувствовала себя ненастоящей и тоже сбежала бы отсюда. Я и сбежала – ушла с территории школы, села в машину, отъехала, снова припарковалась и наконец направилась туда, куда собиралась изначально.

Вот он, дом Уайта, дом Мерлина, построенный в тихом месте на «райдингах» над холмом. Он казался таким обычным – совсем не сказочным. Темные тени листьев скользили по высоким конькам крыши. Неподалеку паслась серая лошадь. Вниз по травянистым склонам, оплетая столбы ограды, тянулись провода. За домом по-прежнему рос лес, но сохранился он не полностью: исчезла темная чаща, где водились чеглоки; теперь там Сильверстоунский ипподром. Часовня, у которой Уайт прогуливался с Тетом, давно снесена: о ней напоминает только изгиб дороги вокруг погоста. Но, стоя в жарких лучах солнца, я слышала какой-то гул. Очень странный звук – словно в безветренный день из крон дубов

до меня доносился рев морского ветра. Это была зимняя история. Возвращение в прошлое. Или, может быть, сердечный приступ. Я пожалела, что не взяла воды.

Я долго стояла и смотрела на дом – чью-то частную собственность. Мне не хотелось приближаться и отвлекать жильцов. Но я заметила, что деревья выросли и что сарай перестроили в гараж. Колодец, похоже, остался на прежнем месте. Но тут раздались клацанье и треск, и я замерла. За кустами в саду мелькнуло что-то белое: рубашка. Кто-то опустился на колени и склонился над землей. Он что-то сажал? Полол? Молился? Я стояла слишком далеко. Мне были видны его плечи, но не лицо – я могла лишь понять, что человек чем-то занят. По телу побежали мурашки, потому что этот человек превратился для меня в Уайта, сажающего свою любимую герань. Чувство, что Уайт преследует меня, вернулось. Я подумала, не подойти ли к тому человеку. Тут нет ничего сложного. Совершенно ничего. Подойти и заговорить. Конечно, это не Уайт, но, возможно, кто-то из жильцов знает про Уайта, и я могла бы их расспросить. Фермерский дом по-прежнему стоял неподалеку, а за ним – пруды, где купался Тет и рыбачил Уайт. Возможно, в них все еще плавали те же карпы. Я смогла бы узнать об Уайте больше, оживить его образ, найти новые сведения в воспоминаниях местных жителей. На секунду старое желание пересечь временные границы и вернуть утраченное вспыхнуло во мне, словно яркое пламя.

Но я отказалась от этой затеи. Отказалась – и почувствовала невероятное облегчение, словно тащила из дома груз весом полтонны и наконец сбросила его на обочину. Уайта нет. Ястреб улетел. Уважай живых, чти мертвых. Оставь их в покое. Я помахала человеку в белой рубашке, хотя он меня не видел. Это был нелепый, неуклюжий жест, и я почувствовала себя глупо. Развернувшись, я пошла на юг, а тот человек – не призрак – продолжал копаться в саду. Небо текло, как вода, над яркой линией горизонта.

notes

Примечания

1

Уоррен (warren) по-английски значит «кроличий садок».

2

Аравийская пустыня (*лат.*)

3

Цитаты из шекспировского «Гамлета» (акт II, сцена 2).

4

Лес Дина – древний лес и одновременно историческая и географическая область в английском графстве Глостершир. Был объявлен королевским лесом еще во времена Вильгельма Завоевателя для проведения там регулярной охоты.

5

Должик – птичий поводок.

6

Pickelhaube – островерхая каска у пехотинцев в старой германской армии.

7

Йегер, Чарлз Элвуд (р.1923) – знаменитый летчик, первым преодолевший на самолете звуковой барьер.

8

Англ. feral.

9

Англ. *ferocious*.

10

Англ. free.

11

Англ. fairy.

12

Англ. fey.

13

Англ. aerial.

14

Неприрученный, свирепый, безжалостный (*лат.*).

«Кьюнард» – крупная судоходная компания, обслуживающая рейсы между Великобританией и Северной Америкой, основана в 1839 году.

«Инвертированный» в терминологии Эллиса означает «гомосексуалист».

Горбатая жаба – цитата из «Ричарда III» Шекспира. Так называет Ричарда королева Маргарита (акт 1, сцена 3).

«С серым ястребом-тетеревятником на руке» – цитата из «Кентерберийских рассказов» Джеффри Чосера.

Стихотворение У. Блейка «Глина и камушек» (Clod and Pebbles).
Перевод Дмитрия Лялина.

«Воздушный наблюдатель» («Aeroplane Spotter») – начал выходить в Англии в 1940 г. Население призывали следить за пролетающими в небе самолетами из соображений безопасности. В журнале был словарь терминов и полезные объяснения.

Сассун, Зигфрид (1886–1967) – английский писатель и поэт, участник Первой мировой войны.

Удар милосердия (фр.).

23

Неограниченно, вволю (*лат.*).

Кляйн, Мелани (1882–1960) – британский психоаналитик, стоявшая у истоков детского психоанализа.

Бинди – точка, наносимая между глазами немного выше бровей у индианок, так называемый «третий глаз».

Дик Бартон – герой радиосериала Би-би-си «Дик Бартон – секретный агент», звучавшего в эфире с 1946 по 1951 г.

Мьюир Джон (1838–1914) – американский эколог-мистик, его произведения и философия оказали важнейшее влияние на формирование современного экологического движения.

Уоллес, Эдгар (1875–1932) – английский писатель, драматург, киносценарист, журналист; основоположник литературного жанра «триллер».

Игра слов: дербник по-английски merlin.

Из ничего (*лат.*).

День святой Люсии – 13 декабря; день памяти этой святой отмечается в католических и протестантских странах. Дата в XV в. установлена по юлианскому календарю.

Мака – в англоговорящих странах так в шутку называют тех, чья фамилия начинается с «Мак», в данном случае это фамилия автора Макдональд.

Национальный трест – организация по охране исторических памятников, достопримечательностей и живописных мест (Великобритания).

Table of Contents

[Хелен Макдональд «Я» значит «Ястреб»](#)

[Часть первая](#)

[Глава 1 Терпение](#)

[Глава 2 Утрата](#)

[Глава 3 Узкий круг](#)

[Глава 4 Мистер Уайт](#)

[Глава 5 Держать крепко](#)

[Глава 6 Звезды в ящике](#)

[Глава 7 Невидимка](#)

[Глава 8 Интерьер в духе Рембрандта](#)

[Глава 9 Обряд посвящения](#)

[Глава 10 Тьма](#)

[Глава 11 Выход из дома](#)

[Глава 12 Не такие, как все](#)

[Глава 13 Алиса, падая](#)

[Глава 14 Связь](#)

[Глава 15 По ком звонит колокольчик](#)

[Глава 16 Дождь](#)

[Глава 17 Жара](#)

[Часть вторая](#)

[Глава 18 Свободный полет](#)

[Глава 19 Вымирание](#)

[Глава 20 В укрытии](#)

[Глава 21 Страх](#)

[Глава 22 Яблочный праздник](#)

[Глава 23 Поминальная служба](#)

[Глава 24 Лечение](#)

[Глава 25 Волшебные места](#)

[Глава 26 Ход времени](#)

[Глава 27 Новый мир](#)

[Глава 28 Зимние истории](#)

[Глава 29 Приход весны](#)

[Глава 30 Движение земли](#)

[Эпилог](#)

[Примечания](#)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33